

**Вадим Фадин**

**Рыдание пастухов**

**роман**

Санкт-Петербург

АЛЕТЕЙЯ

2003

Всякий предел предполагает  
существование чего-то за ним

*Владимир Набоков*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1.

*Скучно лишний раз, пусть и своими словами, напоминать о разнице между вымыслом и умыслом, то есть о нечаянности замечаемых публикой совпадений; тут не скажешь нового после Гоголя, понимавшего, что никакое имя нельзя выдумать без того, чтобы ему не нашелся хозяин в каком-нибудь углу обширнейшего нашего государства. Однако начитанных читателей становится все меньше, а с новичками может случиться какой угодно конфуз; для них-то и приходится повторять, что во всяком театре столько масок, сколько есть, а если даже и в старых декорациях вдруг произойдет некая неожиданность, то что ж, на то она и разнообразна, жизнь, то она и такова.*

*Домогающимся родства с иными действующими лицами хорошо бы понять, что любой истории присущ лишь единственный персонаж, и тогда утешиться тем, что нашли свои места в мире. Вдобавок нынешние русские писатели рождены при социалистическом реализме и научены записывать не то, что видят, а то, чему следует быть видимым по правде жизни (но не по всей правде), и поэтому в наших книгах не сыскать случаев, действительно происходивших с кем-то живым; все там – выдумки воображения да игры слов и ума.*

Далеко не всегда удастся писать о близком себе: чаще к рукам пристают посторонние темы, самые неожиданные; что же до героев, то среди них и подавно принято входить без стука, так что порой изумляешься своему кругу знакомств. Можно сказать даже, что персонажей, как и родственников, не выбирают, отчего среди них то и дело попадаются весьма несимпатичные типы; однажды был, например, замечен прелюбопытнейший феномен: какой бы сюжет из советской жизни ни нашелся, среди исполнителей, независимо от их достоинств и достатка, непременно объявится тайный агент, и если один такой был обнаружен автором даже в компании нищих, то что уж говорить о выбранной теперь для показа среде умельцев, занятых делом, таимым от простых смертных. Их старания приведут в конце концов всего только к возведению изрядного забора вокруг богатой дачи, но это ничего не изменит и не опровергнет в общем правиле, скорее наоборот: во всяком заборе находится дырочка, к которой, как магнитом, притягивает зевак и лазутчиков, так что возле особо важных оград обычно кишмя кишат сотрудники секретных служб; рискуя выдать себя, они то и дело прикладываются к отверстиям в досках с внутренней стороны, и тогда тот, кто пристраивается – с внешней, отшатывается в ужасе, вплотную увидев бдительный глаз. В кругах, далеких от строительства, среди каких-нибудь жалких сочинителей либо музыкантов, работа агентов и доброхотов лишена определенности, и они вольны оставаться и для нас, и для самих себя неразгаданными вплоть до окончания повести – и далее. Переход иных персонажей из списка действующих лиц в более демократичный – бездействующих, естественно, вызовет нарекания со стороны непосредственного начальства (посредственное повело бы себя спокойнее, да речь не о нем), только и это останется за пределами текста, поскольку не дело сочинителей радеть об их карьерах. Больше всего этого люда, как затаившегося, так и раскрытого, роится вокруг видных людей, отмеченных или незаслуженной славой, или богатством, или

печатью гения и, стало быть, предъявляющих права на свободу поступков. В настоящей повести автор, едва проведая о появлении на втором плане живописца Алеши Рыдаева, которого друзья величали не иначе как Великий Алеша, немедля побился о заклад, что уже одно это прозвище послужит магнитом и что в окружении художника давно уютно обосновался добрый гебист — дай бог, чтобы тот не разоблачил себя до последней страницы и нам не пришлось отвлекаться на описание убогих его похождений.

Народу вокруг Алеши толкалось великое множество, без свиты его почти не видели, между тем на квартире у него, кажется, никто не бывал, только — в мастерской, устроенной за городом, в наемной даче. Там встречались люди самых разнообразных профессий (кроме первой древнейшей, потому что он из принципа не платил женщинам, коих и без того перебивало у него с три короба), и этот поток не редел; как и во всякий, в этот нельзя было войти дважды: девушки в доме не повторялись, и только бедные художницы Сима и Наташа присутствовали постоянно, зато и отношение к ним было — как к сестрам.

Наташа писала немодные акварельки, ее подруга раскрашивала кухонные дощечки, великий же Рыдаев работал маслом по холсту, и покупатели у него были одни, у Симы — другие, а у Наташи не водилось никаких. Воздух широкой жизни приходился по душе обоим девушкам, и они держались Алеши по мере возможностей — понятно, разных. Сима, старшая из двух, жила одиноко, но именно поэтому иной раз, выбирая между работой, домашним хозяйством и, как сплетничали, частыми романами, оказывалась менее свободной, чем жившая с родителями Наташа. В Наташиной семье средь художников и артистов считали рассадником пороков и давно запретили бы дочери мелевать свои картинки, когда бы та умела хоть что-нибудь путное; она же при случае козыряла своим жалким дипломом училища (у родных не было и такого) и какое-то время вела себя как хотела — в строгих собственных рамках.

В день, выбранный нами для знакомства с этой непростой компанией, происходило то, что здесь называлось прощанием с шедевром: Алеша продал очередное полотно, полюбоваться которым в последний раз и приглашал желающих. Нынешняя картина, «Другая осень», изображала больничную палату, в которой печальный ходячий больной пропал в веселом хоре молодых жертв радикулита — за окном же своим чередом проходил оранжевый октябрь, вынашивающий зачатые еще до болезни дела. Покупатель, американский профессор, явился первым, раньше даже самого автора, и Сима с Наташей, привычно исполняя роль

хозяйек дома, затеяли элегантную беседу (он сносно говорил по-русски) — конечно же, о его приобретении. Рискуя навредить коммерции, Сима брюзгливо оценила: «Скука», чем вызвала страстный ответный монолог, который вторая собеседница слушала рассеянно, пытаясь в это время вывести, отчего у американцев, которых она видела когда-либо, так длинны (или высоки — как смотреть) черепа — не оттого ли, что заокеанские акушеры слишком пристрастны к щипцам и ташат — поголовно?

— ...ташат за руку, — вполне к месту долетело до нее из речи гостя, заставив прислушаться. — Нет, люди хотят смотреть. И знаете, их захватывает философия Рыдаева.

— Это у Рыдаева — философия? — отрезала Сима. — Когда красишь, важны цвет, свет, жест, взгляд. Другого не существует, другое ради заработка придумали искусствоведы. Наш Алеша даже если бы и захотел...

— Философия существует помимо вашего желания. Одни выражают ее словесно, а для вас она — в стиле. Но вы правы: соединение ее с живописью или с музыкой выглядит ненатурально. Все тут пользуются разными инструментами, трудно сравнить.

Видно было, с каким трудом профессор составляет фразы, и Наташа посочувствовала ему, подумав, что скучно не смотреть на Алешину картину, а спорить о ней.

Наконец появился и сам Алеша — мужчина лет тридцати, с рассыпанными по плечам кожаного пиджака воронными волосами, в золотых очках, явно навеселе и под руку со смуглой девицей, от счастья мешавшей испанские и русские слова; на карточке, приколотой к ее жилетке, значилось: «Пресса». Следом безо всякого порядка втекал в дверь пестрый люд, до того ждавший, видимо, у ворот.

Проданный шедевр обыкновенно выставлялся на мольберте посреди мастерской, под лампой, а бутылки — на задвинутом в сумрачный угол столе. Посетители могли, по вкусу, либо стараться наглядеться напоследок, либо пить водку; знакомиться друг с другом им тоже предоставлялось самим, без помощи хозяина, — на почве общих восторгов. Так и сегодня, не заводя беседы и даже американскому благодетелю только молча пожав руку, Алеша важно объявил о необходимости дать интервью и скрылся со своей журналисткой в глубине коридора.

Здесь не поздно сказать, что под мастерскую был отдан второй этаж старого рубленого дома — с отдельным входом, так что постояльцам случалось видеть хозяев лишь во дворе; зимою же те и подавно навевались не во всякий выходной день. Алеша работал в большом, в три света, помещении, образованном, видимо, из нескольких комнат; здесь же

проходили вечеринки. Прочие комнаты, окнами на четвертую, северную сторону, случайным посетителям не открывались. В одной из них на непомерном тюфяке ночевали, припозднившись, Сима с Наташей, вторая, за дверью с красной табличкой «Стой! Эрогенная зона!» была Алешиной, третья же чаще всего пустовала в ожидании гостей.

– Только меня и видели, – сказала Сима подруге, пробираясь к выходу.

Наташа спустилась проводить ее. После духоты мастерской на дворе показалось прохладно; воздух был влажен и чист, и низкие облака висели клочьями. Девушки дошли до угла, где пьяный дурак сдирал с забора футбольные афишки.

– Вот и другая осень, – сказала Наташа. – По календарю – лето, в доме топится печь, а на афишах – открытие футбольного сезона.

– Зря я поторопилась: ушла, не перекусив, а дома, кажется, ничего нет.

– Вернись. Почему ты так, вдруг, сорвалась? Узнала кого-то в нынешней толпе и не хочешь неприятного разговора?

– Не без этого. Но если б и не так – не хотелось увязать.

– Что же приехала? – удивилась Наташа.

– Подняла хвост да пошла на погост.

– Ты не в духе.

– Ступай, девочка, к своей богеме.

– Бог с тобой.

Огорченная неразгаданным раздражением подруги, Наташа в мастерской первым делом подошла к американцу, думая, что и он задет: послушать Симу, так выходило, будто он проявил дурной вкус своим приобретением. В ответ он призвал к снисходительности:

– При всем разнообразии манер и мнений в одном все художники схожи: каждый считает себя гением; что плохо – единственным гением. Коллеги, друзья в их глазах – другой, низший уровень. Алексей тоже никого не жалуется, но и о нем я не далее как вчера услышал такое: «Наступил на арбузную корку – и шлепнулся в соцреализм». Это, кажется, обиднее того, что сказала Сима, не так ли?

– Ничего обидного, это же не критика, а только брань, и ничего больше. Взгляните, – указала Наташа на рисунок рыцаря в седле, висевший над столом, – вот тоже вполне реалистическая вещь...

– Но это же Дон Кихот! – воскликнул, перебивая, американец. – Все сказано выбором темы.

– Вот именно, – вяло согласилась Наташа, борясь с желанием сказать, что Алеша не читал Сервантеса и способен спутать Дон Кихота с

Буденным. – Некоторые считают Дон Кихота отрицательным персонажем, оттого что он причиняет другим одни неприятности.

– Это немножко не так, – засмеялся он, – хотя возразить трудно. Но не кажется ли вам, что такой серьезный разговор, как наш, требует подготовки?

Подготовкой он, как оказалось, в этот момент понимал знакомство (и назвал себя – Тим) и принятие непринужденных поз – с бокалами в руках. Узнав, что Наташа пишет почти одни только акварели, он почему-то удивился, сказал, что это непохоже на нее, и Наташа тотчас перевела для себя это на русский: «Слишком тонкое дело для такой кобылицы, ей больше подошла бы малярная кисть», а ему ответила:

– Быстро же вы хотели меня разгадать.

– Да, обычно я делаю это быстро, – серьезно ответил он. – Даже сталкиваясь с «загадочной русской душой».

– У вас в Штатах еще в ходу эта тема?

– Русская душа? Нет, ее предпочитают обходить: не всякий может понять вещь, которую нельзя купить. И не всякий понимает, что вместо самой души лучше купить ее отражение. Простите, я говорю так сложно, чтобы выразить по-русски простую вещь: я с удовольствием бы купил ваш автопортрет.

– Однако! – опешила Наташа. – Вы же не видели моих работ. Это во-первых. А во-вторых – у меня нет автопортрета, даже в голову не приходило написать. Но я вас понимаю: такой типаж, настоящая курская баба...

– Я подожду, пока вы напишете, – серьезно сказал Тим.

«Не сгубила бы тебя жадность, девушка, – сказала себе она, не без оснований опасаясь попасть на карандаш людям с Лубянки, но тотчас нашла и встречный довод: – Но не трогают же Алешу, который давно и общается с иностранцами, и даже продает за границу полотна...» Ее сомнения привели к тому, что она так толком и не договорилась с Тимом: сначала помешал один из гостей, подвыпивший актер, потом – Алеша, наконец вернувшийся в мастерскую. Актер со знакомым лицом и забывшейся фамилией, ткнув Наташу в бок недоеденным бутербродом, велел:

– Слушай, найди мне гитару.

Брезгливо отстранив его, Наташа повернулась было снова к американцу, но тут возле них возник Алеша, странным образом никем больше не замеченный; за ним пришлось поухаживать – накормить и напоить, – и он все же остался недоволен:

– Обо мне забыли, как о покойнике на поминках.

– Но это и есть поминки – по твоей «Осени», – напомнила Наташа.

– Что же не слышно надгробных речей? Если о покойнике – или хорошее, или ничего, то, значит, сегодня хороших слов просто не находится.

Наташа невольно прислушалась к тому, что вразнобой говорилось вокруг.

– Осень – самая загадочная из стихий, – напыщенно произнес зыбкий юноша с пылающими щеками.

– Еще загадочнее – электричество.

– В английском языке нет слова «уметь».

– Господа! У нас – поминки! – объявил Алеша.

– Ты откуда такой взялся? – вытаращился на него актер.

– Из глубинки: мы смоленские.

– Смоленский, а вид такой, будто инопланетяне забросили.

– Мысль! Послушайте, – оживившись, громко обратился Алеша ко всему залу, – какая страшная пьеса может разыграться буквально завтра. Представьте: прилетают инопланетяне – и все, как один, коммунисты.

– Замолчи сейчас же! – ужаснувшись, прошептала Наташа, понимая, что теперь не пощадят ни рассказчика, ни слушателей.

– Признаться, я не жду от Контакта ничего хорошего, – продолжал Алеша. – Как, впрочем, и пришельцы – от меня. Это неудивительно, ведь даже сородичи отчего-то видят во мне антисоветчика.

– Оставь что-нибудь на память, – попросил актер. – Последнее слово.

– Оно останется за женщиной.

– Тогда – рисунок, портрет, – выкрикнула из дальнего угла смуглая журналистка. – Вот – последнее желание женщины.

Через минуту Алеша, якобы не устоявший перед просьбой дамы, уже усаживал ту в плетеную качалку – позировать. Публика, как всегда, одобрила его покладистость, как всегда – потому что подобные экспромты сопровождали каждое прощание с шедевром и в действительности готовились загодя. Вслух Наташа неоригинально называла эти представления шаманством, но про себя чаще сравнивала их то с сеансом одновременной игры, то с публичной казнью. Нашему (как и почти всякому) художнику ничего не стоило набросать жировым карандашом девичий профиль, и он, бравируя своими быстротой и небрежной манерой – исключаящими, впрочем, огрехи, – с удовольствием в очередной раз сыграл роль Великого Алеши. Зрители, принимавшие номер за чистую монету, распалились, и Наташе пришлось огорчить какую-то востроносую школьницу, рвавшу-

юся попросить сувенир и себе: бесценные, те раздавались не даром. Леняся повторять затертую присловицу о бесплатном сыре в мышеловке, Наташа лишь попросила ее не переутомлять доброго человека и не забывать о теме вечера, подумав при этом, что Алеша уже не раз останавливал на девочке – кстати, умело обращавшейся со стаканом, – заинтересованный взгляд. Напоминать ему об ответственности за совращение малолетних было бы бессмысленно, скорее следовало воззвать ко вкусу, коему надлежало оскорбиться видом худых бесформенных ножек и узкого личика, лишь лихой раскраской доведенного до среднего уровня. Наташа не сделала и этого, потому что всем сразу что-то понадобилось от нее: один попросил чаю, другому нужно было, выйдя хотя бы к калитке, показать дорогу к станции, третьего тянуло в хозяйский погреб; когда же Наташа улучила минутку зайти в свою комнату за носовым платком, ей пришлось спросить с порога, туда ли она попала.

– В моих апартаментах не прибрано, – миролюбиво объяснил Алеша, жестом приглашая Наташу оценить невинную обстановку: давешняя девочка сидела на несмятой Наташиной постели, подкрашивая и без того темные губы, сам же он пытался без зеркала определить, не криво ли сидит его черная бабочка.

– Интересно, кто же учинил там беспорядок?

– Брось, Наташка, свой нудизм. Отчего да почему... Обстоятельства. И суть, к счастью, не в том. Мы с Кариной тут трепались и, слово за слово, обнаружили важное дело к тебе.

– Сима уехала, но я-то, между прочим, собираюсь ночевать здесь.

– Ах, каждый понимает в меру своей испорченности. Но, как говорят английские полицейские, все, что ты здесь услышишь, может пойти тебе на пользу. Так что сядь и внимай.

Новость, оброненная Кариной, состояла в том, что ее дед непонятным манером в одночасье стал главою новорожденного концерна, по определению девочки – фабрики скобяных изделий, урвавшей заказ на машину времени; как бы там ни было, предприятию зачем-то требовались художники, как понял Алеша – для исправного, дважды в месяц, получения денег (о чем многие их коллеги могли только мечтать), а на самом деле, скорее всего – для рисования первомайских транспарантов. Это казалось очевидной синекурой, но за всякое благо следовало платить, и здесь в жертву требовали свободу. В Союзе не было ни одного крупного заведения, так или иначе не работавшего на тайную, холодную или будущую войну, – вот и это не явилось исключением, и Алеша предупредил:

– Понятно, что это «почтовый ящик» со всеми вытекающими отсюда последствиями: военными тайнами, безвылазным рабочим днем от звонка до звонка, колючей проволокой, столыпинскими вагонами, шмонами на вахте, карцером, парашей...

– Ты еще забыл нары, – напомнила Наташа. – Но идею я восприняла, спасибо обоим.

– Только-то? Я думал, ты заплачешь от счастья.

У нее и в самом деле перехватило дыхание, едва она вообразила – нет, не заводской цех, аккуратно уставленный мольбертами, а себя, занимающую очередь к окошку кассы.

– Ты же сам сказал, что жертва велика, – вздохнула она. – Беда в том, что все другие предложения будут (если только будут) такими же. Вот моя судьба: либо случайные заработки, вернее, их отсутствие, либо нелюбимые, а то и вредные занятия. Карине этого не понять. Где ты, кстати, учишься?

– Школу я уже окончила, – понимающе улыбнулась та.

– Автобиографиями и телефонами обменяетесь позже, – сказал Алеша, – без меня. Я же, пожалуй, пойду, явлюсь народу. А что, Наташа, до судьбы, то она, как известно, индейка. Найди богатого мужа – и об индейке вспомнишь разве что под Рождество.

## 2.

При существующих конкурсах и поборах стать студенткою было почти невозможно, и когда это невозможное все-таки случилось, Карина, решив, что произошло недоразумение, ждала разоблачения еще до конца семестра. Ей не приходило в голову, что благополучное поступление в институт было делом рук всего лишь ее деда, слывшего в семье человеком непрактичным (что было ему на руку, позволяя не принимать участия в хлопотах и тяжбах, без которых непредставима нынешняя жизнь). Внешние сношения вменялись в обязанность отцу Карины, и Александр Августович мог спокойно работать свою любимую работу либо полеживать на диване, по выбору. Предпочтя первое, он проводил дни – все же не только по любви, но и за деньги – в скромном институте «Протеатр», где за два с лишним десятка лет сочинил множество разных механизмов сцены, вечерами же корпел дома над собственным проектом – железного занавеса, но не театрального, какие опускаются при пожарах, а такого, что отделил бы родную страну от враждебного ей мира. Над чем-то подобным наверняка трудились и какие-нибудь казенные засекреченные учреждения, но на то они и были засекречены, чтобы об их делах не знал никто; не знал и Александр Августович. Понимая,

что, скорее всего, изобретает велосипед, он надеялся хотя бы сделать его лучшим, чем у других (позже до него дошли слухи, что так и произошло: у конкурентов получилось нечто несуразное, сущий срам), и время от времени посылал свои предложения туда, где их, видимо, коллекционировали, – все без толку. Будущее было, Александр Августович не сомневался, за его идеей, но годы уходили напрасно, и следовало позаботиться о преемниках и последователях, потому что начальство откровенно выпроваживало на пенсию, и он старался лишь дотянуть до зимы, чтобы, собственноручно сдав последний выгодный заказ – оборудование театра в захолустном Куратове, – сполна получить деньги.

Переживая небывалую июньскую жару, Александр Августович затаивался, притихал в толстостенном институтском здании, и все же однажды его, изумив и напугав, выманили оттуда в знойный полдень странным вызовом – не в министерство даже, а куда выше. По правилам, звонить должны были в партком или в дирекцию, где уже решили бы, как поступить с сотрудником, но телефон прозвенел именно на его столе. Несолидный тенорок пригласил немедленно прибыть в Кремль, и Александр Августович тотчас поспешил на метро к центру – никому не сказавшись, оттого что заподозрил розыгрыш.

Пропуск тем не менее был ему заказан.

Привыкнув к современному, по мере сил, убранству нынешних учреждений, Александр Августович с удивлением обнаружил в заветном здании антураж годов примерно сороковых: грузные люстры с матовыми плафонами, вишневые, с зеленой каймой ковровые дорожки, горбатые, с глухими колпаками, лампы на столах у дежурных и старомодную мебель; только портрет в вестибюле если и остался здесь с прежних времен, то – лишившись естественной тогда пары. В пропуске был указан лишь номер комнаты, и Александр Августович не знал, к кому идет, пока не прочел табличку на нужной двери, но и она помогла мало: войдя в кабинет, он увидел, что хозяйское кресло пусто, а присутствующие полдюжины мужчин собрались в кружок у окна и похожи один на другого (лишь теперь почувствовалось, как в действительности далеки сороковые годы: тогда-то любой смертный знал, не смел не знать в лицо каждого вождя). На праздничных фотографиях он опознавал лишь Брежнева, Андропова, Громыко и, из-за сходства с Хрущевым, Подгорного, но тот, кто вызвал его сегодня, ни в эту четверку, ни, кажется, в следующую по ранжиру, уже безликую, десятку не входил. Учивший молодых знать всякое начальство в лицо, Александр Августович на этот раз оплошал сам. Замешательство длилось еще довольно долго, оттого что заговорил с ним не один старший,

при почтительном молчании помощников, а все шесть, даже перебивая друг друга, и ему не оставалось ничего другого, кроме обращения к ним ко всем как к одному барину. Барин этот начал с рассуждений о вещах, главному инженеру проекта не близких: о влиянии Запада на податливые умы, о вражеских «голосах», приучающих к себе молодежь легкой музыкой, о дискотеках, о контрабандных библиях и о спутниковом телевидении, которое скоро перестанет считаться с государственными границами. Александр Августович поддакивал. Посетовав затем с деликатной помощью русского мата на досадное наше неумение противопоставить этой напасти здоровые силы – балет, двух карманных поэтов, хоккейную команду и записного портретиста, – чиновник вдруг задал удивительный вопрос:

– Ваш институт – чем он помогает театру?

Совершенно не представляя себе, чего лишнего барин хочет от института, только и знающего, что проектировать начинку театров, Александр Августович промямлил что-то о своих невеликих полномочиях, но ссылка на директора не помогла, о том словно бы не хотели здесь слышать, и следующие вопросы касались уже самого Александра Августовича: не поступают ли на его произведения рекламации, не мешает ли ему возраст находить общий язык с коллегами и, наконец, не жалуются ли он на здоровье. Понимая, что беседа неизбежно завершится тем или иным для него потрясением – вручением ордена или увольнением, он не знал, как ответить, чтобы и не солгать, и не испортить дела.

– На восьмом десятке в космонавты не возьмут, – наконец выдал он и, еще помедлив, добавил для протокола: – Сам же ни на что не жалуюсь и на пенсию не собираюсь.

– Пенсия от вас не уйдет, – махнул рукой чиновник. – Делом надо заниматься.

Вслед за этим пришлось выслушать долгое изложение мысли классика об отдельно взятой стране, а потом и уточнение ее в таком виде: взять страну можно, лишь отделив ее от других любым, но лучше всего механическим путем, а именно – установив вдоль границ железный занавес. При последних словах слушатель задышал так трудно, что чиновник запнулся. Ничего страшного, однако, не произошло, и даже протянутый стакан воды оказался излишним; Александр Августович был вполне в силах внимать дальнейшему и скоро узнал, что его самодельные проекты такого занавеса изучены экспертами и – он не ослышался – одобрены почти без замечаний.

– Есть мнение, – многозначительно произнес чиновник, – что вашу задумку надо довести до ума. И эту работу решено поручить вам самому.

«А кому же еще?» – подумал обрадованный изобретатель, не сразу поняв, что от него требуют не просто наблюдения за осуществлением замысла, а исполнения всех работ от начала до конца, то есть от первой карандашной линии до воплощения в железе.

– Неужели этим до сих пор не занимались? – решил спросить Александр Августович. – Мне казалось, что страна давно участвует...

– Чего бы это ей ни стоило, страна будет участвовать, – отрезал чиновник. – Впрочем, вы правы, в этом направлении делалось многое. К сожалению, в принятом ранее варианте изделия обнаружились отдельные недостатки – в то время как вероятный противник проектирует занавес уже второго поколения.

– Разве какой-то, первого поколения, уже построен?

– Вы не поняли: проектируют сразу – второго. Нашего отставания, сами понимаете, партия не потерпит. Учитывая ваши настойчивость и опыт, мы и решили поставить вас на этот ответственный участок, где нужны свежий глаз и нетрадиционные подходы. У нас есть на примете неплохой коллектив, и мы, само собой, подберем вам толкового заместителя.

Что-то здесь было не так, но неискушенный в интригах Александр Августович второпях не находил подвоха; он знал только, что на места, подобные предложенному, не берут людей со стороны – они и своим-то достаются немалой кровью. Не видя, для какого маневра вводится его фигура, но уже понимая, что пропал, он все же попросил немного времени на размышление.

– Подумайте, конечно, это ваше право, – снисходительно ответили ему, – только у вас, товарищ Лозаннский, нет выбора.

Ему не советовали, его не просили, а ставили в известность, и ссылки на волю партии и правительства исключали не только отказ, но, кажется, и удовольствие поторговаться. Грядущая перемена участи была, однако, чревата крушением стольких планов, что припертый к стене Александр Августович решил спасти хоть что-нибудь; будто бы по-стариковски разболтавшись, он порассуждал о своем долге перед многими людьми и подвел к неременной необходимости посвятить ближайшие недели внучке, собирающейся поступать в институт.

– Поступит она, что вы, право, о пустяках каких-то, – поморщился чиновник. – Кстати, о семье: супруга ваша, я думаю, на пенсии.

– Была на пенсии. Да она умерла теперь. К тому ж мы разошлись...

Такого поворота здесь не ожидали – то ли имея другие сведения, то ли не имея никаких, – и не замедлили хором выразить слов-



но бы недоумение, а на самом деле – крайнее неудовольствие: факт развода сам по себе говорил о моральной неустойчивости кандидата. Чувствуя себя провинившимся, Александр Августович подумал, что все сорвалось и ему придется вернуться к своему разбитому корыту.

– Напрасно мне не доложили, что он разведенный вдовец, – попенял старший чиновник более младшим, но все же изволил разрядить напряжение посильной шуткой: – Придется исправить ошибочку, а? Пока не поздно?

– Не поздно бывает только учиться, – неопределенно ответил Александр Августович. – На ошибках. И вот, к слову: в моих проектах железного занавеса непременно есть ошибки, как же без ошибок, недаром я предложил, один за другим, несколько вариантов – и все разные. Так который же из них одобрен и положен, так сказать, в основу?

– Никакой, – последовал скорый ответ; лишь спустя некоторое время, когда присутствующие насладились уничтожением Александра Августовича, было милостиво преподнесено и разъяснение: – Вероятный противник уже провел дорогостоящие исследования и выбрал конструктивную схему, близкую, правда, к вашей, так что теперь незачем ломиться в открытые ворота, зазря тратя деньги и время. Нет, дорогой товарищ, мы не будем заниматься самодеятельностью, а повторим их разработку один к одному, благо информации у нас имеется достаточно. Да и вам так удобнее: никакой ответственности. Между нами говоря, мы и кое-какие самолеты так копировали, и первые ракеты – с таким усердием, что в одном случае забыли поменять дюймовую резьбу на метрическую, – а уж забор, даром что железный, срисуем, надеюсь, в лучшем виде.

Оскорбленный таким пренебрежением к своему детищу, Александр Августович хотел было встать и уйти, хлопнув дверью, – и не двинулся с места, не решившись одним жестом похоронить несколько лет собственного труда; все же, держи он дело в своих руках, оставалась надежда при случае хоть что-нибудь сделать по-своему. Вдобавок он быстро поверил в то, что при любом повороте событий не понесет ответственности: взять с него было нечего, и самым большим наказанием за нерадивость, за строптивость ли стала бы отправка на пенсию, то есть возвращение к нынешнему состоянию; однако за срок, потребный для сгущения в воздухе электричества, он бы успел вкушать благ.

Повторная его просьба времени на размышление была всего лишь данью приличиям.

### 3.

После победы на душе стало нехорошо.

Обычно старавшийся держаться подальше от любого начальства и поэтому знакомый только с ближайшим, Александр Августович не знал, что и сказать о своем впечатлении от встречи с высокопоставленными чинами: он попал в такую странную компанию, что впору было щипать себя за руку, проверяя, не сон ли это. Как раз накануне, листая энциклопедию, он наткнулся на портреты членов царского правительства и поразился засилью в этом иконостасе лиц интеллигентных и благородных; нынешняя беседа в кремлевском кабинете оставила обратное впечатление, потому что именно лиц он там и не нашел, и сколько бы теперь, по прошествии часов, ни пытался припомнить черты хотя бы одного из присутствовавших, все выходил один и тот же блин. Речи их тоже слились в неотчетливую одну, и Александр Августович, которому теперь казалось, что он и сам невольно подражал им, пожалел, что говорил с ними и без того надменного аристократизма, который, кажется, умел подделывать, и вообще неумно, тем самым будто бы поставив себя на одну доску с ними, недостижимыми и опустившимися; это-то и не укладывалось в голову: то, что унизился, поравнявшись с вышестоящими.

В связи с этим пришлось вспомнить и о народе, то есть о таком предмете, всякая ссылка на который обыкновенно звучит неловко; между тем, хорошо усвоив расхожую формулу о необходимости блюсти народные как раз интересы, Александр Августович близок был к тому, чтобы заподозрить (но отгонял подозрение), будто люди, которых он собирался оградить незнамо от чего, а именно и студент, и ученый, и даже иной человек из простонародья, не одобрили бы постройки изобретенного им механизма. Он, собственно, всегда понимал это непростое обстоятельство, но, пока проект казался неосуществимым, оставлял его за скобками; теперь же это второстепенное соображение само собою выступило на передний план, и Александр Августович вопрошал, не станет ли он в глазах достойных людей врагом общества. «Не я, так другой, – успокаивал он себя. – Международная обстановка сложна – и требует. В конце концов так случалось всегда, что город или целое царство при опасности набега отгораживались надежным занавесом (смотря, конечно, что под этим понимать), а при опасности воздушного налета население скрывалось в бомбоубежище; там и жило».

С этими мыслями, встревоженный, он спустился в метро, где его внимание отвлекла случайная картинка. На скамейке в начале перрона сидела девушка с букетом в руках. Отблеск фар отходящего поезда скользнул по жесткому целлофану, которым были обернуты цветы, за-

тем и другие огоньки пробежали там же, и Александру Августовичу, пока еще не понимавшему ничего про букет в блестящей обертке, издали почудилось в ее руках пламя, вполне натуральное. Ей будто бы не сделалось дурного, но за себя он испугался, увидев в мимолетном наваждении знак; сердце противно зануло, и бесполезно было, чтобы отвлечься, разглядывать давно погасшие гвоздики в девичьих руках. В конце концов то, что могло и должно было, то и случилось на свете, только никто не знал заранее сроков. Никто еще не сумел отгородиться от смерти хотя бы пожарным занавесом в театре, хотя бы другой завесой, установленной у порога ли квартиры или у пределов государства, — и все же не мешало бы подкинуть медикам идею, подучив их пристраивать в сознании всякого желающего такую железную ширмочку, чтобы не только была непроницаема для влияний извне, но и свои мысли не выпускала бы наружу; справься они с задачей — и всякий прожил бы в покое до ста лет.

«До ста лет», — повторил он с удивлением, осознав, что только утром готовился выйти на пенсию и, очевидно (после или даже вследствие того), умереть; теперь же повернулось так, что его оставляли в живых, и это было неспроста: отсрочка определенно давалась как время для исполнения чего-то грандиозного — и он знал чего. Человек не верующий, а суеверный, Александр Августович в создавшемся положении усмотрел тем не менее игру не темных, а высших сил; проникшись из-за того значением своего проекта и мечтая о изменившемся будущем, отныне — светлом, он нечаянно допустил даже, что и впрямь недавно умер, а его дело на земле завершает некий двойник. «Но я мог бы и сам», — подумал он с неподдельной обидой.

Пока что он чувствовал себя так, будто носил не ширму внутри, а чужую маску снаружи (это озадачивало, потому что если принадлежность маски оговаривается нарочно, то кроме чужой должна иметься и собственная); проверить, что за личина надета сию минуту и вообще надета ли, не было возможности, за отсутствием зеркала (в переполненном, как всегда, вагоне метро никак не удавалось за головами соседей разглядеть свое отражение в стеклах), и так, с полунадетым накладным лицом, он и добрался до своих дверей.

Дома еще никого не было, и Александр Августович не спеша переоделся, умылся, заодно избавившись наконец от маски, и устроился в кресле с вечерней газетой. Только сейчас, как раз ко сбору семьи, к нему вернулось такое благодушное настроение, что уже не хотелось делиться с домашними нынешней радостью, более не смущаемой печальными соображениями, — да это и не было заведено. Когда-то дочь бывала от-

кровенна с ним — откровеннее, нежели с матерью, — так давно, что воспоминание об этом казалось выдумкой; тогда и он много рассказывал ей о себе. С замужеством Виктория отдалилась настолько, что будто бы перестала быть сама собою, с зятем у Александра Августовича близкие отношения так и не установились, и когда бы не внучка, он чувствовал бы себя одиноким в собственном доме. Но и она стала доставлять много хлопот.

— Я тебе звонила, — сообщила дочь, когда все собрались за столом в кухне. — Что за дела вдруг образовались у тебя в городе? Или ты отпросился и пошел по магазинам?

— Важные дела, Вика, — помедлив, ответил Александр Августович, уязвленный прозой ее предположения. — Дело в том, что моему изобретению дали ход, и теперь пришлось решать практические вопросы. Мне предлагают возглавить фабрику по его производству.

— Что же вы такое изобрели? — не скрывая иронии, поинтересовался зять. — Театральное кресло-кровать или вечный двигатель?

— Кресло, кресло. Но беда в том, что отныне все, касающееся моей идеи, строго секретно, — с достоинством объяснил Александр Августович, пропуская мимо ушей насмешку; он еще давно сообразил, что суть его проекта, в случае успеха, составит военную тайну и никого не посвящал в свои дела, отделяясь от вопросов шуточками, как только умел.

— Зачем же тогда намекали? Только дразните.

— Помолчи, Вилен, — одернула мужа Виктория. — Это может быть важно. Представляешь, папа — фабрикант! Так что же, эта фабрика — ты что-нибудь выиграешь в деньгах? И где она расположена, как туда добираться?

Ни на один из вопросов Александр Августович ответить не умел, но предполагал, что будет устроен по высшему разряду. Дочь искренне удивилась: зачем же тогда спрашивать совета?

Но он не советовался, а ставил в известность; это было нечто новое.

— Не для того я предлагал проект, чтобы он истлел в архиве, — сухо сказал Александр Августович. — Это единственный шанс: нельзя допустить, чтобы тему отдали другому.

— Не трудно ли будет руководить, с непривычки? — поинтересовался Вилен Алексеевич. — Годы, как-никак.

— Партия поможет, — ответила за деда Карина.

— Как же это выглядело — вы письмо получили? — продолжал допытываться зять. — Дали бы почитать. Или оно тоже секретно?

— Да нет же, письма не было. Мне звонили из Кремля.

– Из какого Кремля?

– Красную площадь знаешь? – рассмеялась Карина. – Как войдешь, направо.

– Но тогда... тогда это же серьезно?

– Да ведь я не шутки шучу, друг мой, – усмехнулся Александр Августович.

– Одна я поняла это сразу, – похвалилась внучка.

– Толковая девочка, – все с той же усмешкою сказал дед, – да не слишком усердная. Кто-то обещал заниматься с утра до ночи – и что же? Прихожу сегодня домой – никого нет.

– Излишнее усердие вредно для здоровья.

– Ну, тебе ничего такого не грозит, тем более, что ты до сих пор не решила, куда подать документы. Изволь поскорее сделать хотя бы этот шаг: вероятно, я смогу тебе помочь.

– Да чем ты сможешь? – махнула рукой Виктория.

Карина с восторгом воскликнула:

– Дедушка сегодня прямо как Дед Мороз: принес мешок со счастьем и таскает оттуда сюрпризы! Спасибо, деда, обнадежил, не то я стала уже присматривать себе работу.

– Ты ничего не умеешь – какая работа? – пожал плечами ее отец.

– Не поступлю в вуз – пойду в натурщицы.

– Как? – в один голос вскричали родители.

– В натурщицы, не в уборщицы, вы не расслышали, – спокойно разъяснила девочка. – У меня есть знакомые художники, так что проблем не предвидится. Да что вы так смотрите? От меня ведь ни особенных бедер, ни бюста не потребуется, это вам не Голливуд: годится любая фигура.

– погоди, Вика, – удержал Александр Августович готовую взорваться дочь, – не горячись раньше времени: Риночка поступит, я уверен, и с этим ее экзотические варианты отпадут сами собою. Она тебя поддразнивает, а ты принимаешь все за чистую монету.

– Все шутят, все друг друга разыгрывают – не дом, а цирковое училище, – раздраженно ответила Виктория. – Один ты вещаешь серьезно.

В какой-то мере так оно и было. Несмотря даже на упоминание о Кремле, семья как следует не осознала, что старейший ее член только что обручился со властью и что в ней самой грядут перемены: не так легко им было в одночасье хотя бы на время отказаться от привычного образа никчемного дедушки, несведущего в сложной нынешней жизни, приносящего скромную зарплату и годного разве что для того, чтобы сходить за провизией; эта потертая маска была так давно и так прочно

приклеена к коже Александра Августовича, что даже родная дочь позабыла его природные черты.

#### 4.

Намыкавшись по городским столовым, Деригузов с некоторых пор повадился на обеды в райком партии. Там кормили дешево, картошку жарили на настоящем масле, баловали то красной рыбкой, то фруктами, и публика собиралась приличная – средние служащие, хорошо одетые и обходительные; достаточно сказать, что нигде больше он не слышал, чтобы случайные соседи по столу непременно желали друг другу – и ему, инкогнито, – приятного аппетита. Мало-помалу привыкнув к этим манерам, он стал чувствовать себя здесь своим, и его уже тянуло раскланиваться с некоторыми завсегдатаями, особенно – с некой коротко стриженной платиновой блондинкой с тонким профилем и сухим взглядом. Ее присутствие в строгом учреждении казалось случайным (притом, что даже в кино у нас перевелись красивые женщины), и Деригузов, чувствуя себя при ней неловко, не смел подойти, а пока лишь обожал ее издали, сдабривая приятным зрелищем свои трапезы. Обедала она не всегда в одно время, и Деригузову, не умевшему подладиться под ее расписание, даже и это удовольствие выпадало не всякий день. Вдобавок тут иной раз происходили и совсем другие встречи – вплоть до таких, что портили аппетит.

На улице было ветрено, и он задержался в вестибюле, чтобы причесться. Рассеянно прихорашиваясь, он наблюдал в зеркале проходивших за спиной и, проводив глазами очередную хорошенькую мордашку и возвращаясь к собственной прическе, внезапно содрогнулся, увидев, как страшно исказилось его лицо: прорезались значительные морщины, в подглазьях набрякли черные мешки, а с волосами и вовсе произошло что-то дурное. Деригузов едва не вскрикнул от ужаса, решив, что случилась беда со временем и он умер от старости. Лишь через несколько долгих секунд он понял, что смотрит в соседнее зеркало; первое стекло тотчас, по осторожном повороте взгляда, показало ему привычное его обличье, но это не принесло облегчения, потому что рядом существовало еще и третье зеркало, и страшно было подумать, какая картина хранилась там.

Обернувшись в поисках кого-нибудь, кто смог бы защитить, или хотя бы свидетеля, он увидел рядом с собою пожилого человека, одетого в почти такой же, как у него самого, костюм и с изрядно увядшими деригузовскими чертами – себя самого в будущем, каким не хотел бы стать, и оттого безобразного. Отчего-то испугавшись, что и тот заметит сход-

ство, Деригузов поспешно, роняя и перехватывая расческу, закрылся руками.

Повезло ему или нет, но за свою жизнь Деригузов еще не встречал ни похожего на него лицом человека, ни даже однофамильца — и уверовал в свою неповторимость. Увидев теперь эту потертую копию, он почувствовал себя ограбленным; как бы само собою разумелось, что, обладая его внешностью, двойник пользуется, без спроса, еще и прочими его свойствами: умом, глупостью ли — неважно, но главное, что — теми же.

Возможно, кого-нибудь другого обрадовало бы явление родственной души — единственного, быть может, верного союзника в мире, где не встречаешь полного понимания, — Деригузова же оно встревожило не на шутку. Мир для него жил, не преступая законов диалектического материализма, и с этим никак не вязалось вмиг возникшее убеждение в том, что нынешняя встреча состоялась неспроста и предупреждает о грядущем пересечении судеб.

Подумав, что по ошибке едва не причесал чужого человека, Деригузов застонал.

Двойник между тем углубился в коридор. Ему поклонился встречный служащий, и Деригузов налетел на того с нетерпеливым вопросом, что это прошел за человек. Ответ был: новый директор «Золотого дна» (так жители района, обманутые числом частных машин у проходной, называли секретный завод, в годы войны выпускавший танковые гусеницы, а потом и вовсе странные для штатского человека вещи — от подвесных самолетных бензобаков до понтонов).

— Фамилия же его... — затруднился служащий. — Редкая, но... Александр же Невский! Женевский. Впрочем, вру. Шикарная такая швейцарская фамилия... Вот: Лозаннский!

— В Лозанне убили Воровского, — вспомнил Деригузов.

— Кто такой Воровский?

— Трудно сказать.

Тотчас открылась неустойчивость нового положения Деригузова: если вдруг тот человек убил кого-то — пусть и не в Швейцарии, — то, пользуясь фотороботом, вполне могли схватить младшего из двойников; правда, и обратный вариант тоже не следовало упускать из виду. Когда же судьба избавила бы обоих от серьезных правонарушений, то и в этом случае из неизбежной путаницы следовало бы извлечь хотя бы малую выгоду — ходить, например, в одно из мест, недоступных простым смертным, в какой-нибудь закрытый распределитель, где продаются прекрасные вещи, что ни пожелай, — были бы деньги.

— Убога, брат, твоя фантазия, — опомнившись, одернул он себя. — Хватит с тебя и обедов с партийной дотацией. Остальное отложим до поры.

Отложить, однако, возможно было лишь мечтания, но никак не встречу с Лозанским, пусть и не как со своим подобием: положение Деригузова, редактора районной многотиражной газеты<sup>1</sup>, обязывало его непременно взять интервью у столь заметного в районе лица. В этот момент он от возбуждения совершенно забыл о том, что о «Золотом дне», как и о всяком оборонном предприятии, запрещено упоминать вслух, а директору того вплоть до кончины надлежало оставаться безымянным и невидимым. Он сообразил только, что не следует ничего затевать в стенах райкома, имевших, возможно, не одни уши, но и глаза: ум, которому служили названные органы чувств, склонен был толковать превратно даже простейшие вещи; сойтись же в других стенах — их пока негде было взять.

Несмотря на смятение чувств, дешевым обедом пренебрегать не следовало; сделай он так — и прогадал бы: едва отойдя с полным подносом от раздачи и оглядываясь в поисках свободного места, Деригузов обнаружил ближайшее за одним столом с любезной его душе блондинкой; поначалу, впрочем, это не обрадовало, а только усилило смятение, оттого что в таком небывалом везении легко различалось некое предупреждение.

Вопроса, нельзя ли сесть рядом, та словно бы не расслышала, и за нее ответила соседка, а пожелание приятного аппетита вызвало только ответный кивок. «И верно ангельский быть должен голосок, — подумал Деригузов, задетый ее молчанием. — Как бы заставить ее выронить сыр? Если она и ворона — белая, платиновая! — то не просто другой породы, а породистая: один клювик с горбинкой чего стоит. Между прочим, бельишко ей, видимо, стирает мамочка: с такими ногтями не похозяйничает. Но как она печатает на машинке?»

— Как же вы на машинке печатаете?

— То есть?

— Ваш маникюр, думаю, больших трудов стоит.

— Справляюсь.

До сих пор у Деригузова, очевидно, было ошибочное представление об ангельских как голосах, так и характерах. «Никто не сказал, —

<sup>1</sup> Иностранцам, читающим нашу повесть, следует разъяснить, что многотиражной называли в Союзе газеты как раз с исчезающе малым, разве что отличным от единицы тиражом.

мелькнула мысль, — что она — белый ангел. Те ведь тоже, как и вороны, делятся на белых и черных». Смущенный догадкой, он едва не выронил ложку, и кусок капусты из шей повис на подбородке. Девушка, покончив со своей едой, снисходительно улыбалась, наблюдая за его суетливыми стараниями при помощи того же неверного инструмента убрать следы происшествия.

«И эти щи, — подумал Деригузов. — Я пропал»

— Прямо скажем, не каждый день случаются такие встречи, — пробормотал он и сделал паузу, чтобы девушка могла вмешаться, но и тут не дождался вопроса; невольно поежившись, он продолжил падающим голосом: — Только что в вестибюле, у зеркала, я встретил своего двойника.

— И теперь не знаете, кто с нами сидит — вы или он? — хихикнула ее сообразительная соседка.

— Надо ж, об этом я не подумал.

— Так что же произошло — вы испугались?

— Я мог закричать, — признался он, — потому что увидел не чужого человека, а себя, который состарился. На макушке остались последние три волоска — от этого и вправду можно было поседеть.

— Вам не привиделось?

— Да нет же, я коснулся его локтем, — горячо возразил он, привычно подтверждая свои слова газетным заголовком: — Удивительное — рядом.

— Что же вы не заговорили с ним? — вступила наконец в разговор блондинка. — Это живой человек — уж не родственник ли?

— Уж не отец ли? — потерянно улыбнулся он. — Но я узнал, кто это, мне сказал встречный: директор «Золотого дна».

— Нина! — обернулась к блондинке подруга. — Он же к твоему пошел, ты сама говорила. Вот, будет уходить — сравни лица.

— Тоже мне удовольствие! — фыркнула та.

«Чем же я заслужил?» — огорчился Деригузов.

Нина, кажется, и сама поняла, что переборщила.

— Вам бы сейчас надо выпить.

— Угощаете? — оживился он, удивляясь ее понятливости, но девушка, вставая из-за стола, только пренебрежительно махнула рукой.

## 5.

События развивались так быстро, что Александр Августович обосновался на новом месте прежде, чем уволился со старого. На шестой после начала всей этой истории день он уже сидел в первом в своей

жизни отдельном кабинете (с уже совсем неожиданным приложением в виде комнаты для отдыха и ванной), в седьмой — отдыхал, а утром восьмого нанес визит секретарю райкома, как думал последний — чтобы засвидетельствовать почтение партийному руководству, а по мнению самого Александра Августовича — чтобы побаловать невеликую власть вниманием человека, у которого под началом оказалась едва ли не четверть всего населения района.

Первого секретаря, Федора Абрамовича Масалкина, за глаза звали просто Федей, и Александр Августович представлял его себе коренастым пареньком с льняной шевелюрой, едва ли не в сатиновой косоворотке и с гармонью в руках. Сам он поэтому решил выглядеть при встрече подчеркнуто строго, без скидок на жару. В вестибюле райкома он задержался перед зеркалом, чтобы поправить галстук, и тут произошла непонятная сцена. Некто с лошадиным лицом, смотревшийся в то же зеркало, вдруг шархнул в сторону, закрываясь ладонями и не отводя дикого взгляда сквозь пальцы от Александра Августовича, который, сбитый с толку, испуганно забегал глазами по отражению, а пальцами — по костюму, заподозрив беспорядок хотя бы с застежкой брюк, но нарушений не нашел и остался в недоумении.

Федя оказался мужичком средних лет, плохоньким, но с большим животом, однако не помешавшим ему живо вылезти из-за стола навстречу посетителю.

— Так вот каков наш главный конструктор, наш новый директор, — ненатурально заулыбался он, увлекая Александра Августовича к кожаному дивану. — Рад, рад вашему назначению — представьте, за себя рад. Не удивляйтесь, я прямо скажу, что вижу тут и свою корысть: в ваше предприятие потекут деньги, большие деньги, а это — начало новой жизни для всего района. Разбогатеет завод — разбогатеет все.

— Приятно, что вы столь откровенны, — поклонился Александр Августович. — Если таков ваш постоянный стиль, то мы преуспеем. Только позвольте указать на одну маленькую неточность: вы сказали — завод, а теперь надо — Научно-производственное объединение.

— Да, да, поднимай выше: НПО! НПО «Гром!» — согласился Масалкин. — Оно и понятно: сегодня даже простой забор не построишь без науки. Мне только одно невдомек: с чего это вдруг так резко — «Гром»? Другим «почтовым ящикам» присвоили имена — и все спокойные: тут и «Факел» и «Ландыш»...

— Видите ли, — напыжился Александр Августович, — не обо всем можно говорить вслух.

– Секреты от партии, – шутливо погрозил пальцем первый секретарь. – Ну-ну, не возражайте, вы правильно действуете, только ведь меня раньше вас вызывали на Старую площадь. Так что давайте не будем таиться друг от друга: мы с вами в одной упряжке, а дело нам поручено архиважное. Мы боремся за мир во всем мире и держим порох сухим, но в стране еще есть элементы, разлагающиеся под чужим влиянием. Борьба с ними обходится в копеечку, да нечего делать, иначе могут распространиться самые невероятные сведения. Например, на случай войны с Китаем мы, я слышал, держим китобойный флот – это совершенно секретный факт, и тем не менее я вдруг слышу через страшные помехи, как об этом самом сообщает западное радио. Надо, наконец, надежно оградить советского слушателя от подобной лживой информации. Очень, очень вовремя вы выходите на сцену.

– Между прочим, я много лет назад предлагал...

– Центральному комитету виднее.

– Но я отвечаю на вопрос, пока не забыл. Название объединения подсказано самой конструкцией нашего изделия: оно должно в некоторых местах раскрываться, чтобы пропускать транспорт, войска... Впрочем это скучные мелочи. Просто оно должно раскрываться. Короче, оно раскрывается. Американцы для этого используют солидную задвижку, действующую по принципу застежки «молния». Ну а где молния, там и до грома недалеко.

– Остроумно, – оценил Масалкин.

– Вообще, «молния» – великое изобретение, – оживился Александр Августович. – Я сам изобретатель – и преклоняюсь перед человеком, кому пришла в голову ее идея. То есть я просто не в силах представить, откуда она взялась. Сами подумайте, друг мой: в природе нет ничего подобного, такого, что бы могло натолкнуть на мысль. Мне известно только еще одно великое необъяснимое изобретение: швейная машинка. Поручи мне спроектировать ее на пустом месте, я бы стал гадать, как, протянув нитку через ткань, потом развернуть иглу обратно. А на самом деле... Похоже, что машинку придумал человек, в своей жизни не пришивший даже пуговицы.

– Вам-то зачем шить?

– Гениальные люди были.

– Сами же сказали, что они изобретали на пустом месте, в одиночку.

А у вас в руках иностранные разработки, собственный проект, опытнейшие кадры. Кстати, насчет кадров: у меня для вас припасен маленький сюрпризец.

Подумав, что простой визит вежливости может затянуться, Александр Августович украдкой взглянул на часы. На вторую половину дня у него было назначено прощание со старыми сослуживцами – собрание, на которое он не смел опаздывать. Впрочем, время пока терпело.

Кряхтя встав с дивана, Масалкин бочком передвинулся к незаметной двери в углу кабинета, ведущей, очевидно, в такую же, как и у Александра Августовича спальню. Приотворив ее, Масалкин тихонько позвал оттуда какого-то Владимира Никитовича.

Сюрпризец оказался дюжим молодцом с лауреатской медалью на лацкане дорогого, но мешковато сидящего пиджака.

– Ваш первый заместитель, – представил его Масалкин, – Владимир Никитович Пшенко – да, да, сын маршала. В некотором смысле – гарантия ваших успехов: вы ведь в таких кругах станете вращаться, я бы сказал – в таких сферах, что попросту заплутаете без проводника из местных жителей. А Владимир Никитович если и не знает сам какого-нибудь хода, то имеет с кем посоветоваться.

– Вы его рекомендуете или назначаете? – наивно поинтересовался Александр Августович, думая при этом, что вот так и сам маршал будет играть свою игру. Первая разыгранная в ней комбинация показалась ему нехитрой: то ли маршал хотел соблюсти приличия, то ли у него просто не достало силы, чтобы безо всяких предисловий посадить сына в кресло главного конструктора (как это весьма, по разговорам, гладко получилось у него с государственной премией, лауреатом которой Пшенко-младший стал уже через год после окончания института), только на этот раз был придуман окольный ход, позволявший нужным передвижениям произойти самым естественным и пристойным образом. В вожденное кресло посадили чужого человека, имеющего самое прямое отношение к делу, но дышащего на ладан, и скромному преемнику теперь осталось только дожидаться или скорой потери сил того, или, не ночи будь сказано, кончины. Между тем сам Александр Августович вовсе не собирался обретать покой ни тем, ни другим способом. Новое назначение словно бы придало ему и новые силы, и он рвался собственноручно что-то чертить и мастерить, распоряжаться и учить других – лишь бы увидеть в действии выдуманный им механизм; он, правда, и раньше не очень верил в свою старость и на людях держался с другими мужчинами на равных. Да и на нынешнем прощании с «Протеатром» он собирался выглядеть молодцом.

Разговор, теперь уже троим, мог затянуться, а это не входило в планы Александра Августовича, торопившегося на пир. К счастью, Масалкин, явно готовившийся прочесть наставление обоим, ошибся,

предложив новому директору здесь и сейчас же оговорить обязанности (а слышалось – права) заместителя.

– Жаль тратить на это ваше время, друг мой, – со сладкой улыбкой, но твердо сказал Александр Августович. – Сделаем так: товарищ Пшенко зайдет ко мне завтра утром, и мы без спешки разберемся, что к чему. Ровно в девять, пожалуйста. Кстати, и сейчас по дороге можно обменяться парой слов.

– Между нами, я еду не на фирму, – сообщил Александр Августович своему заместителю уже в машине. – Я подвезу вас, конечно, куда прикажете, но деловые разговоры давайте-ка отложим все же до утра.

Высадив Пшенку, он, довольный собою, велел шоферу повернуть к центру (постеснявшись сказать, что – домой); для отвода глаз ему пришлось придумать неуклюжий маневр: выйдя на Арбатской площади у министерства обороны, дожидаться, пока машина не скроется в туннеле, и тогда сесть в троллейбус.

То, что ему предстояло, в наши дни называется «дать отходную» – с ударением почему-то на третьем слоге, тогда как до сих пор в языке бытовала одна «отходная», с сильным вторым «о»: отходная молитва, читаемая на отход души, умирающему; ни о чем таком Александр Августович, далекий от непрактичных гуманитарных предметов, не имел ни представления, ни охоты рассуждать, но, затронь кто-нибудь эту тему сегодня, вполне мог бы согласиться с таким, например, объяснением задуманного действия: от его бывшей рабочей группы отходила душа, без старого шефа непременно должны были наступить разброд и шатание, и оттого отходный плач был неизбежен.

В нынешнем нашем понимании и в обратном переводе на русский упомянутая – с неверным ударением – идиома звучит как «устроить прощальный пир». Поначалу Александр Августович настроился шикануть, заказав стол в кафе, но его отговорили, потому что в чужом доме не вышло бы свободного разговора и потому, что прощаться надо было не с одними сослуживцами, но и с привычной обстановкой, и со стенами. Вино, закуски и торты ему помогли купить и многое отвезли уже на место, но кое-что оставалось и дома, и это кое-что надо было тащить на себе, коли он так решительно отпустил машину; прощаться он обязан был приехать, как всегда – в битком набитом троллейбусе. Внучка вызвалась помочь, но он позволил ей лишь проводить себя до институтского подъезда и придержать тугую дверь, пока он протискивался с сумками; там его уже встречали.

«Протеатр» размещался в бывшем доходном доме, и сохранившаяся с лучших времен квартирная планировка, со всеми чуланчиками,

закутками, закоулками и прочими старорежимными выдумками оказалась чрезвычайно удобной для негласных сборищ – которые и процветали. Высокое начальство не имело обыкновения расхаживать по этажам (да и то не сумело бы заглянуть во все укромные углы), невысоким же для гулявших в описываемый летний день был сам виновник торжества, больше не способный ни срезать за неурочное пьянство квартальную премию, ни объявить выговор за беспорядок. К его приходу в комнате передвинули мебель, составив вместе столы, и только в красном углу, где еще недавно обитал Александр Августович, все сохранили так, как было. На столах, в бутылках из-под кефира, красовались цветы, а кульманы, повернутые к стенам, обнаружили на своих изнанках великое множество нарядных картинок – календарей и рекламных снимками девушек, отелей и снова девушек, так что непосвященный человек, заглянув по ошибке в дверь, никак не назвал бы помещение рабочим. Непосвященных, однако, не водится теперь. Во всем советском государстве не сыскалось бы такого казенного дома, где время от времени не устраивались бы пиры – торжественные или прощальные, в дни рождения или в красные числа, по случаю премии или вовсе без случая; повсюду они проходили одинаково, и описывать, как гуляли в «Протеатре», излишне: читатель сам представит себе с мельчайшими подробностями все, кроме самочувствия Александра Августовича, расстроганного проводами и расстроенного невозможностью впредь, в новом качестве главы фирмы, так запросто пировать с подчиненными. Быть может, не менее будущей ответственности за государственное дело Александра Августовича беспокоил неизбежный отказ от многих привычек и привязанностей, которыми он, как старый человек, особенно дорожил: он любил, например, обеды прямо за кульманом, состоявшие из бульона из термоса или чая с бутербродами (но к этому часто добавлялись домашние диковинки вроде солений, варений или пирогов), любил ежедневные обмены семейными новостями, любил и мелкие услуги, которые ему оказывали как старшему, – и теперь вместо всего этого ему предстояло убивать время в огромном пустом кабинете, ничего не делая собственными руками, а только распорядясь чужим трудом, и не имея возможности сесть за общий стол даже в столовой.

Воодушевление первых дней, когда только и думалось, что о возможных приобретениях мало-помалу, по мере осознания дерзости американского плана, размеров будущего строительства на шестой части земной суши и угрозы, при неудаче, исключения из партии, сменилось тревогой. Александр Августович понимал, что теперь ему не с кем будет советоваться – не с юным же отпрыском маршала, который мог ока-

заться толковым парнем, но не мог стать своим, — тогда как до сих пор под рукой постоянно находились верные помощники — Сеня Ходатаев, старый самоучка, любую конструкцию безошибочно творивший на глазок, безо всякой арифметики (после него, задним числом, рассчитывали — и ни разу не пришлось переделывать), и шумный дядька Самсон Воеводин, ни Сениными, ни какими-нибудь другими способностями не обладавший, зато гораздый подолгу и впустую разглагольствовать, что удивительно помогало делу: под его долгие речи, устав от них, Александру Августовичу удобно бывало рассеянно воспарять в собственные сферы, нет-нет да и наталкиваясь там, благодаря длительности витания, на толковую мысль. Ходатаев удерживался на насыщенном месте лишь благодаря поддержке своего шефа; они были старейшими в институте, но и Воеводин достиг пенсионного возраста, и молодежь шутила, что их группу надо выделить в филиал — в «Пратеатр». Им хорошо было бы и в новую фирму уйти вместе, своей командой, но любой кадровик до икоты хохотал бы над Сениной анкетой: год рождения — 1916-й, еврей, беспартийный, образование — начальное; с такими данными можно претендовать на должность ночного дежурного, но не столоначальника. Все же сегодня, когда пришла в голову эта нечаянная дичь, Александр Августович пообещал:

— Подумаю, что можно для тебя сделать.

Его дружно поддержали и выпили за то, чтобы возможное сделалось и для Сени, и сочувственно выслушали намек Воеводина, и Александр Августович подумал, что вот так и начинаются исходы народов, когда первые, одиночки, идут за коркой хлеба, запоздавшие — за стопкой водки, а оставшиеся сокрушаются о потерях еще не обретенных приволий. Сам он хотел бы вести через пустыню только избранных, числом — одного, надеясь, что прочих не прельстит печальная участь беженцев, оставивших старые московские переулки ради сомнительных окраин.

— Ах, мой милый Августин, все прошло, прошло, прошло, — пропела на собственный мотив рыженькая инженерка Соня, подходя, чтобы чокнуться.

Все ли прошло — вопрос спорный, но с нынешнего дня многое из подступавшего к порогу будущего вдруг, миновав срединную ступень, стало прошлым; туда же переселилась, тоже избежав мимолетного осязания во времени, и эта Соня, прежде, в древней истории Александра Августовича, более других принимавшая в нем участие и создавшая ему на службе прямо-таки домашние условия — она и вовремя поила чаем, и следила за чистотой на рабочем столе, и покупала продукты, даже и

для дома, и пришивала пуговицы, — и оттого так неприятно было услышать ее уверенное «все прошло», которым она прощалась с ним, не подумав или не желая подумать, что может ему сопутствовать (но в действительности не желал подумать как раз Александр Августович — о том, каким манером могли бы они осуществить это движение вместе, это ее сопровождение).

— К счастью, вы заблуждаетесь, Сонечка, — сказал Августин, — наш с вами роман бессмертен.

— Только не в журнальном варианте, — уточнил кто-то из публики.

— Вы же заведете себе настоящую секретаршу, — надула губки Соня.

— Уже завелась, еще до моего прихода, — признался он.

— Вы будете с ней жить счастливо...

— ...и умрем в один день, — смеясь, закончил за нее Александр Августович.

— Тогда выпьем за счастливый конец.

Он подумал, что если и не конец, то следующая глава непременно выйдет скучной: в первые недели он еще будет звонить своим недавним коллегам и они даже успеют пригласить его на какое-нибудь ближайшее торжество (и у него не найдется времени), а потом звонки пойдут все реже, пока не прекратятся совсем, и только, наверное, домашний телефон Ходатаева он будет набирать исправно

— Какая тоска, Сонечка, меня ждет, — прошептал он. — Скажу только вам: я боюсь этого взлета. Что-то тут не так, ведь меняется одно лишь мое положение — и ничего больше. Всякое же случайное благодеяние нелепо и подозрительно...

— Совсем не к месту вы грустите, — прервала его девушка и сделала знак Ходатаеву.

— Мы договорились отказаться от торжественной части, — вставая, сказал тот, толстый старик с желтыми, бахромой висящими прямыми волосами. — В разумных нарушениях есть смысл. И все же — не только пить мы сюда пришли. Настало время произнести...

— Гост, — подсказал кто-то.

— ...речь.

— Надгробную, — неожиданно для себя уточнил Александр Августович.

— Теперь я вижу, Саня, что выступил вовремя: еще немного — и было бы поздно для любых речей. Все ж в одном ты прав: лучшие слова о человеке говорятся в некрологах. Добавлю: и в тостах; я заготовил было один, но кто-то другой сказал его раньше, повторяться же я и хотел бы, да не велят. Хорошие слова ты запомнишь и без повторения, а нас, простых смертных, забудешь. Борьба с этим бесполезно, но можно отда-



лить момент, и для этого надо иметь что-то такое, что постоянно возвращало бы твою мысль к нашему родному институту – и к нам, родным тебе. Для этого – чтобы ты не забывал наш дружный коллектив – мы решили преподнести тебе небольшой сувенир.

Александр Августович знал, что сейчас ему вручат, по традиции, самовар.

– Не забуду даже на необитаемом острове, – пообещал он.

– Как раз на необитаемом ты бы помнил каждый пустяк, – не согласился Ходатаев. – А ты попадаешь на большой остров, заметный на любой карте.

Именно в подобных географических образах и представлял себе Александр Августович свое положение: до сих пор он жил на крохотном кусочке суши, затерянном в море и приютившем на себе всего несколько изб, обитатели которых не имели даже лодки, чтобы переправиться на материк, на всех глобусах отмеченный внушительной надписью «Военно-Промышленный Комплекс». Нынешним Робинсонам оставалось играть в мичуринские игры на своих огородах, и только случайно ветер или птица забросили на Большую землю живое семечко выращенного одним из них гибрида; там хватало и своих злаков, и в след за семенем следовало отправить и садовника и сторожа.

– Всякому переселенцу в первую очередь нужен инструмент, – продолжал Ходатаев. – Именно поэтому, Саня, мы его тебе и не подарим: он нужнее молодым. Да, честно говоря, у тебя на даче и без того столько разных орудий, что ими пользуется весь поселок – и даже не возникает очереди. Нет, Саня, тебе нужно нечто другое, и нам пришлось изрядно поломать головы. Впрочем, изобретательство – наша профессия, и мы нашли достойное инженерное решение. Так что позволю, от имени всех, кто пришел проводить тебя...

– В последний путь, – снова не выдержал Александр Августович, не умевший скоро расставаться с собственными удачными замечаниями.

– Вот-вот: с хорошим маршем. Итак, от имени верных твоих друзей позволю поздравить тебя со взятием недоступной даже молодым огромной высоты. Туда, наверх, плохо доходят звуки из обжитой нами долины: нужно, чтобы ты взял их с собой. Так вот, чтобы воспоминания лезли тебе в глаза и в уши и чтобы тебе легко было снимать напряжение – возьми себе, Саня, будь другом, одну вещь.

– Пойти и взять?

– Нет, принять наш подарок, – пришла на выручку Ходатаеву немолодая женщина, которой, скорее всего, пришлось бы возглавить группу по уходе на пенсию ли или бог знает куда еще трех старших мужчин.

Отброшенная ее театральным жестом занавеска на стеллаже открыла взглядам вовсе не самовар, а современную стереосистему и стопку грампластинок.

– Поставишь себе на терраске, – продолжил Ходатаев, – и станешь услаждать слух всего дачного поселка то симфониями, то «Голосом Америки».

– Насчет «Голоса Америки» ты, Сеня, попал в точку, – слегка смутившись, проговорил растроганный Александр Августович. – Пока его еще можно слушать. Тайком от КГБ. Но не в том дело, друзья мои, а в вашем внимании: я вижу, что подарок сделан от души, это же и в самом деле приятнейшая для меня вещь...

– Милый Александр Августович, – выступила вперед Соня, – среди этих пластинок есть Изабелла Юрьева, «Саша, ты помнишь наши встречи...» – это особенный сувенир от женщин – от любящих вас женщин. Вы будете помнить наши встречи?

Он не нашелся что ответить, и Соне пришлось помочь ему, сводя сказанное к шутке:

– Ах, не слушайте вы эту Соньку! Чего только не скажет пьяная женщина – и непременно окажется права.

Последних слов Александр Августович, однако, не слышал, да и не видел ни Сони, ни Сени, стоявших подле: в глазах у него то ли потемнело, то ли, напротив, заблестало чересчур ярко, и он, уже не помня себя, опустил на подставленный незнамо кем стул.

## 6.

Как и многие толковые люди, Филипп Понипартов пропадал на неважной работе. С его нынешними обязанностями справился бы даже инженер из жилищной конторы; сам же он думал о себе, что заслуживает лучшего употребления. Попав по окончании учебы не в научный институт, а в конструкторское бюро, он пробавлялся решением составленных другими уравнений, не видя иной возможности сделать такую карьеру, чтобы составлять уравнения самому, кроме смерти этих других, старших по должности; однако средний возраст скопившегося на служебной лестнице люда не оставлял надежды на естественную убыль. Но даже если бы следующая ступенька вдруг освободилась, Понипартова все равно отеснили бы на законном основании, укорив беспартийностью; он же делал вид, будто, не понимая намеков, не догадывается вступить в известные сплоченные ряды, так и оставаясь одиноким в толпе и мечтая то ли о преображении, то ли о прозрении – незнамо чем.

Мало-помалу он согласился с общим мнением, что добиться приличного положения можно лишь путем многих переходов от одного хозяина к другому; удивительным открытием оказалось, что при этом вовсе не возбранялся и возврат, с новым уже окладом жалования, в прежние стены, щедрые для людей со стороны, только не для собственной измученной очереди. Заработав ежемесячную двадцатку на переходе от Абрикосова к Челом-Бею (посвященные пользовались в общении между собою не казенными номерами секретных учреждений, а фамилиями их начальников, говоря: у Курчатова, у Туполева, у Абрикосова), Понипартов спустя совсем немного лет вновь приторговал себе, опять с двадцатирублевой прибавкой, местечко на старой фирме. Он уже вез в отдел кадров свои анкеты и фотокарточки – и отдал бы, когда б на полпути, на платформе электрички не встретил Бориса Евтропова, бывшего своего сотрудника (он подумал – и будущего, но вмиг выяснилось, что если один собрался наниматься, то второй, оттуда же – уходить). Намерения каждого требовалось срочно уточнить, и Евтропов указал на голубой пристанционный павильон – лучшее место для мужских разговоров.

Взяв пива и соленых сухешек, они устроились в темном углу – не подалее от чужих глаз, а чтобы не оскорблять собственное зрение наблюдением немногочисленной в этот час, но нечистой публики.

– Не ждал, что ты вернешься, – начал Евтропов. – Чем же тебя заманили?

Понипартов назвал сумму.

– Значит, ведущий инженер, – истолковал его приятель. – Негусто, хотя и достойно.

– Ведущий – это уже не клерк. Плюс еще и теплые воспоминания: мне здесь уютно было. Это лирика, конечно, но она существует – и ни в зуб ногой.

– Девушки? Девушки! Но и они изменились, ведь им свойственно спешить: Раиса Павловна вышла замуж за матроса и уехала в Североморск, Клава успела дважды родить, а Рита перешла в партком и окончательно стала воблой. Продолжать? Остынь, старик, дважды в одну реку не войдешь.

– Как и в одну женщину, не в этом суть. Скажи, что случилось: разгар рабочего дня, на перроне ни души, и вдруг навстречу – Евтропов! Одно объяснение: в мире растет европия, и ты почувал материальный интерес.

– Его почувешь и с насморком. К слову, я бы и тебе посоветовал держать нос по ветру. Залететь в нашу старую клетку ты всегда успеешь, до меня же дошло, что только что возникла фирма с абсолютно новой тематикой, то есть со множеством вакансий на любой вкус.

– Не пойдешь же туда просто так, с улицы, без протекции, – слабо возразил Филипп.

– Ты не понял! Это – новая контора, совсем новая. Те, кто мог бы рекомендовать друзей, еще не устроились сами. Держись уверенно – и попадешь в десятку.

– Месяц назад меня брали на должность ведущего в местечко с постоянными командировками на горное озеро: горные лыжи, водные лыжи, катера... А потом выяснилось, что там даже начальник отдела получает жалкие сто шестьдесят два с половиной.

– Мне предложили двести двадцать. Устраивает?

– Настораживает: это либо атомные дела (а я еще не женат), либо что-нибудь вроде прыжков с парашютом, либо какая-нибудь зараза, бактерии. Большие деньги просто так не платят.

– Это – железный занавес, – прошептал Евтропов, нагнувшись к самому уху Филиппа. – Стройка века, старик, помесь забора с радиоглушилкой.

– Выходит, что я должен буду замуравывать себя собственными руками? Плохие игры. Ни тебе «Голоса Америки», ни Би-Би-Си, ни джаза. Что за судьба – подыграть гебистам, чтобы потом самому оказаться в таком глухом чулане...

– Чудак, – усмехнулся Евтропов, – результат не зависит от твоего участия. Откажешься ты или нет, а эту штуку все равно построят, возможно, даже еще быстрее, только ты лично не получишь ни копейки. Тебя не спрашивают, строить или нет, а предлагают добрый клоч шерсти с паршивой овцы.

– Но ведь стыдно. Есть такое устаревшее понятие, как чистая совесть.

– А сейчас, когда ты, как и весь Советский Союз, работаешь на войну, тебе не стыдно? С другой стороны, положи руку на сердце, ощущаешь ли ты свой вклад в гонку вооружений? То-то. С ними ты или против них – разница ощущается разве что на молекулярном уровне.

– Вот у него работа тоже не из чистых, – кивком головы указал Понипартов на небритого парня в белой куртке, убиравшего со столов пустые кружки, – и даже словно бы честная, потому что недоливает или разбавляет пиво не он. Для нас с тобой все члены этой команды – на одно лицо, точнее – одна шайка.

Парень между тем приблизился к их столу. Забирая грязную посуду, он, глядя в пол, пробормотал:

– Вот что, мужики, я с вами по-хорошему. Вы бы здесь о работе не говорили, а?

И, брэнча стеклом на подносе, удалился, оставив наших друзей в совершенном шоке.

– Ну вот, а ты думаешь, что без тебя не повесят... – первым нашелся Евтропов, вместо пропущенного слова изобразив рукою в воздухе волнующую занавеску. – Впрочем, согласен, это – вещь обоюдовыпуклая.

– Соорудят эту штуковину – и как же тогда соединятся пролетарии всех стран? – засмеялся Филипп.

– Да ничего ведь не изменится: составят, как сейчас, делегацию из людей проверенных и послушных, получают командировочные в твердой валюте – и, пожалуйста, встреча на Эльбе.

– С Бонапартом.

– Почему с Бонапартом?

– На Эльбе же!

– Ты все мудришь... Но что-то здесь стало неуютно. Так ты едешь со мной?

Местность, в которую они в конце концов попали – Анучино, не вдохновляла своим видом. Бывший рабочий поселок вошел в черту города уже на памяти Филиппа и, судя по газетам, вовсе не стал лучшим из московских районов – напротив, славился своей неряшливостью. Вдобавок Понипартов, одно время довольно часто бывавший в Анучине, из своего общения с местными жителями, причем не с лучшей их частью (до сих пор не простив им упорного употребления слов «тюль» и «шампунь» исключительно в женском роде), сделал вывод о существовании у них своеобразного комплекса: еще в годы своей независимости анучинцы привыкли, из-за плотного соседства со столицей называя себя москвичами, заноситься перед иногородними и дальними пригородными обывателями, и в то же время, оттого что на самом деле сами жили всего лишь в пригороде и московская прописка была для них недоступна, ненавидели за это настоящих москвичей. Эта болезнь оказалась продолжительной, и лишь несколько лет назад ее загнали внутрь внешние перемены: получив столичное гражданство, Анучино разбавило свой настой пришлыми людьми, лишилось огородов и построило школу для отсталых детей; что же касается церкви, то ее там не было отродясь. Последнее обстоятельство, говорившее о привычной терпимости жителей ко греху, много значило для Филиппа – и не потому, что сам он был верующим (а он был), но потому, что окружение важнее для нас, чем мы иной раз думаем, и даже пейзажи, на фоне которых растет человек, играют свою роль в обретении лица или сохранении души. Всякому надобно знать в округе места, куда

можно пойти со своим горем, с радостью ли или сомнениями – с тем, чего нельзя таить в себе и с чем не ходят в советские учреждения, от загса до райкома – только в храм. Незавидны судьбы не посещающих его – так печально думал Понипартов.

Подходы к новой фирме выглядели неважно: автобусный круг на пустыре, грязные, в глиняной крошке, тротуары, укрытая в пыльном сквере забегаловка, никогда не мытые окна заводских корпусов за бетонным забором – не сравнить было со светлым зданием, окруженным клумбами и голубыми елями, в котором до сих пор работал Понипартов. Отдел кадров и подавно размещался в настоящей пятистенной избе – единственной, быть может, в московских пределах.

– Интересно, что нас тянет в эту дыру, – озадаченно проговорил Филипп.

– Напомни, сколько тебе пообещали у Абрикосова, – попросил его спутник.

Вздохнув, Понипартов вошел в избу.

Излишне говорить, что в конце концов он, оставив на время высокие соображения, подал заявление о приеме; позже он даже проявил нервозность, когда ход его оформления – в отделе кадров, на Лубянке ли, неизвестно где – затянулся. Попав же наконец в заветные коридоры, Филипп подивился быстроте, с какой работают народные средства связи и оповещения: щедрую кормушку легко разорить, но не утаить, и на территории сверхсекретной фирмы, не дававшей, разумеется, объявлений о найме, Понипартов повстречал множество старых знакомых: с кем-то он раньше работал, с кем-то – учился. Все они, охотно разглаживая о своих былых успехах и о приволях, в пределах которых привыкли резвиться, не хотели понять, что нанялись искоренять эту самую резвость, а в крайних случаях, когда совсем уже некуда бывало уйти от наивного расспросчика, спешно сочиняли какое-нибудь научное обоснование своей слабости – рассуждали, например, как надежно защитит сработанное ими изделие родную страну от терроризма. И на вопрос, что это за терроризм такой, что от него можно укрыться всего лишь за забором, отвечали многозначительно: изысканный.

## 7.

Аппетит приходит во время еды, и по мере того как на бумаге определялись черты будущего сооружения, люди, заказавшие оное, придумывали ему все новые назначения; им уже казались недостаточными ни возведение чисто вещественной преграды, ни ожидаемая ее способность противодействовать неосязаемым радиоволнам, и вот уже просо-

чилились и носились в воздухе произнесенные где-то в сферах слова о нужде противостоять не только пешим и ползучим лазутчикам, но и неким изысканным террористам. Кто они такие – не объяснялось, в чем виделась суть их изыска – тем более. О примитивном терроризме больше не раздавалось ни слова, из чего те, на кого свалился труд пойти туда, незнамо куда и достать то, незнамо что, решали в курительных комнатах, что его немудреные бойцы давно уже находятся в пределах СССР (где же еще? – многие из них там и рождались), недосыгаемые для Интерпола и знаменитых контрразведок, и что теперь если и придется ждать посещений, то профессионалов более высокого класса, изысканных террористов. Между тем когда и простейшие обосновывались на нашей земле только с благословения всевидящей Лубянки, то об элите, о настоящих сливках тайных обществ нечего и говорить, никто из них попросту не опустился бы до пролезания в колючие прорехи проволочных заграждений, а мог бы прибыть только по официальному приглашению, делающему абсурдной всякую пограничную защиту. Будь Понипартов на несколько лет моложе, он возопил бы об этом, но он как раз за эти несколько лет сумел понять, что в родной стране не просто неувидительны абсурдные вещи, но абсурдно все, за что ни возьмись, и это не замечается лишь по привычке – до тех пор, пока на ваших глазах не изумит до обморока какого-нибудь наивного иностранца. В курилке поэтому решено было не задавать лишних вопросов, а молча выполнить то, за что сулили деньги. И коли власть пожелала оплачивать необычные – да еще по поводу нелепицы – мысли, то что же, их есть у нас.

\* \* \*

Мыслями можно заработать на жизнь, а можно – на смерть; во втором случае они ближе душе.

Люди, профессионально мыслящие – философы, поэты и смотрители маяков, – способны учитывать спрос и предложение, определяя разницу между пребыванием вживе и небытием, но даже они трудно расстаются со своими состарившимися представлениями, ставшими за годы совместной жизни родными им, настоящими членами семьи, в черты которых уже не всматриваются, словно бы помня наизусть, а на самом деле – за ненадобностью, из-за привычки узнавать скорее по походке, по силуэту, по вкусу и запаху. Всякий предпочел бы расставаться – с чужими, отступая перед которыми бывает обидно признать поражение и приходится вставать в позу; дальнейший ход событий, завися от темперамента, может привести и к окопному противостоянию, и к быстрому рукоприкладству. Вымирающие интеллигенты, с их пре-

увеличенным вниманием к печатному (и непечатному) слову, не возьмут в толк, что кроме неосязаемого воздействия речи на белом свете и даже в их собственных домах встречаются воздействия и такие, осязаемые до боли, от которых брызжет кровь, не водица, и если один из внимающих слову становится вдруг жертвою такого осязательного – с проникновением в мягкие ткани и в полости – контакта, то его собратья привычно определяют случай как несчастный.

Подобные соприкосновения чаще бывают следствиями не фантазий, а недугов; имя одного из последних – терроризм. Зараженные им нетерпимы ко всякому инакомыслию, каковое и терроризм – вещи настолько несовместные, что хорошие хозяева стараются размещать их в разных комнатах, так же как мы еще до знакомства разводим своих соплеменников, разделив на полярные, для начала, группы – на красных и белых, на наших и своих, – и лишь с течением лет, после дотошных интервью, истерических допросов и пьяных откровений научаясь различать оттенки, от розового и голубого до серого. Так и в нашей теме следует к утру (ведь и Дмитрий Менделеев не вечером придумал свою Систему, а родил ее на исходе сна) ждать проявления средних между диссидентством и бандитизмом стадий, то есть вроде бы и терроризма, но изысканного.

Последний эпитет сродни японской ширме с драконом из дворцовой обстановки, которою можно заслонить что угодно – от принятия яда до зажигания, боже упаси, бомбы, – но не проповедь. Пастырь объяснит, например, что такую ветхозаветную диверсию, как опустошение приволий, от чего рыдали пастухи, не назовешь утонченною. Яд же скорее всего если и обнаружится, то не в бокале, а в слове, причем жертва погубит себя сама, придется лишь слегка помочь ей советом, а там – пей и получи свободу. Из советских отличников учебы молотком не выбить уравнения с осознанной необходимостью в правой части, но из нашего опыта выходит, что свобода часто оказывается продуктом терроризма; сомневающиеся могут заглянуть в конец задачника, справиться с ответом. Тут нет противоречия, так как изысканными террористами станут в светлом будущем те же бандиты и вульгарные большевики, только уже просвещенные (оттого и в будущем, чтобы успеть начитаться).

Здравствующие поныне их отцы-партийцы жизни положили на возведение железных занавесов, противных самой идее терроризма, а тем более – всякому изыску; этим музейным заграждениям не найдется места в напиканном техникой завтра, они ведь, в сущности, обыкновенные глухие заборы, через которые без подставки не посмотришь (хотя

можно навертеть дырок), а без помощника не перелезешь. Так получилось, что ставили их в неподходящих местах: хотели укрыться от западных ветров, а подуло — с востока. Больше того, защищались от перебежчиков, а опасность нависла от домоседов-террористов, строили защиту для себя, а понадобилось — от себя, от таких же лиходеев, как первые строители; яблочко, как бы ни поддумянилось, далеко от яблони не упадет, но нет ничего менее предсказуемого, чем поведение выросших детей — оттого и бояться террористы примитивные террористов изысканных.

Примитивные доживают свой век в злобе или растерянности, а те немногие из них, что тайком запоздало задумываются над смыслом сработанного ими ужаса, стыдятся признаться себе в том, что напрасно потратили жизнь. У изощренных — другие заботы: все, что можно и чего нельзя, затеялось до них, и им вместо изобретения велосипеда приходится в поте лица лишь совершенствовать имеющиеся его образцы — вплоть до наделения машинным разумом.

Прочему населению, в том числе плотникам и поэтам, с их обструганными досками и откровениями, остается надеяться на торжество истин — напрасно, потому что если миром будет править очевидное, то где же тогда проявить себя опоздавшим новичкам? Зло и то было очевидным только при жизни Евы, а позже, разъясненное, вынуждено было принимать для выживания все более утонченные формы, и защита от него запаздывала: сначала появлялись всяческие луки и стрелы и лишь потом — щиты. Нельзя предугадать грядущее зло, и нечего спорить о том, в каком виде предстанет нам завтрашний терроризм: узнаем на собственной шкуре, не раньше.

## 8.

Необычная встреча взволновала Деригузова не настолько, чтобы развлечь ночными кошмарами, и все же утром он вспомнил о ней тотчас, едва подошел к окну, из которого открывался вид на невыразительное здание райкома. «Как одна мама родила», — заново удивился он вчерашнему отражению в стекле и, слово за слово, додумался, в доступных выражениях, до странной мысли о симметрии мира, благодаря которой его нетерпение связаться с тождественной себе особой и у нее вызывало бы то же и той же силы желание. Под лежащий камень, однако, вода не течет, и он не собирался сидеть сложа руки, в ожидании, когда двойник начнет встречные действия; для начала он не придумал ничего умнее, чем явиться к тому домой, назвавшись сыном, а там уже посмотреть, к чему приведет невинный шантаж — притом, что был достаточно слы-

шан об отношениях в многодетной семье лейтенанта Шмидта. Теперь Деригузов очень сожалел, что не заговорил с Лозанским сразу, у зеркала, не собираясь с мыслями: по наитию все сделалось бы лучше. В его настоящем ремесле только наитие и могло принести успех, да то ли у него не хватало терпения дождаться оно, то ли мешало давление сверху, только особой удачи никак не выпадало, и та невеликая карьера, что сделалась им, видимо, уже прошла свою верхнюю точку. Настоящая (в обоих смыслах) — сказано здесь о его профессии не случайно: некогда Виктор Деригузов учился — и выучился — на инженера и лишь позже постепенно стал пишущим человеком. Подростковый писательский зуд, подогретый похвалами учителей и подружек, с годами привел его к сочинению популярных статей о вечных двигателях, о вечных ручках, о неизобретенных велосипедах и прочей технической чепухе; эта забава не давала ни денег, ни славы, и он мечтал о том, что когда-нибудь напишет толстый роман. К счастью, определенная трезвость не была ему чужда, и, глядя на расходящиеся круги, произведенные мечтами об эпопее, он пришел к решению смастерить для начала книжку попроще, пусть даже и склеенную из тех же статеек. Проведя однажды отпуск в горах, Деригузов был так потрясен увиденным, что по возвращении в город надоел всем своими восклиданиями; так и не выговорившись, он сел за стол, чтобы по горячим следам записать впечатления хотя бы в дневнике (которого до сих пор не вел). В итоге у него получилась целая брошюра, и он, к этому времени уже работавший в газете, понял, что произвел товар; всякий же товар подлежал продаже. Альпинистская тематика пользовалась спросом, и свое изделие ему удалось пристроить довольно быстро, сменив только первоначальное невразумительное название «Час Пика Коммунизма» на идеологически невыдержанное, но понятное народу «Час пик». Книжку он подписал простой фамилией Ригузов, из скромности опустив дворянскую частицу.

Спеша закрепить успех, он состряпал еще две вещи, подобных первой: «Снова девушка» — о трудовом почине Валентины Гагановой (одном из тех, что сводились к призывам либо работать хорошо, либо в рабочее время все-таки работать) — и «На посту» — о лечении голодом. Радуюсь везению, Деригузов не внимал друзьям, предостерегавшим: «Везет в картах — не повезет в любви», — и напрасно, потому что точно по их словам и вышло; вскорости перестало ладиться и с игрой. Изданные брошюры забылись, новых же он не писал, как-то вдруг разучившись находить темы, словно обо всем интересном уже было рассказано другими. Ему оставалась только служба в районной газетке «Пульс труда», требовавшая не ума и таланта, а одного прилежания.

Теперь он воспрянул духом: книга о двойниках, о причудливой психологии близнецов, о трагедиях дублеров знаменитостей и о всяческих путаницах, курьезах и преступлениях, связанных со встречами подобий, должна была пройти на ура. В знак того, что это — последний его шанс, судьба протянула Деригузову соломинку, сведя со старым знакомцем, ныне — сотрудником Лозаннского. Сошлись они в связи с печальным событием, напомнившим им, что с каждым из нас совсем не вовремя могут произойти самые неприятные вещи. Деригузов ощущал себя едва ли не мальчиком, во всяком случае не стеснялся бегать вдогонку за нетерпеливым троллейбусом или — через ступеньку по лестницам, легко пил, не закусывая, и заглядывался на студенток, — и вот вынужден был хоронить ровесника.

К выносу тела Деригузов опоздал. Подойдя к моргу, он увидел в спину уже миновавший ворота катафалк, а за ним и выстраивающиеся гуськом легковые машины; замахав руками, он смог остановить лишь последнюю, которой пришлось уступить дорогу встречной карете «скорой помощи». Пока машины разошлись, процессии и след простыл.

— Не беда, — успокоил водитель. — Если и не догоним, то хоронят-то в Одинцове — не десяток же там кладбищ.

Кладбищ оказалось не десяток, но и не одно, и по закону пакости первым попало не то, что нужно, так что Деригузов опоздал и тут, подойдя ко гробу, когда уже звучали речи. Переведя дух, он огляделся. Разномастные оградки теснились под старыми деревьями, цвет листвы которых смягчался взвешенной в воздухе водяной пылью: то ли моросил мельчайший дождик, то ли доживал последнее утренний туман. Так уютно и покойно показалось здесь Деригузову, что он вдруг захотел, когда придет час, быть похороненным точно на таком же деревенском погосте и стал думать о том, как бы записать это в завещании — хотя составлять завещания было не в обычае в нашей стране.

— Друзья, — говорил над могилой кто-то незнакомый, — не смерть прореживает наши ряды, а хищная жизнь. Сегоднешняя наша с вами скорбь — очередная жертва ей, ненасытной. Смерть забирает одних стариков, а мы — посмотрите на себя — еще молоды: ни у кого нет внуков, вот и дочь Виктора едва только заканчивает школу. Он был прекрасным отцом. Еще живы его родители — он был прекрасным сыном...

«Счастье, однако, — подумал Деригузов, — что мои родители не пережили меня: какое горе было бы для них — такая несправедливость...»

— ...был верным товарищем. Его коллеги стоят здесь вместе с нами, его однокашниками, и мы чувствуем их искреннее со-страдание, вместе-страдание. Завтра они продолжают свой труд без него — никакая рабо-

та не остановится без любого из нас, потому что совсем не в нее обычно вкладываем мы душу, но — в отношения со встречаемыми и с близкими. Три больших дела должен успеть сделать на земле человек: посадить дерево, воспитать ребенка, построить дом. Дом, построенный Виктором, — это сплоченный им наш круг...

Снова услышав свое имя, Деригузов вздрогнул. «О ком это? — спросил он себя. — Нет, в самом деле: кого мы хороним?» Он заподозрил вдруг, что накануне, не расспросив по телефону как следует, подумал не на того: в их студенческой компании насчитывалось пять его тезок — сейчас, на кладбище, он видел троих. Он попытался припомнить вчерашний ночной разговор: «Извини, старик, но в добрые дни мы не пере-званиваемся, а только если приходит беда... Да, да, отворяй ворота, такое дело: Виктор умер... Нет, не несчастный случай... Мы все взрослеем и взрослеем и вдруг — не стареть ли стали?.. То недолет, то перелет, но скоро попадет и в яблочко... Словом, подъезжай к моргу пятьдесят седьмой больницы». Не случись недолета, Деригузов вполне мог бы и сам лежать тут — да и не он ли сейчас лежал, скрестив руки и обратив лицо к сырому теплому небу, свободному от птиц?

— Виктор и сейчас здесь, с нами, — услышал он и согласился с этим. — Он был душою нашего кружка, и если кружок уцелел, значит, осталась и душа.

Вот это, по его мнению, было уже красивой ложью, потому что все наше общество давно обходилось вовсе без души, и лишь редкие семьи представляли собою исключения. Ему очевидно было, что если сейчас и вправду хоронили бы другого Виктора, Деригузова, то и тогда говорили бы те же самые слова о душе и о тесной компании, каковой не существовало в природе, и собравшиеся у могилы знакомые точно так же соглашались бы с неправдой, не замечая некоей субстанции, отделившейся от тела и, не торопясь улететь в дальние сферы, стрекозою зависшей на невеликой высоте, чтобы наблюдать за погребением последней и единственной своей оболочки.

«Еще и то хорошо на деревенском погосте, — нашел он новый довод, — что поставят ограду». Ему очень не нравилась новая басурманская мода, по которой кладбищенские пространства ощетинились надгробными камнями безо всякого размежевания, в то время как русскому человеку и после жизни надобен отделенный от других уголок.

Никакой металл не гремел близ кладбища, и даже самые тихие слова прощания отчетливо слышались ему, отлетевшему. Внимая, Деригузов удивлялся тому, как много нашлось их, добрых: при жизни он не слышал и десятой доли того.

Могильщики взялись за молотки, и стук их показался ему сродни звуку лопнувшей струны в пьесе: можно было давать занавес. Только никакой занавес не мог бы застить Деригузову происходящего – того, как спускался, кренясь, гроб с неизвестно каким Виктором, как сыпалась мокрая земля, как плыли к свежему холмику венки и как в глаза бросилась, лишь одна из многих, надпись на ленте: «Виктору от друзей». Прекрасно было обретать друзей в такую минуту.

– Поехали, Витя, – вывел его из оцепенения знакомый голос. – Приглашают помянуть.

Пришлось снова втискиваться в ту же тесную машину. Ему досталось среднее место, и тот, кто сажился последним, его однокурсник Борис Евтропов, придавив его своим большим телом, прокряхтел:

– Подвинься, сосед, ужмись.

– Отчего же – сосед? – удивился Деригузов, помнивший, что только что отлетал в одиночестве.

– Ты ведь по-прежнему в Анучине живешь? То-то. А я теперь там работаю. Знаешь «Золотое дно»? Туда поставили нового хозяина, вот я и решил поднять целину.

– И Шолохов поднимал, и Хрущев: третьим будешь, – содрогаюсь оттого, что все так хорошо сходилось, словно было подстроено, заметил Деригузов. – А ты, что же, видел его, нового босса, знаешь в лицо?

– Видел, представь себе, и не ослеп. Видел – и никакого счастья.

– Ты гений, Борис! На ловца и волк – овца, – воскликнул Деригузов, отгоняя трезвую мысль о том, что искомый волк настолько старше своего охотника, что последнему не избежать присутствия на волчьих похоронах, а значит – зрелища в гробу своего лица. – У меня свои виды на твоего босса.

– Ты не оригинален. Народ сейчас валит валом.

– Э, не то, что ты подумал. Впрочем, долго рассказывать, и я сам не знаю толком... Так, зародыш идеи.

– Звони: если надо, я помогу. Не то, видишь, сегодня ты здесь, а завтра...

– Спасибо, мне пока достаточно знать о существовании хода. Да здесь и не место: ходим на похороны, чтобы устраивать дела. Ведь сейчас сядем за стол, выпьем – и начнутся воспоминания – не о покойнике, а о наших, тех, кто остался, похождениях.

– Надо бы устроить мальчишник, – решил Евтропов. – Тогда бы и о делах вдоволь поговорили. А то ему, видите ли, понадобилось узнать о существовании ходов. Да как же в России без ходов-то?

## 9.

Поставить у парадного, на узком тротуаре, скамейки было бы негде, и праздным старухам приходилось следить за соседями (кто, с кем и когда) лишь издали, с бульвара; все же, хотя дверь то и дело застигли автомобили, никто не проходил незамеченным. Не прими Александр Августович нужных мер, они давно бы уже разнесли по всему кварталу, что за ним, простым пешеходом, вдруг стала приезжать черная машина с шофером. Не спеша афишировать свои успехи, он поначалу придумал назначать стоянку на площади, в пяти минутах ходьбы, и лишь через месяц, после неожиданного ливня, сдался и дважды в день, втянув голову в плечи, нырял из подъезда в кузов и обратно под ошутимым напором бабьих взглядов, во время перебежки не замечая ни лиц, ни окриков, ни запахов, даром, что последние в этом месте были замечательны и разнообразны: благоухание близкого винного завода смешивалось с кошачьим сквозняком из подъезда, Александра Августовича, впрочем, не смущавшим, оттого что и в его квартире гуляли схожие ветры, с разницей лишь в тембре и громкости. Покойная его жена, Майя Борисовна, была большой любительницей кошек, коих в иные годы набиралось у нее до полудюжины, а после нее остался лишь единственный образец – рыжий Ольстер, прежде как раз нелюбимый и, быть может, – в отместку, помечая приволья, иступленно старавшийся один за всех.

Открыв своим ключом дверь и вдохнув полную грудь родимого воздуха, Александр Августович и секунды не думал, что тот дурен, а лишь понял, что вернулся домой. В квартире стояла мертвая тишина, но в дальней комнате, дверь в которую была неосторожно распахнута, он увидел внучку в обществе незнакомого юноши; на его вкус, молодые люди расположились слишком близко друг к другу, но в камерке, когда-то называвшейся, видимо, комнатой для прислуги, никто не смог бы соблюсти дистанцию. Занятие, за которым он их застал, выглядело прилично – до странности, потому что в наши дни мало кто находит удовольствие в разглядывании семейных снимков.

В альбоме, который Александр Августович считал пропавшим, были собраны карточки его родни; в семье Майи Борисовны подобных вещей не водилось, какой-то десяток случайных фотографий хранился в простом конверте, и он всегда подозревал, что альбом вовсе не потерян, скажем, при ремонте дома, а попросту изъят из обращения супругой.

– Риночка, друг мой, где ты его откопала? – спросил он – не о госте, успевшем на удивление тихо исчезнуть.

– В кладовке под тряпьем.

– Сам по себе интерес к чулану достаточно своеобразен.

– Сейчас в моде всякие древности. Там же до меня сто лет никто не проводил раскопок. Если б не фактор Ольстера, давно бы развелись мыши.

– В детстве мне давали в руки альбомы лишь в награду за какие-нибудь особенные успехи, – вздохнул он, вспоминая эти семейные реликвии – в кожаных переплетах, с медными застежками, – бездарно утраченные не при потрясениях вроде пожаров или бегств, а лишь благодаря убожеству новой жизни, в которой не стало места ни воспоминаниям, ни истории; времена, когда визит к фотографу был событием, канули в небытие, но ему еще помнились исполненные достоинства лица строго одетых людей – господ в котелках и дам в длинных платьях – на дорогах, наклеенных на толстый картон снимках; ему еще помнились объяснения матери, чем они занимались, его деды и прадеды, какого происхождения были их жены, но после него уже никто не интересовался своим родословием – ни дочь, ни внучка.

Нашедшийся нынче альбом был уже современным произведением, составленным из фотографий каких-то заседаний, трибун и столичных коллективов, из пожелтевших самодельных карточек, – но и это был след его жизни, одно из колечек скрепляющей семью цепочки, которому было легкомысленно дозволено закатиться под ненужные тряпки.

– Из нас, дружок, сделали Иванов, не помнящих родства, – посетовал он, еще не вполне доверяя этой впервые пришедшей ему в голову мысли. – Посмотри, какой красавицей была твоя бабушка Майя! Но постой, – растерялся он, – этого человека я встречал буквально на днях!

– На днях? Опасный симптом, дед: это же твой довоенный снимок.

– Тем не менее. Мы встречались совсем недавно.

– В зеркале.

– В зеркале, говоришь? – озадаченно повторил он, смутно припоминая, что этот образ и в самом деле был связан с какими-то отражениями. – Разве что в кривом? Но, возможно, ты и права. Это очень неловкое состояние, когда что-то не хочет вспоминаться, щекочет где-то на подходе – и ускользает. Такое случается с каждым, но когда случаи учащаются, это, дружок мой, увы, признак старости.

– Запретная тема, – напомнила Карина. – Мы же договорились.

– Виноват. Поговорим о юности. Этого твоего нынешнего беглеца я раньше не встречал?

– Да его и я не встречала.

– Интересно. Но где же твой Гриша?

Гитарист Гриша в эти дни пытался подзаработать на черноморском берегу; то, что внучка, как видно, не затосковала одна, позволило деду понадеяться на добрый исход ее упрямого романа.

Александр Августович отличался явно старомодными взглядами, и Карину раздражало и то, что он ставил Григория на одну доску с прочими, и то, что ей самой отводилась им единственная, без выбора, роль: невесты. «Словно в деревне, – с возмущением думала она. – Разок прошелся – женись». Он же, догадываясь о косности собственных взглядов, огорчался тем, что его изрядный опыт пропадает втуне. К его сожалению, одна из спорящих сторон не понимала изначального неравенства сил: Карина еще никогда не была взрослой, а он-то побывал молодым (он едва не сказал: «И не раз») – да вот и фотоснимок, подтверждающий это и стоящий того, чтобы подробно рассмотреть его без помех, в своей комнате.

Вспомнив, что надо принять лекарство, он побрел к себе, не запретив Карине, отчего и она скользнула следом. Подойдя к окну, он увидел, как внизу, во дворе винного завода, ссорятся пьяные рабочие, и вдруг позабывал их легкой жизни: они забывали о любых трудностях, едва лишь дойдя до рабочего места.

– Как и ты, – рассмеялась Карина, и он, изумляясь, согласился.

Разница заключалась в способах; вариант рабочих был неприемлем хотя бы из-за состояния здоровья, его собственный – не требовал ничего и годился всегда. Это, конечно, не означало, что Александр Августович был трезвенником – напротив, он сохранил вкус и кое-какой интерес к иным благородным напиткам и имел обыкновение держать в шкафу початую бутылку; и только в последнее время его скромный бар совсем опустел: в новом положении Александру Августовичу стало зазорно ходить по магазинам, особенно – винным, с их сомнительной публикой; эту привилегию, по-видимому, следовало уступить зятю, да не хотелось давать тому денег, тем более, что если еще недавно все домашние, кроме Карины, зарабатывали примерно поровну и обходились, будто бы, каждый своими средствами, то теперь за многое приходилось платить одному Александру Августовичу, и чем больше он давал, тем больше потом и просили. В семье уже обсуждалась программа полной перестройки быта – ремонта запущенной квартиры, замены мебели и обзаведения собственным выездом. Многие тут выглядели фантастично даже и при новом окладе Александра Августовича, но Виктория, его дочь, бралась обосновать любой проект, давно усвоив, что высоким должностям непременно соответствуют и высокие тайные возможности.

Тайные – требовалось еще найти, на явные – отцу было указано немедленно. Первой задачей, по мнению дочери, было добиться избрания в Академию наук; она казалась вполне разрешимой, так как ни для кого



не было секретом обыкновение избирать в академики главных конструкторов военной техники. Это явилось бы гарантией пожизненного благополучия: академические оклады и пайки подразумевались сами собою, но попутно обозначались и другие блага, за которыми надо было только не полениться протянуть руку: гонорары за публикации трудов (написанных помощниками) и за чтение лекций, кафедра в институте и поездки на конференции за границу (насчет этого Виктория немного погорячилась, оттого что переход отца на строго секретную работу как раз ограничивал его передвижения, делая, что называется, «невыездным»). В общем виде мысль об Академии понравилась Александру Августовичу чрезвычайно, и все же он для порядка одернул дочь, напоминая, что требующие вместе с авансом еще и окончательного расчета обыкновенно проигрывают.

– Разница – в способах, – повторила Карина, – и в обстановке. Кстати, отчего ты не рассказываешь, как живут в высших сферах?

– Но я, друг мой, в них не вращаюсь, – посмеиваясь, покачал он головой. – Живу там, где и жил.

– Выходит, я лучше тебя осведомлена о кремлевском быте. Знаешь, с чего там начинается день?

– Не представляю.

– С реанимации!

– Смотрю, ты много болтаешь.

– Это же народное творчество. Впрочем, я не спорю, тебе лучше знать, как у генсека со здоровьем: говорят, ты к нему дверь ногой открываешь.

– Всего лишь – к Пшенко, да и то к младшему, – поправил Александр Августович. – Он у меня в заместителях ходит.

– Ну вот видишь: ты всемогущ.

– Так. Предисловие понятно. Теперь мне предстоит выслушать три желания.

– Одно, деда, – скромно потупилась девочка, – я не жадная. Да тебе и не надо что-то делать – только напомнить о своих правах. Твоим мамам, пока они не привыкли, только доставит удовольствие услужить любимому начальнику.

На этот раз ей хотелось получить абонементную книжку, предъявление которой давало право безо всякой очереди покупать билеты в любой кинотеатр; такие абонементы и в самом деле выдавались высоким чинам.

– Они же подумают, что я хожу в кино! – ужаснулся Александр Августович.

– Что тут плохого? – опешила Карина, но уже через секунду нашлась: – А вот Ленин считал кино важнейшим из искусств.

– Он имел в виду совсем другое, – нашелся и он.

Ему пришло в голову, что этот плебейский род зрелищ еще и тем ущербен, что обходится без занавесов: все там выставлено напоказ, оголено, отчего и доступно самым невежественным простолюдинам. Право на существование имели, по его мнению, лишь хроникальные фильмы – как исторические документы. Люди небрежно обращаются с дневниками, снимками, кинокадрами, вообще с памятью, и он подумал, что когда-нибудь человечество захочет отметить какой-нибудь юбилей железного занавеса, бросится на розыски следов – и не найдет ничего. Для того, чтобы потомки узнали о роли, сыгранной в их судьбах Александром Лозаннским, ему самому, видимо, следовало бы позаботиться об увековечении всех этапов работы – быть может, привлечь и кинохронику.

– А что, Карюша, – переменял он тон, – на всякие ли фильмы трудно попасть? На документальные?

– О, их смотрят в плохую погоду – целуются, сидя в заднем ряду. Или когда все остальное уже пересмотрено, а в школу – пардон, в институт – идти неохота.

– Ты прогуливаешь институт!

– С чего ты взял? Но не идиотка же я, чтобы слушать, например, основы марксизма.

Развитию событий помешал звонок в дверь.

– Мама пришла! – всполошилась Карина. – Отвори, деда, будь другом, а я помчусь на кухню: там грязная посуда и вообще...

Звонила, однако, не Виктория, а незнакомая пожилая женщина с волосами цвета свежей ржавчины.

– Товарищ Лозаннский? – осведомилась она, жадно, словно наводчица, оглядывая с площадки переднюю, куда ее не пригласили. – А я вам новую книжечку принесла, с жировками, для расчета квартплаты.

– Вы, право, напрасно беспокоились, – сухо сказал он, подозревая недоброе. – Положили бы в почтовый ящик, как всегда.

– В ящике – как бы мальчишки не сожгли. Сами знаете, всякое случается, а вам-то, вам – к чему такие неприятности? Человек вы уважаемый...

– Неуважаемые в советской стране – редкость.

– Вот я и думаю, что кого попало на черной «Волге» возить не будут. Правда, смотрю, живете вы совсем, как я. Женщины говорили, у вас тут хоромы.

– Никакие женщины сюда не заходят. Вдобавок сию минуту я весьма занят, и не смогу удовлетворить ваше любопытство. Да и в ближайшие недели... Кстати, вы кто же будете – техник-смотритель?

– Что это вы подумали? – обиделась она. – Соседка я ваша. Столько лет живем в одном подъезде, а вы даже и в лицо не знаете.

Подумав, что так оно, вероятно, и удобнее, Александр Августович начал потихоньку прикрывать дверь.

– Чтобы кошка не выбежала? – догадалась женщина.

– А где она? – растерянно оглянулся Александр Августович, думая, что речь идет о какой-то чужой, под шумок проскользнувшей в квартиру кошке; Ольстер не имел привычки путаться в прихожей под ногами.

– Я только предположила. В такой квартире и собаку можно держать. Четыре комнаты, я вижу?

– Плоховато отсюда видно. Две с половиной, – ядовито ответил Александр Августович. – Премного благодарен за внимание.

«Издержки производства, – объяснил он себе, когда посетительница наконец отступила. – Надо привыкать».

## 10.

Последнее, что супруги сделали ради Победы, – так удачно зачали дитя, что оно появилось на свет в первое мирное утро, девятого мая сорок пятого года. Дочь, разумеется, назвали Викторией. День рождения матери расположился в календаре по соседству, и в семье повелось звать гостей сразу на три праздника – государственный и оба домашних – в один день, что было весьма кстати в несытое послевоенное время.

Недавний провинциал, Александр Августович тогда еще не освоился как следует в Москве, где для всякого устройства, не говоря уже о продвижении, требовались надежные связи, но, не заведя своих, он пренебрег унаследованными от тестя, не желая обречь себя на пожизненные занятия нелюбезным душе чиновничьим делом; любезным он считал инженерство. Рискуя обидеть благодетелей, он, хотя открыто и не отказывался от помощи, но и не домогался ее, как следовало бы; если те так и не обиделись за много лет, то оттого, видимо, что попросту не заметили его микроскопической позы, зато обиделась жена и до конца своих дней при всяком подходящем случае попрекала Александра Августовича непочтением к памяти ее отца, овеществленной только в этих быстро редуемых связях. Борис Кулашкин не оставил своим дочерям ничего осязаемого, оттого что, не будучи никаким мастером – ни плотником, ни живописцем, – не накопил рукотворных вещей, а капи-

талов в те годы не накапливал никто. Он преуспел в другом, выбившись в крупные служащие и в совершенстве овладев искусством плетения интриг; надо полагать, что не скончался он безвременно и вовремя (пришедшие за ним чекисты нашли его лежащим на столе), его плетенки быстро были бы распушены умелыми руками, но судьбе, к понятному удовольствию наследниц, оказалось угодно сохранить многие узелки и петли.

Всякая родня замечательна своим неистребимым присутствием; к ней невольно приходится как-то относиться. Именно с отношения к родственникам и начались расхождения между супругами: Майя Борисовна, опираясь на классику («...кто был ничем...»), твердила о своих кровных, кем они стали, Александр Августович – о своих, кем они были (не последними людьми в далеком Саратове: отец, инженер, был женат на дочери адвоката), одинаково умалчивая о вершинах, различных каждым впереди и соблазняющих самостоятельным восхождением. Майя Борисовна, стараясь подвинуть мужа на подъем (по партийной лестнице – остальные, приставные, достигали только невысоких этажей), наталкивалась на неопровержимый довод: в советской стране почетны все профессии. По прошествии многих лет она получила доказательство своей правоты: даже и далеко превзойдя пенсионный возраст, Александр Августович так и не нашел себе лучшего применения, чем рисование поворотных кругов для театров.

Оставшейся на свете справедливости едва хватило на то, чтобы в виде возмещения за чудаковатого супруга наградить Майю Борисовну толковым зятем – из хорошей семьи и не по годам солидно устроенным; он вполне разделял ее взгляды на ведение хозяйства, особенно – на умножение приданого Карины. Ко времени, когда девочка пошла в школу, в столичном обществе устоялись определенные представления о достатке, непремненными признаками которого стали считаться квартира, машина и дача, обычно в такой последовательности и приобретаемые. Квартира в семье уже имелась – и такая, что была как бы и не по чину; о машине Майя Борисовна с мужем мечтали, не распаляясь, оттого что учиться водить оную самим им казалось поздновато, а Карине – рано, и, значит, пользовался бы ею один Вилен Алексеевич, зять, который и записался в многолетнюю очередь в автомагazine, а пока копил, что копится; третья же из этого малого набора вещь, дача, словно бы появилась в год получения Майей Борисовной пенсии; словно бы – оттого, что данный предмет никто, по старым понятиям, дачей бы не назвал. Настоящей дачей пользовался в свое время отец Майи Борисовны, и это был добротный рубленый дом в светлом лесу; просторный учас-

ток отделялся от соседних штакетником, а все вместе, поселком, от суетного мира — глухим забором в полтора роста, непроницаемым для взглядов посторонних, которые, наблюдая за бытностью дачников, могли бы и понять что-нибудь превратно, и поступить — неожиданно; зритель же текущих, ранних восьмидесятых годов и подавно изумился бы тогдашнему дачному укладу, найдя в нем нечто чуждое, почти чеховское, оттого что неизменно его атрибутами выступали гамаки, патефоны, чтение вслух, прогулки, катание на лодках, игры в мяч и вечерние визиты. «Надо же, — с недоумением думала теперь Майя Борисовна, — тогда на дачу ездили — отдыхать!»

Чеховская дачная культура осталась для Александра Августовича вещью неизведанною: по мере его приближения к нужному кругу полезные люди уходили в то или иное небытие, да и круг — отодвигался. Между тем верховные власти мало-помалу доросли до идеи садовых участков — клочков голых, непременно без пятнышка тени, земли с фанерными будочками на них для хранения инструмента, — и народ бросился осваивать желанную целину. Поначалу, однако, и эти потешные наделы могли получать лишь разного сорта руководители, активисты да ударники; ни к одному из перечисленных разрядов Александр Августович не принадлежал, и приобрести к земледелию ему помог только случай. «Протеатру» неожиданно выделили четыре участка, распределить которые требовалось, как водится, немедленно — до конца дня, — а распорядиться оказалось некому из-за одновременной болезни секретаря партбюро и директора. Оставшийся в одиночестве профсоюзный лидер взять на себя ответственность не решился и впервые поступил демократично, устроив жеребьевку (за что впоследствии поплатился), кости же выпали так, что среди счастливиц оказались Александр Августович и его приятель Ходатаев.

Устройство дачного поселка началось с осушения земли и установки общего забора. Желая внести свою лепту, Александр Августович предложил изготовить ворота из частей театрального пожарного занавеса; соседи приняли его слова за шутку (створки, немало сэкономив, сварили потом из старых кроватей), и, вынужденно посмеявшись вместе со всеми, он вдруг задумался над еще одной возможностью применения знакомого ему механизма — в области, далекой от огородного дела. Увлечшись новой выдумкой, он за несколько ночей сделал нужные чертежи и расчеты; этим своим изобретением, должным защитить родину от происков врага, Александр Августович и стал впоследствии досажать незнакомым ранее и отдельным лицам, и целым их собраниям. К чему привели эти упражнения, читателю известно, но позже никому

из близких Александру Августовичу людей, с которыми он не имел обыкновения делиться своими техническими проектами, не пришло в голову связать странный взлет его карьеры с любовью к земле.

Вдохновленный этой любовью, Александр Августович нашел в себе силы для многих трудовых подвигов. Наскоро собрав на участке своими неумелыми руками легкий сарайчик, он без перерыва принялся за постройку основательного жилища, наняв для этого в ближайшей деревне двух мужиков: мрачного плотника с сыном. В итоге все равно получился скворечник, но Александр Августович чувствовал себя в нем Сомсом Форсайтом. Жена совсем не разделяла его восторгов, считая унижительным для дочери заслуженного, упоминаемого в энциклопедиях человека ночевать на раскладушке в фанерной хибарке, стряпать на керосинке и ковыряться в тощей земле; тем более ее возмущали претензии Александра Августовича, желавшего даже и в этих условиях есть за накрытым столом, а не на травке. В то же самое время, противореча самой себе, Майя Борисовна бранила мужа, если он разделял трапезу со своими мрачными строителями, где-нибудь на бревнышке закусывая водку вареной колбасой. «Интеллигент, а босяк», — выкрикивала она тогда. Вообще, поводы для перебранки находились самые разные, и тем чаще находились, чем дольше Майя Борисовна жила без городских удобств. Считая себя человеком терпеливым, Александр Августович помалкивал, справедливо рассчитывая на привыкание либо утомление жены, однако нарастающее напряжение неожиданно разрешилось самым решительным образом — впрочем, в соответствии с простыми законами живой природы.

За вечерним чаем, заваренным зверобоем, Александр Августович объяснял положение:

— Дача, друг мой, дана человеку для отдыха от всяческого прогресса. Заметь, все ее принадлежности продляют наши годы: свежий воздух, овощи с грядки, физический труд в охотку.

— В охотку! — фыркнула Майя Борисовна. — Попробуй-ка им пренебречь. Это ярмо.

— Не ты ли в Москве спала и видела, как, сидя на крылечке, слушаешь птишек? Одновременно, разумеется, наблюдая, как твои кошки этими самыми птишками — закусывают?

— Только не уверяй, что я мечтала о собачьей будке без отопления. Другие в твои годы имеют загородные зимние дома и ездят туда не в набитых битком электричках, а в черных «Волгах». Помнится, ты подавал надежды, а оказался — заурядным неудачником. По мне, чем зарабатывать гроши, лучше уйти на пенсию и присматривать за Риночкой.

– За Риночкой! – расхохотался он от души. – Тогда уж почему – не за Викой? Твоя Риночка выше меня ростом, и за ней, полагаю, кавалеры бегают стадами. Вообще, она требует догляду куда меньше, чем кошки.

– Дались тебе кошки!

– Дались! – вспылал Александр Августович. – Вонь, вопли, шерсть в супе! Ободранная мебель!

– Где ты видишь здесь мебель? – искренне удивилась Майя Борисовна.

Супруги разошлись по своим углам, недовольные каждый собою и друг другом. На беду со следующего дня зарядили дожди, и всей семье, с кошками, пришлось вернуться на городскую квартиру с исполованной когтями обстановкой. До этих пор животные не так уж досаждали Александру – он притерпелся за долгие годы, – но после ежедневных дачных препирательств его стало раздражать все, связанное с женою – начиная, разумеется, с кошек. Как нарочно, одна из питомиц Майи Борисовны хворала, и то, чего можно было не замечать на даче, делало несносной жизнь в городе: вытянувшись до полного сходства с таксой, она не переставая скребла задними лапами пол и слабо кричала дурным голосом. На предложение Александра Августовича усыпить несчастное животное хозяйка ответила торжественным обещанием продлить ее дни насколько возможно, и Александр Августович весь остаток своего отпуска, и без того испорченного скверной погодой, вынужден был бы выслушивать кошачьи стенания. Его выдержки хватило на три дня, а на четвертый, воспользовавшись прояснением на небе и отлучкой жены, он поспешил в ветеринарную лечебницу, благо до нее было подать рукой.

Хотя Майя Борисовна встретила мужа дома удивительно спокойно, его поступок имел самые разрушительные последствия. Ровное начало объяснялось, видимо, только присутствием сестры Майи Борисовны, Нинели, естественной ее союзницы, но все же – третьего человека. Когда Александр Августович вернулся, женщины собирались пить чай на кухне; пригласили и его. Он приготовился к перекрестному допросу и немедленному за этим вынесению приговора, но беседа начала плестись издалека, так что он даже успел понадеяться на мирный исход; первым делом они поговорили о пенсиях (естественно, недостаточных), затем – о своих заслугах, несоизмеримых с пенсией, о забытых заслугах отца, об уважении к его памяти и о квартире, из которой их могли выселить или в которую могли подселить чужих, но так и не выселили и не подселили – благодаря тому самому уважению.

– Возможно, Майя, тогда потому не уплотнили, что нас оставалось пятеро, – справедливости ради напомнила младшая сестра. – Мама, мы с тобой, бедная тетка Настасья да Коля.

– Еще более бедный, – забывшись, с подчеркнутой усмешкой заметил провинившийся Александр Августович; но ему не следовало бы обращать на себя внимание таким образом.

– Не издевайся над светлой памятью, – мгновенно осадил его Майя Борисовна.

Настасья скончалась перед самой войной, в ночь первомайского праздника, привычно завершеного застольным скандалом, а следом, в июне, покончил с собой ее муж. Накинув на шею петлю, он привязал другой конец веревки к батарее отопления – и скользнул с подоконника наружу. Случилось это поздно вечером, и тело провисело за окном до утра, пока его не увидели идущие на смену рабочие; вдоволь сперва посмеявшись, а потом, вдруг, придя в ужас, они вызвали милицию, не забыв надежно пристроить упавшие в заводской двор Колины туфли, совсем новые; в последующих домашних воспоминаниях об этих туфлях говорилось не меньше, чем о самом самоубийстве, и Александра Августовича всякий раз поражало, что они слетели с ног от рывка (и точно так же ему становилось нехорошо, когда он видел зашнурованную обувь поодаль от сбитых машиной людей – только благодаря этому понимая страшную силу сорвавшего ее удара).

– Ты ему в подметки не годился, – продолжила Майя Борисовна, и он, снова вспомнив об упавших туфлях, не сдержал кривой улыбки.

Эта улыбка привела ее в совершенное бешенство; теперь она припомнила Александру Августовичу и нынешнюю его великую вину, и многочисленные прежние, и его никчемность, и убогую его службу, и то, что в квартире, где они сейчас находятся, да и вообще в Москве он прописан лишь в качестве ее мужа, и он, терпеливо все выслушавший, как раз последнего безобидного упрека и не стерпел и, возмутившись, запальчиво указал на свояченицу, давно уже вовсе нигде не работающую, зато нашедшую себя в деле взимания профсоюзных взносов.

– Ты так говоришь, – продолжила развивать свою тему Майя Борисовна, – оттого что тебя самого и на пушечный выстрел не подпустили бы к общественной работе.

– Чтобы не скрылся с кассой?

Положительно, он себя губил.

– С кассой или без, но скажи спасибо, что тебя вообще приняли в партию – с твоей-то родословной.

– Когда будешь в следующий раз выходить замуж, – посоветовал Александр Августович, – первым делом попроси у жениха анкету. Пусть он непременно будет из крестьян.

– Во всяком случае, я исправлю ошибку.

– Поздно, друг мой, жизнь прошла.

Но и на этот счет у Майи Борисовны оказалось свое мнение: она считала, что может еще пожить в свое удовольствие, отдыхая от соседства с бесполезным мужчиной. Присутствие при ссоре Нинели оказалось весьма кстати: выстраданное старшей сестрой решение подать на развод было сообщено мужу при свидетеле.

– Что, что? – от души рассмеялся Александр Августович, живо представив себе, как прыснут в кулачки девушки в загсе. – Представь, друг мой, я думал, что ты вообще не любишь шутить. Или это – риторическая фигура?

– Да говори же ты хотя бы в эту минуту по-русски! – поморщилась Майя Борисовна. – Какие шутки? Я не могу жить с живодером.

– Так это – из-за кошки? – вскричал он, удивляясь тому, какую роль могут играть в судьбах эти равнодушные к людям зверьки, и все же еще не веря в серьезность разыгрываемой сцены: мало ли ссор случилось до сих пор в семье – и все они забылись.

Между тем в этот раз Майя Борисовна, принявшая свое решение не сию минуту, а только использовавшая повод, не собиралась кончать дело миром, и Александру Августовичу следовало бы подготовиться к самым неприятным вещам; он перечислил их себе только наутро – строгий выговор по партийной линии, размен замечательной квартиры на бульваре и, как ни странно на первый взгляд, не обретение, а потеря свободы, – и потом думал о них весь день и весь следующий день, и третий – до тех пор, пока не узнал от жены совсем уже необъяснимую вещь: оказалось, что вообще не он, а она оставляет обжитое гнездо – и переезжает к Нинели, в пригород, чтобы не делить жилплощадь, а сохранить московскую квартиру для Карины.

– Железная леди, – восхищенно пробормотал он, думая, что никакая другая женщина так просто не оставила бы своих дочь и внучку.

Очевидно, и здесь таился какой-то подвох, потому что Майя Борисовна перебралась к сестре налегке и потом часто навещалась то за одним, то за другим в старый дом – в отсутствие бывшего мужа. Александр Августович был настороже – и сочувствовал ей, как больной или неразумной, хотя ни череда скандалов, ни беспокойный обряд развода, ни перемена общества будто бы не отразились на ее состоянии, не приведя к нервному, сердечному или умственному расстройству. И все же

обстоятельства действия и бытия сложились так, что никакой подвох не успел обнаружиться, а сама Майя Борисовна, прожив в бегах всего несколько месяцев, вдруг слегла в постель. Домашние – даже дочь – поначалу восприняли ее нездоровье как некоторую уловку в борьбе, но не успели они опомниться, как эта не имевшая объяснимых причин скоротечная болезнь избавила Майю Борисовну от нужды предпринимать пагубные для семьи шаги.

## II.

Коллеги чином постарше Понипартова, как нарочно, разъехались с утра кто куда, и ему пришлось закрывать своим телом брешь: тосковать на совещании у главного конструктора; он вовсе не спешил узнать высокое начальство в лицо, но и сам не видел себе замены.

В дверях приемной зачем-то проверяли документы приглашенных. Понипартов подивился было опереточным строгостям, но дело быстро объяснилось присутствием важных чинов из ЦК; узнав это, он тотчас заметил и телохранителей и безуспешно попытался придать лицу верно-подданническое выражение. Столы в кабинете стояли, как водится, буквой Т, в середине полочки которой сидел Лозаннский, трое же гостей – генералы с одинаковыми, против света, лицами и обрюзгший штатский – демократично расположились по дальнюю сторону ее, буквы, ножки; на ближней стороне уселось не меньше дюжины человек: чужую трицу пыталась уравновесить своя, собранная из заместителей главного – Пшенко, Ходатаева и Воеводина – и усиленная спасательной командой из знающих дело, в которую и попал Понипартов. Вздумав мрачно пошутить, что лодка при столь неравномерной нагрузке непременно, дав крен, зачерпнет воды, он не нашел поблизости, к кому обратиться: лица соседей были преисполнены сознания важности момента.

Глухую стену напротив окон занимали щедро развешенные про-странные, как простыни, графики и таблицы; сидя к ним спиной, Филлип, автор нескольких из них и противник – всех, чувствовал неловкость, если не стыд, оттого что сейчас эти картинки предназначались и для него. Там, где он работал прежде, графики чертили острыми карандашами на небольших листах миллиметровки, чтобы, снимая с них на своем столе данные для расчетов, не ошибиться и на волосок, здешние же непомерные плакаты рисовались вообще не для работы, а для показа министрам, генералам и партийным бонзам, для которых кривые можно было проводить хоть кистью, хоть веником – никакой точности тут не требовалось, и только одно было приемлемо в этом заведении – то, что пустым рисованием занимались не инженеры, а нанятые для

этого художники. Первый свой заказ Понипартов сдал самой милостивой из рисовальщиц – с понятным умыслом; но это был первый заказ и для нее, и она сделала его нескоро, когда Филипп уже ругал себя за то, что не связался с кем-нибудь поопытнее.

Когда он, раздраженный, пришел поторопить ее, девушка стояла над незаконченным ватманом, озабоченно подперев щеку пальцем.

– Хорошо, что вы пришли, – без особой радости проговорила она.

– Чтобы закончить за вас работу?

– Я бы не отказалась. В большом масштабе получается что-то не очень похоже на ваш эскиз: горбы вышли слишком уж горбатыми...

– А впадины – впалыми? – засмеялся он. – Не смущайтесь: в общем вид правдоподобен, а на мелочи можно не обращать внимания.

– Но это же халтура!

– Заведомо. Но другими словами – трезвый взгляд на жизнь. Рядовым инженерам, то есть – для дела, ваша работа не нужна, а высокое начальство само все равно ничего не поймет и будет верить экскурсоводу на слово. Я вижу, что вы уже хотите возразить мне, но повремените с этим: за неделю-другую я постепенно все вам растолкую, на правах старшего. Если вы позволите руководить вами таким манером, то скажите хотя бы, как вас звать. Виноват, в прошлый раз не заинтересовался.

– Наташа. Наташа Шалиско.

– Господи, как славно! Наташа, ша!.. Шаловливая такая, капризная шалиска?

Его буквально заворожило мягкое звучание двойного уменьшительного «ша».

– Вы нарочно придумали себе такое имя? Это не прозвище? Это – талантливо!

– Забавно смотреть, как вы радуетесь пустяку – словно ребенок.

– Но оно, ко всему, еще и идет вам!

Ее фотоснимок Филипп сделал бы на теплом коричневом фоне – так, чтобы волосы угадывались лишь по бликам на них, – выделив только лицо, как это делали на полотнах старые мастера. Наташа не была, по классическим меркам, красавицей – крупная девушка с полными губами и зелеными глазами, старомодно удлиненными с помощью косых черточек в уголках, – но он уже думал, что не знает никого, кто казался бы теплее и мягче нее.

Неудивительно, что потом Понипартов переусердствовал, заказывая Наташе плакаты – как раз те, на которые сейчас, на совещании, стеснялся оглядываться – чувствуя себя примерно так, как если бы об-

наружил в своей одежде какое-нибудь неприличие. Невольно он искал изъяны в одежде других – и сделал злорадный вывод, что в собравшейся пестрой компании самый затрапезный вид имеют генералы в своих зеленых рубашках – ему, непосвященному, не понять было, отчего бы им не носить белые. По сравнению с военными Лозаннский в сером пиджаке и галстук цвета масака выглядел просто модником; костюм молодил Александра Августовича, и все же Понипартов, глядя на его выцветшие глаза и глубокие вертикальные морщины по щекам, удлинявшие и без того лошадиное лицо, не дал бы ему лет меньше шестидесяти пяти; к тому ж, и голос был старчески скрипуч – он, оказывается, уже говорил что-то.

– ...из-за того, что партия и правительство, – услышал Понипартов, – ориентировали нас на освоение американского аналога. К счастью, ход его разработки освещается широко, и это избавляет нас от излишних издержек. В настоящее время неясны только некоторые тонкости. Трудность заключается в том, что занавес должен выполнять две задачи: не допускать проникновения через него лиц...

«Всякий, кто приблизится, потеряет лицо, – перевел для себя Понипартов. – Но как быть с остальными членами?»

– ...и служить экраном для радиоволн и всяческих полей, заменив устаревшие «глушилки». Представьте себе величину этого сооружения, настоящей китайской стены, покрашенной в защитный цвет...

– Советская стена должна быть красной, – перебил штатский член ЦК.

– ...в красный цвет и протянувшуюся вдоль границ и береговой линии нашей необъятной родины.

– А как же острова? – поинтересовался левый (от Филиппа) генерал.

– Это уж как вы у себя решите. Мы – технические специалисты. Но вернемся к главной теме. В первоначальном проекте для пропуска поездов, пограничных нарядов, разведчиков, а при надобности и войсковых соединений, предусматривалось устройство множества ворот, калиток и лазов, что снижало надежность изделия. Особенностью принятого варианта является то, что в нужных местах однородная стена может открываться благодаря остроумному использованию принципа застезки «молния». При перемещении стального замка...

– Пластмассовые «молнии» удобнее, – заметил левый генерал.

– Я того же мнения, – любезно согласился Лозаннский и, подняв над головой синий с золотым тиснением том, продолжал, – но мы не имеем права отступать от американского решения. Наше бюро научной и технической информации только что выпустило отчет с анализом за-

рубежной разработки разъема, и конструкторам уже можно приниматься за работу. Нам же предстоит договориться об архитектуре изделия: в наше время нельзя забывать об эстетической стороне.

«Решетка Летнего сада — чего уж проще и лучше? — лениво подумал Понипартов. — Я бы с удовольствием съездил в Питер, чтобы ее обмерить. А еще лучше было бы построить нечто в духе Гауди, приделав раковины, ложи, вазы для вечнозеленых растений — в Барселону я бы съездил с еще большей охотой. Жаль, фирма не раскошелится на загранкомандировку; впрочем, в любом случае послали бы в нее женатого и партийного. Так что остановимся на Ленинграде. Возьму с собой художницу как эталон вкуса и... И жизнь хороша».

Установить для пробы антенну прямо на решетке Летнего сада было просто только в рассуждениях. Из-за строго запрета посвящать в дело даже местное управление КГБ Понипартову следовало ухитриться проделать все тайком, буквально на глазах садовников, охраны и ретивых пенсионеров. День выдался солнечный, и Филипп предпочел бы просто посидеть здесь часок на скамейке, созерцая скульптуры, но едва он предался этому занятию, как появилась Наташа с детской коляской, в которой лежала спеленатая спираль антенны. Филипп не упустил случая сфотографировать свою помощницу на фоне Невы и лишь затем, одетый в оранжевый жилет ремонтного рабочего, принялся прикручивать свое устройство к чугунной решетке — и тотчас попался. Он не оборачивался, но краем глаза увидел, будто ожили две из классических статуй.

— Что же сие означает, друг мой? — произнес охранник за правым плечом.

— Авангардистская акция, — с готовностью объяснил Понипартов. — Этот мобиль символизирует протест против вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Эфиопии.

— Но ваша сообщница созналась, — с набитым ртом сказал чекист с левой стороны; в руке он держал толстенный бутерброд с колбасой.

— Приятного аппетита. Но я не стал бы сегодня приглашать ее на очную ставку, — покачал головой Понипартов, придвигая к собеседнику кружку пива. — Мужской разговор — мужской напиток.

— Не увиливайте. Придется разориться на шампанское.

— Советское — значит шампанское, — изрек Филипп, думая, каким осторожным надо быть в обращении с этим тонким напитком из-за пузырьков, внезапное возвращение которых может повредить важной беседе. Пиво, он знал, в этом смысле безопаснее, хотя и коварно по-своему, иной раз заставляя, бросив все, обращаться в бегство, что особенно

опасно во сне, когда впопыхах, в темноте, можно вовремя не найти выход. Сейчас о последнем вообще не могло быть и речи, оттого что уходящая по холмам далеко за горизонт решетка сада не имела ни окон, ни дверей, и преодолеть ее можно было лишь одним способом — перелезть через верх. Успев увернуться от собаки и ловко карабкаясь по отвесной, но удобно оснащенной лианами и морскими раковинами плоскости, Филипп в спешке ушиб ногу. Он, видимо, отреагировал на это не сразу, и соседу пришлось лягнуть его снова. Повернув к тому обиженное лицо, Понипартов сделал вид, будто не понимает его нервозности: в конце концов, он не лег на стол, не захрапел, а сидел прямо и смиренно.

К его удивлению, речь продолжала идти о застеежке; похоже было, что ею все и ограничится — к сожалению, потому что Понипартову наказано было, не проявляя инициативы, помилуй бог, а только если темы коснутся другие, доложить о трудностях, с какими столкнулась его лаборатория и какие были вызваны (вот это следовало искусно обойти) наивными решениями Лозаннского, бывшего в тонкой области магнитных полей полным профаном; потому так и было подстроено, чтобы он пошел на совещание вместо начальника, что последний боялся своим выступлением испортить отношения с главным конструктором, с Филиппа же взятки были гладки. Заготовленная им филиппика, однако, могла остаться непроизнесенной: пока он только слушал других — и едва не оконфузился, спросонок позабыв о высоком ранге гостей и собираясь напомнить им пришедшую к слову концовку известного анекдота; его невольно выручил Пшенко, безо всякого смущения эту самую концовку и рассказавший; знали слушатели сам анекдот или нет, Понипартов не понял, но повели они себя точно по сценарию.

По известным нам причинам Лозаннский не доверял доморощенным прорисовкам, а требовал простого копирования заокеанских чертежей. Обиженные конструкторы просили хотя бы соблюдения государственных стандартов, и ему, в свою очередь, пришлось в который уж раз призвать к соблюдению высокого Постановления, требовавшего полного повторения чужой конструкции.

— Но не проще ли, — осмелился предположить один из конструкторов, — не лучше ли использовать стандартные железнодорожные тележки и колесные пары? Мы бы сэкономили миллионы.

— Не проще, — ответил штатский член ЦК.

— Если мы сохраним американскую колею, — неожиданно даже и для себя вмешался Понипартов, уставший выслушивать препирательства, — то в случае конфликта янки попросту привезут свой замок и расстегнут наш занавес в том месте, где им заблагорассудится.

Он понимал, что несет чепуху, но хотел этим просто сдвинуть спор с мертвой точки. Собравшийся было одернуть его, Лозаннский задумался.

– И вопрос устойчивости... – воспользовались заминкой другие.

– Погодите, я думаю, – остановил их Лозаннский; названный процесс занял не меньше минуты. Снова заговорив, он не смог скрыть удивления: – Похоже, что наш коллега сделал ценное замечание. Нельзя же, в самом деле, давать потенциальному противнику такие возможности. Я полагаю, что в данном частном вопросе мы можем позволить себе доработать зарубежный аналог. Давайте подумаем, как нужно изменить колею: сделать ли, для экономии массы, поуже или, напротив, шире – для устойчивости.

– На ... шире, – буркнул Пшенко, нечаянно точь-в-точь повторив реплику, будто бы, если верить фольклору, произнесенную в подобных обстоятельствах русским царем (точность исполнения высочайшей воли сегодня может проверить каждый путешественник, пересекающий на поезде границу бывшего Союза).

– То есть? – не понял своего заместителя или не расслышал Лозаннский.

– Сантиметров на пятнадцать-восемнадцать, – объяснил Филипп, печально заключая, что чем выше поднимается человек, тем более ему надобен переводчик.

– Уточните сами, в рабочем порядке, – нетерпеливо бросил штатский гость.

Оборотясь к сидевшей за отдельным столиком дородной стенографистке, Лозаннский спросил вполголоса:

– Вы ничего не упускаете? Фиксируйте, друг мой, без пропусков, особенно – мои замечания: мне трудно одновременно и говорить, и делать заметки.

– И слова товарища Пшенко, будьте добры. Это существенно, – шепнул ей же Понипартов, восхитившийся трогательным желанием шефа сохранить себя для истории и решивший, что на каждого биографа должен найтись свой антибиограф, занимающийся сбором щедро рассыпаемых начальственных перлов.

– Вот что! – вспомнил левый генерал. – Тут говорили об экономии веса. Железа в стране хватает, да и вообще при поддержке маршалом Пшенко, вам нет отказа ни в чем, а вот не снизится ли из-за вашей рационализации защищенность изделия от факторов ядерного взрыва? Кстати, в дальнейшем я буду настаивать на проведении испытаний в условиях, приближенных к боевым.

– Если дойдет до атомной войны, – изумился сосед Понипартова, – кому же понадобится железный занавес на бывшей границе?

На него даже не посмотрели.

«Как я прав, что бегу мельчайших начальственных постов! – подумал Понипартов, вспоминая один из законов Паркинсона, согласно которому всякий руководитель должен достичь своего уровня некомпетентности. – Счастье, если я пока для этого непригоден». Он чувствовал себя на совещании не в своей тарелке: скучал, хотел есть и спать и мечтал, чтобы прийти в себя, об одном из двух – искупаться в реке либо выпить. Присутствующие, когда бы могли читать в его мыслях, сочли бы их недостойными момента, сам же Филипп искренне верил, что они, такие как есть, более способствуют прогрессу, нежели то, что говорится здесь ради вельмож, бесполезных в мире, где пока многое в конце концов устраивается так, как считают нужным люди, обученные хотя бы какому-нибудь мастерству.

## 12.

– По последней сигаретке? – заглядывая в дверь, предложил Понипартов и, увидев, что делает Наташа, рассмеялся. Близился день рождения родственного фирме маршала, и партком решил подарить тому настоящую картину: вид уходящей по холмам за горизонт Великой советской стены. Первый сделанный Наташей эскиз был отвергнут из-за появления у кого-то свежей идеи, и в ожидании, пока заказчики разберутся между собою, она малевала на железном занавесе птичек. Птички выходили – певчие, хотя горному пейзажу скорее отвечали бы орлы, а не канарейки, и у нее сложился неплохой хор, причем басы и сопрано сидели в разных местах, всяк на своем шестке. Заодно приходилось подправлять и самую стену, отчего та стала походить опять-таки на китайскую, с проложенной по хребту дорогой и с тупыми башнями; в этом сближении Наташа была недалеко от истины, оттого что оба укрепления (новое – даже и в части, построенной на восточных границах) одинаково предназначались для защиты от западных ветров.

– Сумасшедший дом, – доставая сигареты, сказала она. – Дела нет, а уйти нельзя.

На лестничной площадке, где всегда толпились курильщики, они увидели одну только пожилую машинистку Веру.

– Что это за свиток? – полюбопытствовала та, отгибая краешек свернутого в рулон плаката, взятого сейчас Понипартовым у художников, и читая вслух: – Напряженность поля в области выреза... Мать честная!



Восклицание Веры следовало бы воспринять в записанном здесь виде, когда бы за ним неизбежно не потянулся свой рассказ; придется признаться, что со словом «мать» Вера соединила более емкий эпитет.

– К декольте это не имеет отношения, – предупредил Понипартов.

– Опять иностранные слова! – посетовала Вера. – Вырез он всегда – вырез, как ни перекраивай. Только вы уж извините, что я при вас выразилась: мы у себя в машбюро привыкли по-простому... Я как раз собиралась рассказать Наташеньке, как нас с Клавдией едва не коленкой выставили из кабинета Александра Августовича.

– Что же, он вызывал вас?

– Самого там и не было, – махнула рукой Вера, – он, небось, еще кашку дома кушал. Я напечатала какую-то ерунду для Зинаиды, секретарши, и отнесла с утра пораньше, а со мной увязалась Клава, напарница – посмотреть одним глазком, как живут умные люди. Приходим, кабинет – настезь, мы и попросились у Зинаиды. Скажу и насмотрелись же мы! Тебе, Наташа, такого и не снилось: паркет фигурный, ковры, стол длиной с вагон, так мало того, там еще в задней стене дверочка незаметная, а за ней – настоящая квартира. Вот куда девок-то зазывать! Тут тебе и диван, и унитаз голубой, и ванна, и хрусталь в буфете, и сервиз фарфоровый, и конфетки в коробочке – в общем, наахались мы до упаду, да ведь от полноты чувств все по-матерному да в голос. Красавица наша, Зинаида разнервничалась, как будто кто-то кроме нее мог слышать, и как шуганет нас – полотенцем, полотенцем!

– Пришли в музей, – засмеялась Наташа, – а...

– ...а выставили нас, как из кабака, – досказала Вера и повернулась к Филиппу: – Вы-то, молодой человек, там бывали?

– Не далее как сегодня промучился: несколько часов на совещании. Тяжелый, доложу вам, труд – в пору молоко давать за вредность. Да молоком тут и не обойдешься.

– Хочется принять другие меры? – поняла его Наташа.

– И соблудности меру при этом. Но я и вправду чертовски устал и жду не дождусь, когда можно будет как-то разрядиться.

– Который час? Можно ведь уже потихоньку собираться.

– Я бы, пожалуй, пошел до метро пешком. Не составите ли мне компанию? – нерешительно предложил Понипартов, вовсе не ожидая, что Наташа согласится.

Но она кивнула головой не раздумывая.

– Впервые иду здесь не торопясь, – с удивлением заметил он, выйдя с Наташей за проходную. – Утром бежишь, чтобы не опоздать, вечером – чтобы поскорее выбраться из Анучина. Пока не доедешь до

какой-нибудь станции внутри кольцевой линии, впечатление такое, будто задерживаешь дыхание.

Свернув с шумной – с грузовиками и трамваями – улицы, они пошли через сквер и дворы, пока в следующем, побольше первого, сквере им не попался стеклянный павильончик анонимного кафе.

– Знаете, Наташа, – почему-то вздохнул он, – я бы не проходил мимо. На мне будто бочки возили.

– Зачем вы оправдываетесь? Сами нарочно вели сюда, а теперь делаете вид, будто не знали дороги.

– Честное слово, в голову не приходило. То есть – вел, но в другое место. Дорогу же я и вправду знаю, потому что, едва начав здесь работать, обегал все окрестности, ища, где можно пообедать лучше и не дороже, чем в нашей столовой. Здесь оказалось – нельзя. Между прочим, это заведение аборигены называют «У повешенного».

– Тут и в самом деле?.. – испуганно спросила она.

– Клиентов не трогают. Но видели деревья у входа? Старые, с мощными сучьями.

Наташа с жалостью оглядела убранство помещения: пластиковые непокрытые столы, грязный пол, в витрине – тарелка с засохшим сыром.

– В этом что-то есть, – сказала она, – посидеть в забегаловке с таким названием. Это вам не «Полет», «Юность» или «Ландыш». Дали бы мне ее оформить – я бы придумала, как обыграть название. Мореный дуб, косые перекладыны – это понятно, но всегда нужен особенный последний штрих... Я бы положила на стойку бухточку хорошей веревки и кусок хозяйственного мыла.

– Которое анучинские клиенты смыли бы в первый же день.

Он собирался взять сухое вино и мороженое, но Наташа распорядилась по-своему:

– Выпейте водки, не стесняйтесь. Вам ведь нужно.

И водку и вино им налили в граненые стаканы, но иная посуда в кафе с дурным прошлым казалась бы неуместной.

– Повешенный, – вернулась Наташа к интересной теме. – Выходит, он – не сам?..

– Надо бы изучить местный фольклор, – отозвался Филипп, поднимая стакан. – Земля ему пухом.

Наташа надолго задумалась – но не о судьбе несчастного, как решил было Понипартов; ей не давал покоя образ некоей стены, воображаемой ею изо дня в день, – но все же не той, для возведения которой требовались терпение и бессловесная исполнительность китайцев (и

китайское множество рук), а стены вообще, которую, чтобы не слиться с чужим множеством, с толпою, хотелось отгородиться — а там уже дорисовать недостающую обстановку. Теперь Наташе казалось странным, что совсем недавно она не придумывала никаких обособленных миров, а жила как живется. Все переменялось в один день, и она не могла понять, почему так круто. С Алешей Рыдаевым она не виделась с того «прощания с шедевром», на котором незнакомая школьница ни с того, ни с сего предложила ей помочь с устройством — и помогла же — и на котором она познакомилась с обворожившим ее, а затем канувшим в невозможные Штаты профессором Тимом (она так и не спросила фамилии). Сейчас она затруднилась бы сказать, чем заполнилось прошедшее после этого время — во всяком случае, не любимым рисованием. После ежедневного, по девять часов, нахождения среди людей, в большинстве вовсе не бывавших в галереях, да и с книгами зачастую знакомых лишь условно (в пределах школьных Муму и заколоченного Фирса, не более), рука уже не тянулась к кисти. Странный воздух настоялся за забором «почтового ящика» — словно иной и не годился для дыхания согнанных сюда несвободных существ. «Страна непуганых лилипутов», — несправедливо подумала сейчас Наташа, вообразив себя Алисой, съевшей какую-то гадость и уменьшившейся до кукольных размеров; последнее, с одной стороны, пришлось кстати для того, чтобы ее признали здесь своею, с другой — пугало невозможностью близости с привычными, из прошлой жизни, людьми. Утешением было только ощущение непостоянства нынешнего ее благополучия, и от неожиданного воспоминания о Тиме и соседства с Филиппом она ждала какого-то скорого происшествия — и это было предчувствием не любви, а несчастного случая.

— Как вы сюда попали, Наташа? — донеслось до нее.

— Надо было зарабатывать на хлеб. Клетку-то обещали — золотую.

— Обещали — и при этом ждали золотого яичка.

— Сначала следовало бы разобраться, чему быть раньше — яйцу или курице.

— На вопрос, что было раньше, — напомнил Филипп известный анекдот, — у нас отвечают, что раньше было все: и яйца, и куры, и масло. Золотые же яички годятся лишь для того, чтоб продавать их иностранным туристам.

— Абсурд.

— Вот именно, — обрадовался он. — С «Курочки Рябы» и началось искусство абсурда.

— Продавать иностранцам, говорите?

— И на вырученные деньги покупать свежие яйца. Знаете анекдот о русском бизнесе? Мужики украли ящик водки, продали его, а вырученные деньги пропили. Давайте, выпьем за искусство абсурда — единственное, верно отражающее нашу светлую советскую действительность.

Он выпил, и Наташа сказала ему как могла мягко:

— На этом вам и остановиться бы. Счет да мера, то и вера.

— О, как вы сказали! На этом и остановимся, — согласился он. — Но почему?

— Потому что вы не герой театра абсурда.

— Господи, что за речи ведут работники нашего НПО! Все-таки, как вы сюда попали?

— Как принято повсюду в Союзе: с черного хода. На одной вечеринке случайно оказалась внучка Лозаннского.

— Хорошенькая? — раздался голос за спиной Наташи.

— Ба! — вскричал Филипп: рядом с их столом стоял Евтропов. — Наша европопя, вижу, имеет тенденцию к росту!

— Это мировая тенденция, — объяснил Евтропов, — и вам придется смириться с моим вторжением. Впрочем, сами виноваты: для тайного уединения надо выбирать места подальше от проходной, а лучше — и от Анучина. Но я готов компенсировать моральный ущерб.

Через минуту он вернулся от прилавка с бутылкой коньяка, чем насторожил Филиппа и озадачил Наташу. Быстро и будто бы не стараясь, но разлив точно поровну (и похвалив себя за глазомер), он поспешил вернуться к теме директорской внучки.

— Вам не понравится, — с неохотой ответила на его вопрос Наташа; после небольшой паузы она все же добавила: — На улице, думаю, на нее не оглядываются. Но что-то в ней, наверное, есть, что чуют охотники: я видела ее в обществе очень разборчивого донжуана.

— Есть такие мастерицы — излучать половую энергию, — заметил Евтропов. — Интересно, не наследственное ли это? Особые свойства передаются через поколение.

— Неужели дед дал повод?

— Слухов об этом не ходит, но спроста ли его секретарша — настоящая секс-бомба? У каждого следствия есть свои причины.

— У всякого следствия, — поправил Филипп, — есть свои подследственные.

— Вот и я хочу расследовать: побольше узнать о дурных и терпимых сторонах нашего шефа (дурные к тому ж общеизвестны) и тогда уж решить для себя... — тут Евтропов осекся. — Эх, не хотел я деловых разговоров прямо с порога...

– Наоборот, надо поскорее, пока мы относительно трезвы.

– Если вы относительно, то я абсолютно, простите уж. Не случайно же я сюда зашел, а увидел вас в окошке – и решил посоветоваться. Попробую в двух словах. У нас что ни день, то перемены, вот дошла и моя очередь: не далее как час назад меня вызвал А. А., почитал справку, которую я для него подготовил, поинтересовался (я думал – чтобы поддержать свой имидж демократа) моим славным трудовым путем и вдруг, без вводных слов и уверток, пригласил к себе в референты.

Понипартов протяжно свистнул.

– Адекватная реакция, – оценил Евтропов. – Но какова карьера!

– Головокружительна, хотя я бы на такую работу не пошел. Мне для этого пришлось бы перешагнуть определенный порог. Если же ты склоняешься к тому, чтобы согласиться, то подумай все же и о последующих ступенях, потому что, если это будет надолго, то инженерскую квалификацию ты постепенно потеряешь. Да и в обстановку придется окунуться, прямо скажем, нелегкую – кстати, о дурных его сторонах...

– Да, да: ежедневные срывы, крики, внезапные увольнения... Меня то шумом не проймешь, что же до увольнений, то старик и сам наутро не помнит, кого выгнал накануне. «Друг мой», – и так далее. Тем не менее ясно, что на этой должности не засидишься, что это лишь временная перемена мест, от которой, правда, меняется сумма. Ты сам твердил, что повысить свое благосостояние можно лишь путем последовательных переходов, а внутри фирмы они возможны только в самые первые месяцы, пока еще не все разместились с удобствами.

– Что ж, верно. Это выглядит так, будто в зал внесли длиннющую скамейку, и все сразу уселись кто где стоял, а увидев пустоты, стали пересаживаться: кто – поближе к началу, кто – к своему земляку. Когда перебежки закончатся, опоздавшим останется только дальний, у самых дверей, конец скамьи.

– Настоящий грузинский тост!

– Тогда позволь его закончить. Выпьем за нашу даму.

У стойки кто-то с грохотом уронил алюминиевый поднос. Евтропов тотчас вспомнил, к случаю, старый анекдот:

– «Надя, Наденька, что это там в передней загремело?» «Это, Вовочка, Железный Феликс упал».

– И опять ты за столом говоришь о работе!

– Железный Феликс? О, вот это – анекдот! Чего только ни придумает спяну русский мужик! Давай-ка, я еще налью. И – нет ли у тебя закурить?

Понипартов выложил на стол пачку «БТ».

– Красиво живешь, – заметил Евтропов. – Получу прибавку – перейду на такие же.

– Так ты – решил? Тогда выпьем за твою удачу.

– Разве я решил? Но удача нужна в любом случае. Спасибо... О, смотри, кто идет!

Криво улыбаясь, к ним приближался молодой, их лет, длиннолицый мужчина.

– Интересно, кто? – пробормотал Понипартов, открывая, что для сохранения четкости речи ему лучше говорить короткими словами. – Погоди, я закончу тост. Ты – решил, но если мы с Наташей не рвемся вслед, к вершинам, то это вовсе не значит, что мы побрезгуем высочайшими милостями. Отныне вся надежда на тебя. За твою удачу!

– Частенько мы стали встречаться, – сказал Евтропов, вставая на встречу своему знакомому. – И все – в достойных местах: то на кладбище, то в забегаловке. Знакомьтесь, Виктор Деригузов, главный редактор рупора анучинского пролетариата – газеты «Неровный пульс».

– «Пульс труда», – поморщившись, поправил газетчик.

– Как сказал один фельдшер, мы-то с вами знаем, что пульса нет.

– Вот-вот! – воскликнул Понипартов. – Давайте анекдоты рассказывать!

– Не выйдет, – вздохнул Евтропов. – Политические – нельзя, потому что нас больше двух, и ты уже никогда не узнаешь, кто на тебя настучал, а неприличные – нельзя при дамах. В хорошем кабаке сейчас потанцевали бы...

– В хороший – со своими женщинами ходят, – поддел Деригузов. – Радуйся, Боря, и нынешнему приволью: ты сыт, пьян и нос в табаке. А джаз как-нибудь приложится. Придешь домой, включишь «Голос Америки», передачу Виллиса Кановера...

– Канонер – это голова, – заметил Филипп. – А мы-то, Боря, своими руками...

– Выпили по сто граммов – и уже русский надрыв.

– Так выпьем по двести! – придумал Понипартов.

– Нет, мальчики, перерыв, – запротестовала Наташа. – Вы очень уж спешите.

«Коня на скаку остановит, – с неудовольствием подумал Филипп. – Что это за женщина, если она – не меньшая, не слабая? Откуда взялась нежности к ней? Если ей не нужна защита – что мне-то делать подле?»

– Мальчики, возможно, и спешат, – усмехнулся Деригузов, извлекающая из потрепанного портфеля бутылку водки, – но мне-то их еще догнать надо.

Наташа застонала.

– Справедливо: пейте штрафную, чтоб уравнивать интеллекты, – одобрил Понипартов. – За нас, Наташа, не бойтесь, чести не уроним. Тем более, что в нашей замечательной стране такого понятия не знают. Штрафную – и все потом выпьем за честь.

– Что вы такое говорите? – покачал головой Деригузов. – Если где и сохранилось это понятие – так только у нас. Рабочая честь – наш товарищ в строительстве нового мира.

– А-а, ну раз так, то пожалуй... Честь имею!

Свет, казалось, выключили и включили снова, но не сразу, а постепенно увеличивая накал, и перед глазами Понипартова предстало помещение с монастырским сводчатым потолком и с единственной лампочкой на длинном шнуре, но не голой, а убранной самодельным абажуром, замысловато скроенным из разноцветного целлулоида; пестрые пятна, оживляя беленые стены, мешали разглядеть развешанные во множестве полотна – и портреты дам в шляпах, столь широкополых, что их пределы терялись в нерезкости, и натюрморты с сухими ветками, тоже словно видимыми близоруким глазом, и еще более, чем ветки, размытые пейзажи, проявленные лишь в серединах холстов, словно протертых там от мела. Мебели, кроме одинокого стола, не стояло вовсе, и незнакомая публика («Сон Татьяны», – подумал он), неудобно расположилась на разбросанных по полу диванных подушках; кое-какая обстановка угадывалась лишь в темноте смежной комнаты. Соседи продолжали свои разговоры, не замечая преобразования Филиппа, не знавшего ни предыдущих реплик, чтобы вставить – свою, ни способа, каким он попал на странную вечеринку без выпивки (нигде не было видно ни одной бутылки); впрочем, ему и не хотелось больше. «Не умер ли я?» – пришла ему в голову интересная мысль, и он попытался узнать на чужих лицах печати смерти. Первое лицо, неуместно голое, оттого что волосы были стянуты в пучок чрезмерным усилием, принадлежало рослой женщине, углубившейся в бледные страницы какой-то машинописи; решить, красиво ли оно, оказалось Понипартову не по силам, но, во всяком случае, такой вопрос возник. Следующее лицо, которое носила черненькая и с черными губами девочка, он назвал бы некрасивым уже уверенно; но, видимо, никто и не спросил бы. За девочкой привалился к стене столь же черный и в черном кожаном пиджаке молодой мужчина в золотых очках, а за ним, по кругу – субъект без внешности и, значит, без возраста, в чем-то сером, далее – похожая на суслика тетенька из очереди за овощами, кудрявый, с кудрявою же бородою мужичок в белой сорочке и вязаной безрукавке, но без гармонии в руках, и, вдруг,

совсем родная в этом окружении Наташа Шалиско. «Жив!» – убедился теперь Понипартов.

– ...естественною частью бытия, – услышал он, включив звук. – Ван Гог дошел до того, что ел краски.

– Дело вкуса, – пожал плечами бородач. – И поведение, и судьба человека зависят от обмена веществ. Талант – тем более.

– А обмен зависит от повара. При Сталине художники дерьмо ели. Понипартов поспешно подъехал на своей подушке к Наташе.

– Ради Бога, объясните, куда я попал, прошептал он, – что это за люди и куда делся Борис.

Девушка посмотрела на него с интересом.

– Это кошмар, – продолжил он, – но я ничего не помню. Очнулся – сижу в склепе...

– Прежде всего, мы пили на брудершафт и, значит, перешли на «ты». Только что это у тебя получалось. Не промахнись, не то публика удивится.

– На брудершафт! Вы – на брудер, я – на швестер... Неужели мы и руки делали крючочками? Какая пошлость! Жаль, я не помню... Где это происходило?

– У повешенного.

– Так вы... ты и с Евтроповым так пила? И с этим... с козлиной фамилией?

– Ого! Ты ревнуешь! Собственно, Евтропов это и затеял.

– Ладно, об этом потом. Но я-то – здесь я что-нибудь произносил?

– Произносил – и довольно впопад, – успокоила Наташа. – Правда, кое-кто похвалил тебя с намеком: мол, лучше быть под мухой, чем на мушке. Подвинься еще ближе, и я расскажу на ушко, who is who, пока ты не стал знакомиться с ними вторично.

Она стала описывать ему собравшихся в том же порядке, по часовой стрелке, в каком он только что оглядывал их:

– Сима Шехоян, моя соседка по... Хотя об этом расскажу отдельно. Девочка она талантливая и многосторонняя: пишет маслом, мастерит всякие поделки на продажу, переводит стихи с армянского и не признает ничьих мнений, кроме собственного, отчего мужчинам общаться с нею крайне трудно. Черненькая – Рина, Карина – моя благодетельница, составившая протекцию.

– Та самая внучка?

– Та самая. Смотри, будь осторожен. Впрочем, она слишком увлечена своим соседом.

– Чернокожим?

– Да. Это Алеша, наш мэтр, Великий Рыдаев, образец для подражания и злой гений. За ним – бывшее молодое, а теперь морщинистое дарование, не подававшее надежд. Такие постоянно торчат подле Алеши: растирают краски и бегают за водкой. Дальше – жена хозяина, за нею – он сам, Орест Стеклов. Правда, хозяин – титул относительный: какой он ворон, он – дворник здешний. И этот, как ты назвал, склеп – дворничья. Сам, наверно, понимаешь: мастерскую у нас получить невозможно, вот и... Голь на выдумки хитра. Орест нанялся дворником за помещение. Когда все встанут, я подниму абажур, чтобы ты как следует разглядел его работы. Когда-нибудь сведу тебя и к Симе, чтобы ты посмотрел на ее «Кассандру». Эта плодовитая мастерица красит один холст в год и все последующие двенадцать месяцев внушает миру, что родила нечто такое, ради чего только и развивалась пять тысяч лет наша цивилизация. Честно говоря, кое-какие основания для таких утверждений у нее есть, и нынешняя «Кассандра» – отнюдь не портрет племенной доярки. Только учти, что по отношению к «Кассандре» Сима судит об IQ зрителя.

Сима, вставшая с места и пробиравшаяся к выходу, услышала Наташины слова и опустила подле.

– Удобно, – сказала она треснутым голосом, – знать вещи, в отношении к которым сразу раскрывается человек. О вкусах не спорят, но о мужчинах, например, легко судить по обуви. Ботинки фабрики «Парижская коммуна» – это предел...

Понипартов невольно посмотрел на свои туфли, а Наташа фыркнула:

– Вот уж, Шерлок Холмс!

– Но если одним по душе импрессионисты, а другим – передвижники, то это не просто разница во вкусах. Когда-то, в шестидесятые годы – мне рассказывала старшая сестра – шел бельгийский фильм «Чайки умирают в гавани». Для всей Москвы это был безошибочный... ну, чем можно проверить...

– Тест, – подсказал Филипп. – Тест на IQ, если хотите.

– Тест, конечно. А по-нашему – настоящий лакмусовый кусочек. По отношению к «Чайкам» сразу узнавали, наш ли ты человек.

– Тогда это было возможно: выходил раз в месяц новый фильм – и его смотрели все. Теперь выпускают по двести фильмов в год, публика же сидит у телевизоров, а в кино почти не ходит. Разве что – молодежь, чтобы целоваться.

– Говорили, – совсем уже хриплым голосом сказала Сима, – что скоро можно будет принимать через спутник американские програм-

мы. Сказки, вернее всего, но если это все же случится, железный занавес можно будет сдать в утиль. На нем и так одна прореха на другой.

– Диссиденты протыкают пальцами, – вмешался в разговор Алеша. – Их, правда, почти не осталось: кого выслали, кто сам уехал... Солженицын, Сахаров, Буковский...

– Кстати, о Буковском, – оживилась Сима. – Вы не знаете, как он выступил на аэродроме – там? Его же выслали в обмен на Корвалана, так на вопрос репортеров, чего бы ему хотелось пожелать на прощание Брежневу, он ответил: «Чтобы его обменяли на Пиночета»!

– Вот дрянь! – выругался Алеша.

Рассказанную Симой притчу Понипартов слышал уже не раз; считая пожелание остроумным да и сам будучи готов к нему присоединиться, он теперь осторожно промолчал.

– Что это за Буковский? – поинтересовалась Карина.

– А что это за Корвалан? – мгновенно переспросил Понипартов.

Девочка развела руками, отчего-то вызвав этим у Филиппа странную едкую жалость, а за нею – и тоску по женской ласке. Странно было, что не Наташа вызвала это ноющее чувство, как странно было и то, что он вообще посмотрел при ней на другую, противоположную, кажется, во всем. Эти две девушки были для него настоящими полюсами, каждый – со своим временем года, и он, никогда раньше не отдававший предпочтения ни одному из четырех сезонов, неожиданно задумался о путях преобразования природы.

– Кажется, – важно проговорил Алеша, – вы не представляете себе предмет спора.

– Да ведь и спора нет, – с недоумением ответил Понипартов. – Что же до ваших предметов, то легко догадаться, что они – люди полярно разные, и поэтому, зная поступок одного из них, для другого легко представить – обратный. Это – что касается сцены на аэродроме. Что же до моей реплики, то и в самом деле: что за фигура – Корвалан? Это даже не Долорес Ибаррури.

Сима тем временем продолжила было свое продвижение к выходу, но задержалась у одного из высоко висевших полотен. Как раз в этот момент Алеша, потерявший интерес к диалогу с Понипартовым, решил, что пора послать младшего за водкой, и, поняв его с полуслова, с места сорвался – старший: его морщинистый серый приятель. Несмотря на показную спешку, посланец, пораженный видом нечаянно четко обозначившихся Симиных выпуклостей и изгибов, на ходу воровато огладил ее бока:

– Каков станочек!

Сима опешила, но Карина, издали, отрезала, не задумываясь:

– На этом станке – не с твоим разрядом.

Переждав общий хохот, Сима кивнула на прощание одному Алеше и вышла прочь. Наташа, поколебавшись, провозжать ли, нет ли, все ж пошла следом, а за нею – и Понипартов. Он с удивлением обнаружил, что дворницкую отделяет от улицы не лесенка в несколько ступенек, а непомерно длинный коридор с текущими вдоль стен пыльными трубами. За бульканьем воды в них и жужжанием электричества в какой-то коробке Филипп расслышал еще и тихую печальную музыку за одной из дверей; он посмотрел на Наташу, но та пожала плечами, и, осторожно заглянув вовнутрь, он увидел нечто вроде мебельного склада: расставленные как попало, а где и перевернутые, и взгроможденные друг на друга диваны, столы, стеллажи, стулья. В дальнем углу работал старенький телевизор, только один и освещавший комнату, в которой не было ни души.

– Как в кино, – пробормотала Наташа, переступая вслед за Филиппом порог. – При моем везении – непременно что-нибудь случится.

– Войдет бандит с наганом.

– Пусть и не бандит, но – кто-нибудь.

– Ему здесь нечего делать, – прошептал Филипп, обнимая ее одной рукой за плечи и с удивлением видя, как послушно поворачивается к нему девушка. – Шалиска миленькая, Наташа-ша...

Чувствуя через рубашку тепло ее груди, он, снова шепотом, сказал, не спрашивая, а утверждая:

– Ты будешь моей.

Все еще опасаясь, что кто-нибудь войдет, и торопясь, он попеременно то раздевал ее, то снимал что-нибудь с себя, то застывал в поцелуе, то вдруг скорыми руками попадал во что-то изумительно влажное и все не мог совладать со всеми одежками и двигающимися невпопад руками и ногами, пока Наташа сама не помогла ему. Филипп и тогда продолжал нервничать, ожидая неуместного вторжения из коридора, но чужие многозначительные шаги прозвучали, да и то мимо двери, только когда все тайное осталось уже позади.

– И вправду – как в фильме ужасов, – прошептала Наташа.

– Неужели тебе было так плохо?

– Не притворяйся, ты знаешь, что я не о том. Было чудесно – и страшно из-за этого непонятного телевизора.

– Фантастический нынче день.

– Мы будем праздновать его каждый год.

– И непременно – на мебельном складе, – засмеялся он и вдруг насторожился, оттого что в голосе диктора, читавшего новости, зазвенел металл.

Тот с расстановкой продекламировал:

– Страна – понесла – тяжелую – утрату.

«Генсек!» – решил Понипартов, вспомнив, с какой надеждой в стране годы подряд ждали смерти предыдущего (да и настоящему отнюдь не желали долголетия). У диктора, однако, нашлась своя версия: Маршал Советского Союза Пшенко.

– О! – вырвалось у Понипартова; только после долгой паузы он смог выговорить нечто членораздельное: – Это, Наташенька, внесет в нашу с тобой жизнь непредставимое разнообразие.

### 13.

Никогда не получалось так, чтобы день сходил на нет постепенно: его всякий раз словно выключали, и Александр Августович сетовал на себя за невнимание к подробностям перехода к ночи, словно если б они запоминались, то и жизнь уходила бы не так прытко.

Минуту назад кабинет был полон народу, но когда Александр Августович, уставший за день от разговоров, которые считал совершенно бестолковыми, поднял голову, чтобы оглядеть всех сразу с подобающим сарказмом, то увидел перед собой лишь единственного человека, торопившегося, пока не прервали, объяснить свои расчеты; такие, из рядовых инженеров, всегда приходили под занавес, чтобы, если повезет, остаться с высшим для них судьей один на один. Он очень их понимал, оттого что и сам вел себя точно так же в годы, когда пробивал свой безнадежный проект.

Пропустив мимо ушей, видимо, все выступление, он потребовал:

– Кратко резюмируйте.

– Но я сказал уже: на определенном удалении от границ действие наших устройств будет неощутимо. И как я... Те, кто слушал «Би-биси», так и будут его слушать. Вполне в интересах граждан было бы убедить заказчика изменить задание: тут и бюджетных денег жалко, и самим обидно работать зря. Законы природы ведь не изменишь.

– Интересная произошла эволюция, – холодно засмеялся Александр Августович. – Прежние изобретатели едва ли жизни не клали, лишь бы им позволили сработать нечто новое, нынче же все чаще попадают такие, что почти готовы пожертвовать тем же, лишь бы отказаться от работы либо свалить ее на другого. Тоже, скажете, закон природы?

– Существуют законы и превыше.

– Для нас есть один закон: решения партии.

– Это-то советский человек умеет: не выполнив их, отчитаться в выполнении.

– Вон! – закричал Александр Августович в отчаянии из-за того, что приходится увольнять еще одного работника: ему казалось, что фирма уже потеряла таким манером едва ли не четверть состава.

Работник пропал столь же незаметно, как и возник, а вместо него появилась вызванная настойчивым звонком Зинаида – длинноногая и смазливая, но интересная Александру Августовичу совсем не так, например, как рыженькая Соня.

– Собирайтесь-ка, дружок мой, да ступайте восвояси, – разрешил он, – но сперва запишите на завтра: надо узнать, нельзя ли повесить здесь люстры с человеческими лампами. Моя внучка называет эту мертвечину люмпенисцентным светом.

– Но ведь все, что угодно, можно, – не поняла его секретарь.

– И еще: велите Маматюку принести свежие записи прослушивания. Да заварите, пожалуй, чаю.

Маматюк, начальник отдела режима, уже дожидался в приемной. Без выражения глядя на стопку принесенных тем катушек с магнитными лентами, Александр Августович выбрал:

– Включите запись моего кабинета.

Ожидавший услышать прежде всего свой голос, Александр Августович был поражен: из динамика понесся вдохновенный женский мат. Подивившись первым искусным коленцам, он спохватился и с гневным вопросом во взгляде уставился на Маматюку. Дамский ансамбль между тем добросовестно, будто ведя репортаж, описывал в объемных выражениях обстановку его рабочих апартаментов; текст иссяк лишь по возвращении исполнительниц в исходные пределы приемной.

– Отмотайте-ка чуть назад, – распорядился Александр Августович, одновременно давая на кнопку звонка; к вошедшей Зинаиде он обратился елейным голосом: – Не объясните ли, друг мой, что это за художественное чтение в моем кабинете?

«Глянь, Клавка, – пошла повторяться запись, – унитаз-то голубой, как моя ..... А краники – ох, е мое. А рядом что за хреновина?» – «Да здесь бабы ..... моют!»

– Твоего голоса здесь нет? – недобро спросил у девушки Маматюк и, когда она испуганно затрясла головой, продолжил, постепенно распалаясь: – Тогда объясните, как в режимном помещении появились пьяные бабы. Неужели секретарь не могла остановить их, вызвать спецмилицию? Или сама пила с ними вместе? В конце концов, что у нас здесь – бордель или публичный дом?

– Бордель, – пролепетала Зинаида.

– Черт побери, я спрашиваю: КБ или?.. Представьте себе, что пока они тут изгалялись, могли войти заместители главного или даже сам Александр Августович... Вы же отвечаете за помещение! Скажите, где вы были, почему не записан ваш голос?

– Это маляры приходили, – наконец нашлась она, – посмотреть, не нужно ли где подмазать. Подготовка к зимнему сезону.

– Завтра пустите в кабинет асфальтировщиков?

– Что вы, у нас – ковровое покрытие. И потом, завтра очередь электриков.

– Идите оба домой, – вздохнул Александр Августович, отводя руку Маматюку, потянувшегося было за пленками. – Это не трогайте. Заберете утром.

Оставшись один, Александр Августович подумал, что недурно было бы, прежде чем спуститься в ожидающую его машину, соснуть часок – и понял, что не сумеет этого сделать из-за необычного физического напряжения всего тела; ему пришлось насильно освободить одну мышцу за другой – ослабить неестественно приподнятые плечи, разжать зубы, опустить щеки и наконец вообще осесть мешком, подумав, какое, наверное, зверское было у него выражение лица, мешавшее посторонним видеть в нем счастливого человека – теперь, когда он достиг вершин.

– Сеня! – сказал он в трубку местного телефона. – Заходи, если свободен. Погоняем чаек по-стариковски.

Давно изнывавший в ожидании этого вызова, Ходатаев явился тотчас, открыв дверь животом, – низенький, рыхлый, бледный, с рассыпавшимися сивыми волосами – ему наверняка не понадобилось расслаблять мускулы. Молча, не суетясь, Александр Августович разлил чай, надкусил принесенный гостем кекс – и лишь тогда включил магнитофон. «Смотри, Вер, на таком столе только девкам нагишом плясать», – услышали они, и Ходатаев одобрительно хмыкнул; последующий текст не удивил его, жившего в квартире второго этажа с окнами во двор гастронома и там наслушавшегося всякого.

– Экая непосредственность! – заметил он. – Что это за пьеса?

– Представь себе, это маляры осматривают помещение, где мы с тобой находимся, на предмет ремонта. Ужасная, если вдуматься, вещь: пьяные тетки беспрепятственно забредают в кабинет главного конструктора – и могут что угодно испортить, что угодно захватить на память. Самое ужасное, что так ведется повсюду, и представь...

Начатую фразу он дописал на листе бумаги: «...что и в Кремле такие малярши забредают в кабинет Генсека и восторгаются обстановкой на таком же наречии!»

– Фантастика, – сказал Ходатаев.

– Что-то чай не горяч... А вот кекс ты принес отменный.

– Можно наковырять с полфунта изюма. Кондитерский цех в твоей столовой, прямо скажем, утрет нос любому. Жаль, что ты не позволяешь им открыть лавочку в городе.

– В общем котле, – кисло отозвался Александр Августович, – выручку от тихой их торговли не заметишь, а полностью отдать ее кондитерам никто не позволит.

– Ох, этот великий Никто! Но ты, я смотрю, мужаешь, обучаешься государственно мыслить. Я-то подхожу по рабоче-крестьянски: идет человек с работы голодный, и не может купить даже булочку или там ватрушку. В Москве непросто поесть на улице.

– Придет домой, щей поест.

– Саня, Саня, ты что-то совсем не в духе, – вздохнул Ходатаев, приподнимаясь, чтобы включить телевизор. – Экономика, ясно, должна быть экономной, но ведь и кексами каждому хочется побаловаться. Мы зачем-то становимся на старости лет скрягами и брюзгами, да и новые обстоятельства нас только развращают. Сегодня мои ребята предложили потрясающую конструкцию стыка, а я их отправил домой, якобы додумывать, потому что тобою велено прежде разузнавать, как это сделано у американцев, и в случае неудачи сваливать на них же. А ведь я и сам с усам.

– Ты прав, мы становимся скрягами. Вчера Виктория попросила денег на какую-то очередную тряпку – и я, представь, не дал! А совсем недавно, когда перебивался от получки до получки, то ни дочери, ни Риночке не отказывал.

– Тогда ты, помню, сетовал, что они не просили. Вот уж, нельзя зарекаться.

– В общем, это простейшая политэкономика...

Изменившийся голос диктора телевидения заставил его умолкнуть.

– Страна понесла тяжелую утрату...

– Генсек? – прошептал Александр Августович.

– Дождались? – еле слышно выдохнул Ходатаев.

– Смотри! Сеня!

В траурной рамке высветилось хорошо знакомое лицо маршала Пшенко.

– Вроде бы и не старый мужик Никита Федорович, – пробормотал Ходатаев, – семидесяти нету, а вот на тебе! Смотри, ты только что вспоминал о нашем возрасте, а тут вот какая непростая штука.

– Катастрофа, – уставившись невидящим взглядом на экран, проговорил Александр Августович; он отчетливо представил себе непомер-

ный список поставок и услуг, обещанных ему предприятиями, подвластными маршалу. Только что у «Грома» насчитывалось множество должников, а теперь сам Лозаннский вполне мог стать просителем.

– Да, потеря своего человека в Политбюро... Впрочем, Постановление ЦК назад не вернешь.

– Бумаги живут своей жизнью. А люди... у людей только что порвалась цепочка прекрасно рассчитанных интриг... Стоп!.. Сеня, это же замечательная шутка!

Ходатаев посмотрел на него с недоумением.

– Нехорошо, я знаю, радоваться чужому несчастью, – с непонятной ухмылкой проскрипел Александр Августович, – но они-то моему радовались бы. Уж они-то!..

– О чем ты говоришь?

– Что-то мешало им (неужто совестно было?) сразу сделать Владимира главным конструктором. Меня затем и посадили в директорское кресло, что я стар: всему следовало совершиться естественным путем. Так и случилось, только с обратным знаком.

Видя, что старый приятель ничего не понимает, он написал на бумаге: «Умри я вовремя, сын маршала передвинулся бы на ступень вверх, на мое место. И вот какой пассаж: я жив, а папочки как раз и нету!»

– Видишь, какие шутки шутит судьба? – сказал он вслух. – Так не стоит ли мне порадоваться, что чужие планы пошли в прямом смысле прахом?

– Планы планами, но не собирался же этот товарищ изводить тебя мышьяком. Ждал бы себе терпеливо... Выходит, как у воров: умри ты сегодня, а я – завтра?

– Так и выходит, друг мой, ничего не попишешь. Однако же, и юмор у нас, Сеня, а? Слушай, друг мой, раз такой случай... У меня бутылочка была припасена, да генералы выпили. Не сочти за труд, позвони Воеводину, пусть найдет в каком-нибудь цехе спирту. Что ни говори, а оплакивают сегодня – не меня. Впрочем, друг мой, вопрос теперь в том, кого будут – оплачивать.

#### 14.

Найдется не много мест, столь же подходящих для размышлений о бренности сущего, как постель больного. Прикованность к единственной точке пространства здесь вовсе не означает привязанности ко времени – напротив, предоставляет для дела любой час суток. Сама болезнь тут может служить помехою лишь в том случае, когда связана с болями, при каких невозможно думать ни о жизни, ни, тем более, о смерти,



но известно, однако, немало недугов, терзающих тело незаметно, а сознание оставляющих ясным, — именно такому и поддался Александр Августович, жалуюсь на сердце, горло и поясницу, но больше страдая от мыслей о несовершенстве человеческого организма, слишком покорного законам конечной природы. Последнее выражение он узнал только что, когда однокурсница Карины продиктовала ей по телефону выписку из какого-то словаря, и, подивившись тому, что природе можно вполне по-деловому назначить предел, потерял сон. К этому времени он уже был болен, но старался перенести болезнь на ногах, уложило же его в постель потрясение от кончины Пшенко, доказавшей существование на свете некоей высшей справедливости; изумление этим переросло в такую сердечную боль, что впору было вызывать неотложку. Сыграли тут свою роль и побочные обстоятельства в виде срочно накрытого стола.

Стол (письменный) стоял в комнате Александра Августовича. Общей комнаты в квартире не было, гостей обычно принимали в кухне, по московским меркам огромной, и только Александр Августович, чтобы избежать церемоний со сменой блюд и светской беседы, иной раз оставлял дело по-походному. У него всегда были под рукой электрический самовар, чай для себя и кофе для посетителей; в тот вечер, когда он с друзьями выпил, в знак радости и печали, на работе, а потом с ними же — у себя дома, нечаянный кофе оказался лишним: после него сердце забухало невпопад и с болью.

В первый день он не вставал, зато в последующие несколько вместо того, чтобы отлежаться, самым активным образом занимался похоронными делами — обязанный этой честью своему молодому заместителю.

Утро похорон выдалось премерзким — сырым и холодным, с водой в воздухе и с жидкой кашей под ногами, — и продрогший Александр Августович едва держался на ногах, несколько часов кряду не имея возможности ни присесть, ни прислониться. От Красной площади рукой было подать до дома, так что никакая машина не ждала его, но вместо обычных каких-нибудь двадцати минут он, с новой сердечной болью, добирался битый час, часто останавливаясь и оттого надышавшись мокрым воздухом и набрав в ботинки воды.

Дома следовало бы принять горячую ванну, но Александр Августович поостерегся из-за сердца и только до отвращения напился слабенького чаю; в итоге хотя до воспаления легких дело и не дошло, но наутро он чувствовал себя так скверно, что, вызвав врача, боялся, что не сможет встать, чтобы открыть тому дверь. Неспособному ни читать, ни даже включить телевизор, ему оставалось лишь, плавая в приятном полуза-

бытия, продолжать думать о гримасах судьбы, вроде бы и выведшей из игры претендента на его место, но и сделавшей бессмысленным пребывание на этом самом месте его самого. Теперь как будто ничто не мешало его недоброжелателям указать ему на возраст, и чтобы обезопасить себя, следовало бы либо завести собственные интриги — но он не знал, какие, — либо переусердствовать на своем поприще, добившись чего-нибудь замечательного и неожиданного, и тут он чувствовал себя героем русской сказки, простаком, которому царь приказал выстроить до рассвета хрустальный мост, по которому катались бы с нежным звоном самобеглые коляски; потребной для успеха такого дела девицы-красавицы (царевны-лягушки или змеи-скарапей) сказочник, добрый для других, однако, не привел, и постройка, которую пришлось срочно сколачивать по своему разумению, ничем не напоминала нужной. Товар, какой удавалось перехватить у заморских купцов, выручал, но отдавал подозрительной гнильцой, и то, что наш простак задумал в далеком прошлом, и впрямь оставалось хрустальной мечтой.

«Что-нибудь да построим. Партия сказала — народ сделал», — утешил себя Александр Августович, к месту припомнив поддельную поговорку, прочитанную когда-то в «Блокноте агитатора». Вспомнил он и то, что непременно сказала бы в сказке лягушка («Утро вечера мудренее»), и заснул, успокоенный, и во сне ему явилась дельная идея построить занавес не вдоль границ державы, а только вокруг ее столицы — средоточия крамолы, — чтобы одним махом пресечь вредные потоки не только туда, но и оттуда.

Его разбудил телефонный звонок, но до того, как снять трубку, он успел додумать сновидение, в котором военные воспротивились его идее, но их сразил непобедимый довод: если все равно нужно где-то строить опытный образец, то не славно ли заодно защитить столицу нашей Родины? В действительности, он уже не раз предлагал проводить испытания в легкодоступных местах, но министерство обороны, озабоченное сохранением секретности, а скорее всего имеющее здесь тайную корысть, упорно предлагало ракетные и танковые полигоны, один другого дальше и дичее, диковинные названия которых одним лишь звучанием вызывали сухость во рту.

Телефон не унимался, и Александр Августович с трудом разлепил потрескавшиеся губы, чтобы издать хотя бы какой-нибудь звук.

— А мы к вам собираемся, — услышал он радостный голос Зинаиды, — навестить. Есть масса вопросов.

Он даже не спросил, кто это такие «мы», убитый наглостью, какая совершенно невозможна была бы на прежней службе: там коллеги по-

спешили бы навестить больного – непременно с фруктами и вином, – но ни словом не обмолвились бы о служебных делах; с другой стороны, ему было приятно, что без него не смогли обойтись и дня. «Теперь, быть может, так же считают и в ЦК, и партия меня уже не оставит», – самодовольно решил Александр Августович, имея в виду неопределенное будущее, до сих пор пугавшее нищенской пенсией.

После звонка у него неожиданно нашлись силы, чтобы привести себя в относительный порядок. Он даже надел под халат рубашку и повязал галстук – напрасно, потому что пришла врач и велела раздеться.

С замком ему, даже и при действии обеими руками, удалось справиться не сразу. «Погодите, погодите», – умолял он, вообразив, что делает последнее в жизни усилие. Справившись наконец и увидев перед собою миловидную и весьма юную особу, он простонал:

– Карины нет дома.

– Что это меняет? – фыркнула девушка, отесняя Александра Августовича и одновременно начиная расстегиваться.

– Ну и нравы, – довольно громко прошептал он, вместе с тем покорно принимая у гостьи пальто и аккуратно вешая его на плечики.

– Где ваш больной? – раздраженная медлительностью старика, спросила она.

– Здесь, – пробормотал он, удивляясь своей ошибке.

– Я понимаю.

– Больной – это я, – в полупоклоне признался Александр Августович.

– Зачем же вы встали? – еще более раздражилась девушка.

– Зачем же вы звонились? – нашел в себе силы съязвить он. – Вошли бы и так.

Врач не смутилась, но задумалась, и он жестом пригласил ее в комнату.

Едва он разделся до пояса, как прозвенел новый звонок. Обиженно пожав плечами, девушка пошла открывать, и он услышал в передней топот ног и многие голоса.

– На кухню идите, на кухню! – закричал он через дверь. – Я голый!

– Предупредили бы по телефону, – отозвалась издали Зинаида, – мы б погодили.

– Я – участковый врач районной поликлиники, – запоздало представилась его догадливая гостья.

Отосланные на кухню удалились. Уловив из произнесенных их веселым хором слов только одно – самозванец, – Александр Августович решил, что говорят о нем; мысли, вразной посещавшие его несколько

минут назад, собери он их воедино, свелись бы как раз к этому знаменателю (в числителе же угадывалась боязнь разоблачения).

Зинаида тем временем принялась осматривать квартиру – поинтересовалась старыми фотографиями, развешанными в коридоре, заглянула в ванную и вновь оказалась в передней одновременно с Кариной, открывшей входную дверь своим ключом.

– Ого! – воскликнула девочка при виде незнакомой красотки; от неожиданности она замешкалась на пороге, словно попала в чужой дом, и та, другая, парадно раскрашенная, на чрезмерных для ее роста каблучках и в короткой юбочке, жестом пригласила войти. Карина, как дурочка, пробормотала благодарность, но через секунду, придя в себя и щелкнув выключателем, который тщетно нашаривала Зинаида, уже спокойно рассмотрела незнакомку: круглое лицо, лиловая помада и такой же лак на ногтях, неплохая стрижка; мимолетно подосадовав на то, что сразу не нашла, к чему придраться, Карина открыла было рот, чтобы спросить, что за чудо перед нею, как из комнаты деда появилась еще одна девушка, на вид поскромнее – маленького роста, с густыми русыми, свободно распущенными волосами и в юбке до лодыжек.

– Ну, дед гуляет! – восхищенно воскликнула Карина и сунула руку дощечкой той гостье, что оказалась поближе, русой: – Карина, Рина – как хотите.

– Татьяна Евгеньевна, – важно назвала себя та. – Участковый врач районной поликлиники.

– А вы, я думаю, сестра? – рассмеявшись, обернулась Карина к первой девушке.

– Двоюродная, – сострила красотка под собственное краткое ржание.

– Ну а я – здешняя внучка. И что же, уважаемая Татьяна Евгеньевна, вы скажете о своем пациенте?

– Острое респираторное заболевание, – поспешно одеваясь, охотно ответила врач. – Все инструкции больной получил. Прописаны таблетки. Пока – строгий постельный режим, теплое обильное питье. Послезавтра он придет ко мне на прием.

– Строгий постельный – и на прием? И что у него с сердцем? Он очень жаловался.

– Придет в поликлинику – сделаем кардиограмму.

– Если придет, – усмехнулась Карина, и, обнаружив, что вторая девушка вовсе не собирается уходить, а вместе с нею провожает доктора, замаялась: – А вы?..

– А я – секретарь вашего дедушки.

– Остряк-одиночка, – поморщилась Карина, одновременно кивая на прощание врачу.

Зайдя, чтобы чмокнуть деда в щеку, она увидела его сидящим на диване в халате и при галстукке; он мало походил на больного.

– На тебя хорошо действуют прелестные девы, – заметила Карина. – Если поднимется температура – скажи, я позову подружек.

Александр Августович хотел было возмутиться, но закашлялся и замаскал руками, выпроваживая ее, а заодно и Зинаиду; с ним остались Ходатаев и двое достаточно молодых, но скучного вида мужчин.

Увидев на кухонном столе журнал, Зинаида немедленно принялась за кроссворд.

– Обедать будешь? Борщ, котлеты, – предложила Карина и, услышав отказ, вздохнула: – Тогда и мне рановато. Я-то сбежала с последней лекции, думала, успею до врача, чтобы деду не вставать. Что ж, попьем кофе.

Открыв буфет, Карина с неудовольствием оглядела полки.

– Растворимый, наверно, дед упер, чтобы улучшить кардиограмму, – затараторила она. – У него свои методы лечения. Ладно, делать нечего, нет хлеба – давай пироги: сварю настоящий. Вообще-то у нас дед мас-так его варить. Секрет давно утрачен, так что учись у меня. Кофту здесь покупала?

– Привозная. Слушай, помоги-ка: месяц, шесть букв, первая «эр»?

– Ты что, дура?

– Ты всегда так на людей кидаешься?

– погоди, – отмахнулась Карина, заглядывая в холодильник. – Выпить не хочешь?

– Я – при исполнении...

– Тем более. И потом, тебе же дали отставку. Так заведено во всем мире: пока мужчины за закрытыми дверями на трезвую голову решают глобальные проблемы, их женщины бесчинствуют на кухне.

– Была не была, – сдалась Зинаида. – Чем угощаешь?

– Водочка папочкина, маслинками закусим, кофейком запьем. Извини, рюмок не ставлю: для конспирации налью в кофейные чашки.

– Тоже мне революционер-подпольщик, – ухмыльнулась Зинаида, озабоченно посмотрев на налитую до краев чашку – и выпив залпом. – И часто ты так?

– Представь, нет. Просто случай удобный. Да и обстановочка: прихожу в родные пеналы – деда одного при смерти оставила, – а от него друг за дружкой выходят девицы одна другой краше. Кольца, серьги, коленки сверкают... Дурдом.

– Коленки отменные – как не сверкать? – похвалила себя Зинаида, кладя ногу на ногу. – Хочешь потрогать?

– Тоже мне радость. А ты, смотрю, с первой рюмки кайф ловишь?

– Радость, милая, радость – для тех, кто вкус понимает. Надо же узнать, что тут другим нравится.

– Чтобы это узнать, надо иметь еще кое-что. Но ты права в одном: хорошо бы все на свете перепробовать самой – толком ведь никто не расскажет. Жаль, профессия не позволяет.

– Ты работаешь? – с недоверием спросила Зинаида.

– Учусь на инженера. И не делай такие глаза – куда взяли, туда и поступила. К тому ж, везде есть свои плюсы. У нас, например, чисто мужской состав – от женихов отбоя нет.

– То-то, я смотрю, ты с утра в боевой раскраске.

– Меня все принимают за проститутку, – рассмеялась девочка, – но я ничего не могу с собой поделывать.

## 15.

Учреждение, откуда сейчас звонили, в представлении многих связывалось со скукой и унижениями: вызванные туда либо часами просиживали на совещаниях, либо выслушивали нотации (пряники, если кому-то и раздавались в этих стенах, то по штучке и тайком; львиная их доля львами и съедалась – по ночам, под одеялом), – и все же Деригузов обрадовался звонку, вообразив по тому, как при упоминании райкома зашло сердце, что узнал голос. Ясно представив на дальнем конце провода свою платиновую симпатию – в небрежно расстегнутой блузке да еще закинувшую ногу на ногу (впрочем, икры у нее были худые), – он едва не воскликнул в ответ на вполне официальное обращение: «Голубушка, как хороша!» – оттого, видимо, что в прошлый раз цитата из того же текста осталась при нем и теперь переспела; проглоченное это восклицание казалось столь кощунственным и грозило такой катастрофой, что он, хотя и сдержался, все же невольно втянул голову в плечи, ожидая какой-нибудь убийственной искры.

Между тем девушка звонила не для милой болтовни, а по казенному делу (что, видимо, и явилось той самой немедленной искрой): чтобы вызвать к первому секретарю; до сих пор Деригузов не удостоивался такой чести. К газетке, которую он редактировал, из-за ничтожности тиража и убогого вида высокое партийное начальство относилось, как к гадкому утенку; соответствующим было и обращение с главным редактором: сам Масалкин не говорил с ним ни разу, а управлял через вторых секретарей и референтов, так что Деригузов даже не знал доро-

ги в его кабинет. Впервые попав в приемную, он, пусть и подготовленный нынешним телефонным голосом, все же оторопел, оказавшись лицом к лицу с Ниной, — и посчитал встречу доброй приметой. После такого начала следовало готовиться уже не к неприятностям, а к заманчивому предложению, премии или витку карьеры. Он пожалел, что пришел без цветов.

— Не ожидал, не ожидал, — развязно начал Деригузов.

— Чего же вы ожидали? — холодно осведомилась она. — Увидеть здесь пресловутого своего двойника?

— О, вы помните! Столько времени прошло... Но, если рассудить, двойник — это, в какой-то степени, я сам. И мне тут назначено.

— Постойте, так вы кто?

— Дэригузов, — представился он, подчеркнув твердость первой гласной.

— Что же вы... Федор Абрамович ждет.

Кабинет, куда его впустила Нина, был пуст. «Не бояться, что я стяну что-нибудь», — весело удивился Деригузов, тотчас замечая выложенное для обозрения имущество: золотую зажигалку, золотые же очки в кожаном заграничном футляре, крохотный калькулятор и сиротливый номер крамольной «Америки» — набор, странный для удельного князька, который запрещал комсомольцам носить джинсы, этот символ тлетворного влияния Запада (Деригузов в свое время одобрил запрет в передовой статье), и уволил машинистку, подстригшуюся под мальчика. Не смея тронуть американский журнал, но вытянув шею, чтобы лучше рассмотреть обложку, он вдруг отметил какое-то шевеление в углу и, обернувшись, встретился взглядом с небольшим пузатым человечком. «Ну и Федя! — восхитился он. — Неужели за столом прятался?»

— Вы, стало быть, «Пульс труда»? — уточнил Масалкин, не здороваясь и не предлагая садиться, но сам устраиваясь за письменным столом. — Постыдно, постыдно.

— Ничего удивительного — при таком бюджете. Но стоп: почему ж постыдно? Газету читают, название, знаете ли, зовут...

— «Пульс туда и пульс обратно»? Впрочем, я же сам его и придумал. Жаль, что потом долго руки не доходили до вашего листка. Результат налицо. У тебя там что, большой коллектив?

— В многотиражке? Если бы не актив предприятий...

— А я вот слышал, — назидательно проговорил Масалкин, — что за рубежом не жалкие газеты, а даже толстые книги издают вдвоем, муж с женой, набирают прямо дома.

«Дайте мне такой дом», — подумал Деригузов, сказав:

— Дайте мне такое оборудование...

— ... и ты натворишь такого, что век не расхлебать. Сейчас копаешься в час по чайной ложке, смотреть жалко — и то цензура за тобой не поспекает.

— Да мы и сами обходимся: я лично слежу, чтобы не просочилось, — заверил Деригузов. — Граница на замке.

— Он следит! — воздев маленькие ручки к небу, Масалкин соскользнул с кресла. — Ты наследил: дал репортаж о похоронах с некрологами и мемуарами на двух страницах. Кто тебе позволил? Это, милый мой, прерогатива центральной прессы, а ты — вшивая многотиражка с окраины. Сидишь в дерьме — не чирикай.

На это Деригузову нашлось что ответить:

— Центральная пресса и не мечтала о таком материале, что был у меня. Сын покойника (между прочим — член бюро райкома) сам передал его в «Пульс».

— Ты мне лапшу на уши не вешай, не в том дело, — оборвал его первый секретарь. — Ладно бы ты был на все руки мастер, а то и неуч и неумел. А не умеешь — не берись, не то все изгадишь. И ведь как изгадил, как осрамил! Я не о тех мемуарах, фиг с тобой, золотая рыбка, но ведь какую пакость сморозил! В старые времена тебя бы и до стенки не довели.

Здесь уместно заметить, что, начиная с поговорки «не умеешь — не берись», прямая речь секретаря райкома передана не совсем точно, а с пропусками и замещениями слов и целых выражений, употребленных им для пущей выразительности за незнанием иных, принятых в приличном обществе. Все же, как ни старался он расцветить свое простое, в сущности, выступление, Деригузов так и не смог взять в толк, на что же гневается начальство.

Вынув из портфеля газету, Масалкин бросил ее на стол перед редактором. Этот траурный номер Деригузов пока еще помнил наизусть: дело было в том, что в официальной информации ему отказали, к семье покойного он обратиться не посмел (насчет материала, полученного от наследника, он наврал по наитию) и весь текст пришлось сочинять самому.

— Другие-то газеты, скажи честно, ты читаешь, хотя бы изредка? — с ехидством спросил первый секретарь. — В курсе, как у нас в Союзе с урожаем?

— Добрый урожай, — не понимая, куда тот клонит, проговорил Деригузов и чуть погода добавил: — С полей страны — в закрома Родины.

— Добрый, говоришь? Значит, и крупы у нас будет вдоволь? А ты что пишешь?

Масалкин толстым пальцем ткнул в «шапку», набранную жирными буквами во весь разворот: «СТРАНА ПРОЩАЕТСЯ С ПШЕНКОЙ».

– Не один же наш район, – пожал плечами Деригузов. – Вся страна скорбит.

– Так и знал, что прикинешься дурачком, – обрадованно вскричал Масалкин. – А с дурака – какой спрос? Отвечу точно: особый. Вот и скажи мне, на что ты здесь намекаешь, только не сваливай на коллектора – или как он там называется? – словом, на стрелочника. Наши советские люди вкальвают по-ударному, собрали в этом году небывалый урожай, а ты пишешь о голоде. Пшенки ему, видите ли, не хватило! Это же настоящая идеологическая диверсия!

– Вы как-то пристрастно прочли, я даже не понимаю, как, – сумел вставить Деригузов. – Я скорбел вместе со всеми и более других, а трудящиеся поняли текст правильно, будьте уверены.

– Ты за народ не говори. Откуда тебе знать, как он понял? Рабочие и вывески-то по складам читают, а ты хочешь, чтоб они твой бред с головы на ноги поставили. В общем, я разберусь с твоей конторой, посмотрю, чем ты занимался под моей крышей. Когда дойдет до формальностей, тебя известят, а пока готовь дела к сдаче. Все. Свободен.

Идя сюда, Деригузов не знал за собою вины (равно как и достижений, хотя и мечтал о поощрении), и грядущие напасти – снятие с должности и, возможно, даже исключение из партии, означавшее настоящий запрет на профессию – стали для него совершенною неожиданностью. На миг ему удалось убедить себя, что абсурдная сцена с партийным боссом только привиделась, только сочинена, ведь окружающий мир остался тих и спокоен – вот же он, перед глазами: просторная приемная, притихшие люди на стульях вдоль стены, прекрасная девушка чинит карандаш.

– Что, крепко? – засмеялась Нина.

«Садистка», – решил Деригузов, поняв, что на его лице написано поражение.

– Пойдите, пойдите, – протянула она руку. – Теперь-то куда вы спешите?

– В ссылку, – буркнул он, не сразу поняв, что сказал не такую уж глупость; в его положении ничего не предпринять значило б остаться без куска хлеба, но даже и в стране Советов не судили заочно, и вывод напрашивался сам собою: нужно исчезнуть с глаз долой, скрыться в геологической экспедиции, в дальнем плавании, на худой конец – в больнице. Озадаченный собственным внезапным решением, он продолжил

после неловкой паузы: – В деревню, к тетке, в глушь... В добрый путь, молодые специалисты.

– Чем бы вам помочь? – спросила она с неожиданной ноткой участия в голосе.

– Поддержать переписку.

– Если вам ее разрешат.

«Потом, по возвращении, – подумал он, – можно будет собрать целую книгу: “Письма из пригорода”. Социологическое исследование в рамках обмена любовными письмами. Талант расцветает в труде. Только почему – из пригорода, когда бежать нужно в пустыню, в тайгу, в тундру? А жаль – шикарный заголовок».

На улице он становился в раздумье. Бел-горюч камень не лежал на развилке, но у доброго молодца и без того не оставалось выбора: все силы следовало употребить только на то, чтобы уберечь голову. «Что ж, присядем у печурки, – с нервным смешком подумал он, – поглядим на живой огонек, а там и чемоданчик соберется сам собою». Мысль о печке, посетив его на некотором удалении от дома, по мере приближения к подъезду мало-помалу заместилась противоположной, об ожидающей его за дверью мерзости запустения, – несправедливой, потому что в действительности ему грешно было жаловаться на разруху: в квартире и нужная мебель стояла в подобающей тесноте, и в холодильнике нашлась бы закуска, и краны не текли, а весь неуют мерещился из-за того, что никто не ждал его дома, не обрадовался бы возвращению, не приготовил бы еду. Ему самому пришлось мыть оставшуюся еще со вчерашнего утра посуду, собирать разбросанную где попало одежду, жарить картошку – чертыхаясь, оттого что масла оказалось в обрез.

Откупорив припасенную для нечаянных гостей бутылку водки, Деригузов уселся у телефона. Сделав изрядный глоток, он принялся читать записную книжку:

– Авдеенко – бесполезно. Акимов – тоже. Азимов – мимо. Агеев – сука. Арутюнян... Арутюняну звоним. И Алексееву звоним.

После второго глотка он набрал номер.

– Я тебя, старик, не отрываю?... Ну, извини. Это как в анекдоте: «Ты не спишь?..» Я-то понимаю: цейтнот, а фигуры еще не развернуты... Пешки, пешки, а ходим конем... Или в раскоряку, это ты остроумно поправили... Сочувствую, старик. Зато у меня – каникулы... Э, нет, не по своей воле, а по собственному желанию – это две большие разницы... Какие там шутки!... Сам знаешь, как бывает: пропустил добрый «ляп»... Это не для телефона... Не сталинские времена, конечно, права переписки не лишат, а последствия все ж непредсказуемы... Нет, я Тарковского

не смотрю, не дорос. Что дальше, спрашиваешь? Быть урожаю. Кресло сдаю — это наверняка. А по партийной линии первый секретарь лично грозили-с. Вплоть до... Да, да, ты прав: волка ноги кормят, а зайца — спасают. Вот и я придумал устроить какой-нибудь дальний рейд: сбить предложенный темп, а там, глядишь, либо мулла умрет, либо ишак сохнет. Я имею в виду командировочку от почтенной газеты... Да хоть на льдину к Папанину. Вот об этом я и хотел бы поговорить, дело-то серьезное и архисрочное... Да?.. Но ты все же имей в виду... Мало ли что... Нет, что ты, что ты... Извини, что отвлек.

Телефонная книжка оказалась неожиданно велика, но звонки только отнимали время: возможно, он искал защиты у единомышленников от них же, но в противном лагере у него не водилось коротких знакомств. Разговоры повторялись со смешной точностью, и Деригузов от отчаяния придумал записать диалог на пленку и прокручивать его все новым слушателям с тем, чтобы они, помолчав, только подписывались под ним, как под протоколом. Нечто новое он услышал только на исходе алфавита и бутылки, добравшись до полузабытого им Сумакова (тот стал в последние месяцы заметной фигурой и честнее было бы выразиться так: до Сумакова, полузабывшего его). Тот не только заставил изложить всю историю с подробностями, какие только возможны были в разговоре по проводу, но и обнадеживающе долго потом молчал, явно прикидывая какие-то ходы; в конце концов он попросил Деригузова подождать часок, а при повторном звонке велел тотчас приехать.

— Выходит, не все друзья — мерзавцы, — глубокомысленно заключил Деригузов, повесив трубку. — Но и не все мерзавцы — друзья. Впереди — новые дела. Интересно, правда, как я покажусь в таком виде. Чаю надо пожевать.

## 16.

Тысячу раз Филипп ошибался, считая булыжник серым; здесь, под неярким утренним солнцем, смешивались и синий, и желтый, и лиловый цвета. И эта мостовая, и невысокие дома, не первый уже десяток лет пытающиеся одолеть подъем, — все вокруг дышало девятнадцатым столетием; он не удивился бы, увидев вместо автомобиля пролетку, — впрочем, ему пока не попались ни тот, ни другая, ни даже пешеход: ничто не мешало ему рассматривать старые камни, и он пожалел, что не захватил фотоаппарат. Эта крутая улочка была давно знакома ему, он знал тут и каждую трещину в штукатурке, и каждый цветок в окне, и каждый балкон с неповторяющимся узором чугунных кружев, и дубовую дверь в угловом здании, не отмеченную вывеской, но явно скры-

вающую уютный подвальныйчик с кофе и музыкой; он знал и то, что, свернув на изломе улицы под арку, попадет в сквер, где собираются художники. Филипп не пошел ни в кафе, ни на сквер — сюжет вообще не развивался за ненадобностью: достаточно было всякую секунду помнить, что ты живешь в Париже, и впитывать, по счету, остановленные мгновения. Поэтому не случилось ни выстрелов, ни падений с высоты, ни телефонных звонков — ничего из набора верных помощников пробуждения; пейзаж попросту исчерпал себя, и Филипп проснулся счастливым.

Не открывая глаз, он старался удержать последний кадр, постепенно вспоминая и другую причину своего блаженного состояния и пока еще боясь спугнуть догадку. Беспокойство оказалось напрасным: рядом послышался слабый вздох, и Филипп, собравшийся было потянуться, замер, чтобы не разбудить Наташу. «Где художники, там и Париж», — понимающе улыбнулся он; между тем Наташа не сопутствовала ему в чудесной прогулке по Монмартру, и другого случая в ближайшие годы ей не могло представиться.

Другого случая никак не могло представиться и Понипартову, ничего, как почти и все мы, так не желавшему, как поездки в Париж, город, всякому начитанному русскому человеку знакомый подробнее, чем даже Петербург — москвичу. В последнем (в Ленинграде все же) Филипп побывал и сам, но желание путешествовать по дальним странам вынужден был удовлетворять наездами в советские республики Прибалтики, не более того. Он считался невыездным: служба в секретных учреждениях опускала перед ним все пограничные шлагбаумы, да и дома не давала права перекинуться хотя бы словом ни с каким иностранцем. После нынешнего сна Филипп впервые подумал, что насильно привязан не только к одной местности, но и к определенному времени: те, кто сами не помнили родства, отрезали от него и девятнадцатый век, и вообще прошлое, заставляя считать началом истории всего лишь семнадцатый год — и это тогда, когда жить нынешним днем стало невозможно.

Теперь, на новой своей работе, стала невыездной и Наташа.

Вместо путешествий по свету им обоим оставалось лишь смотреть сны — и только сны: не одни города мира, но и фильмы, и книги, сочиненные там, оставались недоступными им, простым смертным; государство заботливо оберегало их от потрясений, неизбежных при встречах с шедеврами. Люди, старшие Понипартова на десяток лет, пережили в пятидесятых годах потрясение основ, после которого ненадолго воспрянули искусства, ко времени же взросления Филиппа волны уже разошлись по воде и свежие ветры возвратились на круги своя, дуя снова лишь

по ту сторону границ; по эту же – даже разговоры об изящных ремеслах стали затруднительны за незнанием предмета. Да Филиппу и не с кем было бы непринужденно поговорить о высоких и ненадежных материях – не со своими же коллегами и даже в новой среде – не с Великим же Алешей, вдруг оскорбившимся за генсека. С ним он как раз не стал бы состязаться во владении предметом – но не стал бы вступать и в другие споры: полотна Алеши вряд ли уходили за границу бесследно, и Филипп, не склонный преувеличивать способности сыскного аппарата, был все же уверен, что многое, если не все из произносимого в доме художника оседает в гостеприимных досье. Он не находил интереса в том, чтобы заводить рискованные речи с неблизкими людьми; худо было то, что ему недоставало – близких. Привыкнув жить одиноко, Понипартов и в Париже побывал один, отчего ему теперь было неловко перед Наташей; спросить, где в это время пребывала она, Филипп не решался. Вернулись же они одновременно и в одно место – куда точно, он не сказал бы; приблизительно это было Подмосковье, только непонятно, какого времени: надышавшись во сне духом прошлого века, он и проснувшись чуял несовременный запах. Всякий, знающий наши пригородные постройки, согласится, что они существуют вне эпох: стоит вынести наружу телевизор, как в оставшемся пространстве не сыщется и намек ни на технический блеск нынешних дней, ни на уют прошлого. И все же из комнаты, где нежился сейчас Филипп, не пришлось бы окликать в форточку детвору, справляясь о тысячелетии: старые художники не расписали бы дверь спальни кукольными рожицами и не покрасили бы потолочные балки в белый, а обшивку между ними, проваливая ее в ночное небо – в черный цвет. До сих пор ему почти не приходилось просыпаться в чужих постелях: хотя бы глубокой ночью, хотя бы через весь город, в любую погоду он брел домой, как медведь в берлогу; удивительно, что женщины отпускали его без обиды – но ему, как правило, такие и попадались, каких легко бывало оставить. «Боже мой, – ошеломленный открытием, подумал Филипп, – как славно было бы каждое утро просыпаться рядом с любимой!»

Не к Наташе первой примерял Филипп это слово, которое, правда, всякий раз остерегался произносить вслух – не только из опасения вмиг себя связать, но и сомневаясь в его точности, оттого что не умел распознавать любовь в красочной толпе подобию. Сегодня он был бесконечно далек от колебаний, допустив из прошедшего времени и из постороннего мира в свой лишь удивление неизбежностью случая, сведшего его с Наташей. Не решаясь сейчас посмотреть на нее, он старался думать о постороннем – о комнате, о времени, – только не о том, с како-

го все началось пустяка – со звука имени, в котором одно за другим следовали ласкательные «ша» и из-за которого сам час знакомства с Наташей Шалиско казался теперь пушистым и теплым, как сибирский котенок.

Филипп повернул голову и посмотрел.

Редкие женщины не дурнеют во время сна – Наташа похорошела («Боже мой, – повторил он, – как славно...»), и от этого все, ожидаемое далее, нынешним утром и ежедневно, представилось легким и добрым – и то, как сладко Наташа, проснувшись, должна была потянуться, показав ослепительные подмышки, и то, как она застенялась бы не приведенного в порядок лица, и то, как одевалась и умывалась бы с его помощью – здесь, на Алешиной даче, нужно было по-деревенски сливать из ковшика, – и то, как хлопотала бы у печи с живым огнем. «Ах, какой я Манилов! – посмеялся Филипп. – Не здесь же мы поселимся». Осторожно приподняв одеяло, он скользнул взглядом по телу Наташи – и нашел с изумлением, что ему неинтересно подглядывать.

Будить девушку было жалко, и Филипп, вздохнув, приготовился к долгому ожиданию; дождался он лишь вовсе было исключенного им сейчас из жизни звонка будильника. Холодный молоточек быстренько вколотил в мозг напоминание о той неприятной стороне бытия, где расположились ненужные и малоприятные вещи вроде вечного недосыпания, немислимых запретов, постыдной работы и всеобщей тоски; теперь уже не оставалось времени на ласки: нужно было, умывшись на холоде и едва ли не на ходу принимая обличие исправных служащих, поспешать на электричку. Печально посмотрев на Наташу, Филипп не испытывал вчерашнего ощущения одновременных гибели и восторга.

## 17.

С годами у Понипартова перевелись холостые приятели, и во всем городе не у кого было попросить на пару часов ключ от квартиры: неизвестно, что бы он делал, если б не мастерская Алеши. Теперь он часто оставался там ночевать, все же стесняясь попадаться на глаза хозяину. Поначалу избегать встреч удавалось легко – мало работая в короткие зимние дни, художник на ночь уезжал в город, – но такое везение не могло длиться вечно.

Давно готовый к осложнениям, Филипп все-таки растерялся, увидев на втором этаже дачи свет. Тронув калитку, он замер, и Наташе пришлось подтолкнуть его:

– Чего ты испугался?

– Он меня вроде бы не приглашал.

– Во-первых, пригласила я, в свою комнату, а во-вторых, сюда и не принято приглашать: покупать полотна способны только незваные гости.

Посреди мастерской стояли Алеша, в черном, и – явно собираясь уходить – два бородача в полушубках и линялых джинсах. Понипартов подумал, что не будь он знаком с хозяином и доведись ему распределять роли на свой вкус, то роль художника-авангардиста и записного диссидента сыграл бы у него любой из этой пары; третьему, в бабочке, он отвел бы роль богатого коллекционера. Его мнения не спросили, но и действие не шло, актеры только создавали шум на сцене («А говорить-то нам чего, нам говорить-то нечего. А говорить-то...»), и декорации приелись зрителям – кроме одной частности: в последние дни мольберт не был заряжен, сегодня же на нем стояла готовая работа, якобы портрет – якобы, потому что и одежда, и живая оболочка модели просвечивали здесь, как бесплотные досадные тени, мешающие добраться до сути, до мозга костей; кости как раз и различались лучше всего прочего. Черты лица, несмотря на рентгеновскую прозрачность изображения, все же угадывались и были, несомненно, чертами Наташи.

– Как ты позволила? – ужаснувшись, шепнул ей Понипартов.

– Раздеться до такой степени? Интересно было, что из этого выйдет.

– Вышло! И он показывает это незнакомцам, не спросясь! Вышла же – гадость.

– Это просто блестящая лабораторная работа. Посмотри, какая техника.

– Радость лаборанта. Но спасибо за то, что просветила меня.

– Это меня просветили, – смеясь, перебила Наташа. – Лучами.

– Что, снова спорите о вкусах? – развязно спросил Алеша, когда бородачи, топоча тяжелыми ботинками, прошли к выходу.

– Не совсем, – охотно отозвался Понипартов. – Просто я считаю, что если уж вы видите насквозь, то лучше наблюдать не костяк, а душу.

– Почему вы знаете, что я там ее не нашел? Другое дело, что она не имеет наружности. Нарисовать ее невозможно – только в сказке сказать да пером описать. Есть же на свете специальные инженеры человеческих душ. А художников к ним не причислили.

– Собственно, что такое душа?

– То, чего нету по советским законам природы. А по несоветским душа – это я.

– Фил, ты не понимаешь, – вмешалась Наташа, – это же настоящее чудо света – увидеть, что я такова, какая есть, а прочие лишь подобны мне внешне.

– И этот твой скелет не похож ни на чей? Какая чепуха! Вот подобных душ – не найти, согласен. Сама возможность сказать об этом изумительна.

– Да, да, я удивляюсь своему праву сказать: странно и славно, что в мире существую я, неповторимая душа.

– В Бога веруешь, а удивляешься, – усмехнулся Алеша.

– Кто верует, тот как раз благодаря своему удивлению замечает всю красоту мира, – наставительно сказала Наташа.

– И не хочет видеть, – продолжил Алеша, – как эта твоя красота вокруг нас неизбежно смешивается с навозом, спермой и кровью.

– Так ведется испокон веку. И все это время люди писали иконы.

– Слушай, отчего бы и тебе не прилепиться к богомазам? И зарботки побольше, чем в твоей конторе, и работа по душе.

– Нельзя же так порхать с места на место. Об иконах я и сама думала. Только мне и техника эта еще не знакома, и вижу я на этом месте не девицу, а мудрого старца, и моей веры, думаю, для святой работы недостаточно. К тому же, с одной стороны, я не понимаю, чего смогу внести своего, когда предписаны и повороты головы, и пропорции, и жесты, а с другой – писать от себя будет значить – проявить гордыню, строго же соблюдать каноны – свести все к подражанию. Так что пока я себя смиряю.

– Как выразился пролетарский поэт: «И я себя смирял, становясь, нагой, на собственный пенис».

– Алеша!

– Пардон, мадемуазель. Но я продолжу, если можно. Ты считаешь, что смысл и цель нашей работы – показывать святость какой-то другой жизни, а по мне – искусство должно оставить в назидание потомкам память о сегодняшнем кошмаре. Я же художник, и мой глаз верен: ну, чей же верен, если не мой? А я вижу и живое мясо ран, и гной событий, наблюдаю смерти тел и распад всего сущего, так пусть и потомки понюхают не одни только наших душ незабудки, но и наше дерьмо. Я мечтаю написать картину, передающую запахи – всю палитру, от и до. Впрочем, что касается дерьма, то от мазни многих моих коллег прямо-таки несет этим делом.

– Выходит, вы хотите в чем-то уподобиться этим своим коллегам? – поддел его Понипартов, думая, что и новейшими Алешиными средствами не передать ничего иного, кроме мысли, и что душок, исходящий от самой мысли – совсем другое дело.

– Не хотел – не хочу – не захочу – никому... Ясно?

– Ты, Алеша, перебарщиваешь, – поторопилась, пока он не сказал лишнего, перебить Наташа, – но я с тем согласна, что твоя цель – за-



ставить зрителей наконец спросить себя, за что нам послано такое жестокое наказание господне. Сюжеты – у каждого свои, естественно, но на твоём месте (мне самой не под силу) я написала бы сожжение Москвы. От нее же ничего не осталось, и теперь никто не помнит родства...

– Но это – выдумки, юродство...

– Значит, и тебе не под силу, – вздохнула она.

– Да нет же, просто эта всеобщая гибель на пожаре и есть моя тема. И, кстати, я не знаю, есть ли такая тема, которая не под силу живописцу.

– Да их, наверно, миллион, – удивляясь тому, что приходится разьяснять такие простые вещи, сказал Понипартов. – Любая философская тема, любое отвлеченное понятие... Вот, например: алиби. Какую картину вы напишете?

– Да хоть натурщицу на сеансе: раз она работает у меня, значит, не может ни убить, ни украсть где-то в другом месте.

– Но вы же не раскроете на полотне, что это за понятие – алиби. И не покажете, что за преступление совершается, пока ваша натурщица дрожит на топчане. В этом-то вся и штука. То, что за кадром – простите, за пределами холста, то, я думаю, никакому изобразительному искусству не подвластно. Хотите, заключим пари? Напишите алиби.

– Знаете, сколько у меня задумано картин? Было бы время... И я сам решаю, за какую первую братья. Мне пока человечье мясо и дерьмо важнее ваших умствований. Ясно?

– Ясно, ясно, вы ведь иначе и не должны думать, – тоном, каким говорят с больными, сказал Филипп, огорчаясь оттого, что спор, едва начавшийся – о душе, так скоро свелся к нервным выкрикам. Впрочем, он понимал, что беседа все равно не удержалась бы на высокой ноте: никто из них троих не знал предмета, да и во всем человечестве трудно было бы найти знающего, зато в избытке попадались – судящие; профессионалы – и те блуждали вокруг и около. К последним Филипп прежде всего отнес бы священнослужителей, но те не умели говорить прямо, за ними – писателей, но здесь ему мешало убогое сталинское определение, которое хотелось тотчас же оспорить, и наконец – психиатров, но об их сильных сторонах он имел самое приблизительное представление. Вместе с тем он понимал, что во многих случаях для выяснения истины лучше призывать не мастеров и искусников, а профанов с их свежими взглядами. Будучи сам профаном, он думал, что узнать что-либо о душе можно лишь так, как никому не дано – через Бога. Феномен души, видимо, на многие века, если не навсегда, останется загадкой, хотя именно о душе и говорят много, и хочется знать все, поскольку если есть душа, то есть и бессмертие; так хочется, чтобы она существо-

вала в самом деле, что даже если ее и выдумали, то сама эта выдумка бессмертна. Ученым так хотелось этого вечного существования, что они, в свою очередь, нафантазировали, будто усилия всякого смертного ума не пропадают напрасно, а скапливаются электрическим зарядом в некоем опоясавшем землю поясе; если это так, то искусство должно жить вечно, по крайней мере те вещи, что были продиктованы Богом.

– Этот ваш замысел, – продолжил Филипп, – показать мерзость бытия – не результат ли подкаски свыше? Или вы попросту рассчитали, что это – ходовой товар?

– Жить-то надо.

– Да, вам удается продавать: редкая для наших мест удача. Многие, разумеется, завидуют. Только как же вы, с вашими заграничными покупателями, не боитесь, что на вас обратят внимание?

– Как же не боюсь? – засмеялся Алеша. – Очень даже боюсь. Более того, уверен, что непременно обратят – и без продаж обратят, когда подойдет очередь. Возможно, чем меньше будешь таиться, тем позднее подойдет: у них, там, свои соображения.

– Вы предполагаете, а они располагают.

– Нет же, это вовсе не досужие рассуждения, а знание обстановки. Для ясности я перескажу, со слов верного человека, одну притчу. Дело было перед процессом Синявского и Даниэля – помните?

– Кто же об этом не знает?

– Дутое дело, как вы думаете?

– Я ведь тогда в глупейшем возрасте был – что толку спрашивать мое мнение?

– Извините, я не подумал. Так вот, гебисты тогда созывали собрания творческих союзов и внушали с трибун, чтобы никто не посмел выступить в защиту этой пары. Мол, в свое время авторитеты, от Шостаковича да Арагона, вступались, по доброте своей, за Бродского – и к чему это привело? Его выпустили, а он нигде не печатается: такой оказался никудышный поэт. О том, что они сами же и перекрыли ему все дороги в печать – об этом, понятно, ни слова не было. Но я сейчас – о другом. Этих-то двух осудили, похоже, за то лишь, что они печатались за границей, а не за nepотpeбствa в тексте. Те, кто читал их книги, говорят, что не нашли там ровно никакой крамолы. Чин, выступавший на собрании, зам председателя КГБ, сокрушался, что, мол, в разных враждебных странах печатаются Солженицын и Ахматова, и никак их не удается приструнить: предупреждают, предупреждают, а те опять за свое. Вопрос: отчего же и этих не судят за то же самое? Он этак неохотно намекнул, что Даниэль и Синявский пострадали оттого лишь, что

выступали под псевдонимами: Лубянка заинтересовалась сочинениями вполне на общих основаниях, завела дело по раскрытию псевдонимов — и в конце концов докопалась до подлинных фамилий. Дальше можно домыслить уже самому: дело-то надо было закрывать, а тут способ известен один — арест и суд: раз уж нашли людей, то не пропадать же им зря.

— Поучительная история. Поэтому вы и пустились во все тяжкие?

— Стучат, кажется, — насторожилась Наташа.

— Кстати, стучат! — в восторге вскричал Филипп.

— Опять звонок не работает... Но я никого не жду больше, — пробормотал Алеша, и Понипартов на всякий случай пошел к двери вместе с ним, нисколько, впрочем, не тревожась, а думая, что дача стала слишком бойким местом для тайных свиданий.

Новым гостем оказался слепой, совсем еще молодой человек. Свои темные очки он почему-то держал в руке, и Понипартову стало не по себе от вида его ненужных глаз.

— Хотелось бы видеть живописца Рыдаева, — отчеканил незнакомец, будто бы не понимая невыполнимости своего желания.

— Перед вами. Но как вы нашли в такой темноте? — изумился Алеша.

— Местность знакома: я живу в двух кварталах отсюда.

— Что же за дело у вас? — поинтересовался Алеша, все еще загорая живая вход.

— Вы — знаменитость. Хотелось бы познакомиться с вашим творчеством.

— Прекрасная идея, — опешив, с трудом пробормотал художник. — Каким же образом?..

— Если я не вовремя, можно назначить другой день.

— Ну уж нет. Лучше сразу. Только извините, у меня не прибрано.

Понипартов, слушавший диалог с открытым ртом, подумал, что гость мог явиться с дурными намерениями, скорее всего как наводчик, и что надо быстренько подловить его на какой-нибудь мелочи.

В мастерской слепец, пока Алеша с Понипартовым мешкали, не зная, как его представить и представлять ли, сам назвал себя, безошибочно обернувшись к Наташе:

— Валерий Печурин, абориген.

Его усадили на топчан, предназначенный для натурщиц.

— Чай или кофе? — вежливо предложила Наташа.

— Шампанское, — скромно ответил он, но не стал смаковать наступившее молчание, а сразу достал бутылку из своей наплечной сумки.

— Чем ужасно мое положение, — почти простонал Алеша, — чем оно прекрасно — не дают просохнуть

— Только вы напрасно улыбаетесь, — вдруг сказал Печурин, всем телом повернувшись к Понипартову, и в самом деле хранившему на лице уже забывшую свое происхождение улыбку. — К счастью, я преуспел во всяких компенсациях: слух, чутье почти собачье... В мастерской художника и подавно — особая аура..

— Скипидар, — объяснил Понипартов, про себя соглашаясь с ним и думая, что, видимо, и вправду не вся умственная энергия, излученная в студиях и кабинетах, уносится в ноосферу, а отдельные ее порции впитываются стенами и обстановкой и потом светятся из углов.

— Будем попроще, — ухмыльнулся Алеша. — Без лозунгов, без церемоний, а? Давайте-ка бутылку, я открою, как только Наташа принесет бокалы. С этим — понятно. А вот как устроить вам экскурсию, ума не приложу. Полотна словами не опишешь, иначе зачем бы тогда люди краску тратили, она же денег стоит: овес-то ночью почему? Или вы, как Роза Кулешова, различаете цвета на ощупь?

— Не беспокойтесь, я многое пойму, — заверил Печурин, прислушиваясь к тому, как Алеша разливает вино. — Справедливость требует, как я уже сказал, возмещения моего порока, и у меня действительно замечательно обострены чувства, но до полноценности, сами понимаете, еще далековато. Для этого нужен большой талант — как у вас.

— Пришли позаимствовать? — фыркнула Наташа.

— Было время, я надеялся, что еще проявится какой-то дар, скрытый в глубине, но теперь ясно, что тот скрыт слишком хорошо. Семь городов не будут спорить о Гомере.

— В более поздней истории, — заметил Понипартов, — города не оспаривают честь называться родиной писателя, а только выясняют, был ли он таковым и он ли это был.

— Если вы — о «Тихом Доне», то я скажу, что в этом споре пора поставить точку.

— До этого далеко: вопрос связан с политикой. Любое решение отзовется на всех нас.

— Не нужно о политике, — запротестовал гость. — Слово — не воробей.

— Экой какой! — удивился Филипп. — Но тогда (мы же — в студии) вот — портрет на мольберте, сделанный в виде рентгеновского снимка. Жаль, вы не можете представить себе рентгеновский снимок: Алешу вдохновляет их эстетика.

Говоря так, он подумал, что мог бы сделать неплохую фотографию: слепой, стоя перед мольбертом, ощупывает тростью полотно.

– А вам не кажется, – замялся Печурин, – что здесь важна не эстетика, а этика?

– В корень смотрит, подлец, – обрадовался Алеша. – Вот кто Рентген! Знайте же, что вы, не видя моей работы, слово в слово повторяете неких дальноруких критиков. Те, правда, упомянув этику, идут дальше и подводят экономическую базу: кончается-то все рублем, ради этого и затевается игра.

– Думаю, что прежде, все-таки, подводится база – марксистская.

– Само собой разумеется, и не только – под факты искусства, но и под спорт, и чуть ли не под любовь. Возьмите шахматы: обыватели, не знающие, как ходит конь, следят за матчем Каспарова и Карпова, принимая близко к сердцу все перипетии, оттого что различают тут поединок бунтаря с режимом.

– Чему я так и не научился, – признался слепец, – это игре в шахматы: не могу держать в уме расстановку фигур. Зато мне часто снится, как я играю.

– Как вы сказали? – оживилась Наташа. – Вы видите сны? Видите?

– Сны – снятся. В них я и летаю, и падаю, и встречаюсь с прекрасными женщинами.

«С прекрасными на ощупь, – уточнил про себя Понипартов, не устыдившись этой мысли и мимолетно, пораженный тем, что человек, не видевший птицы, вдруг пожелал полета. – Неужели в нас заложен на всякий случай даже этот инстинкт и только ждет случая проявиться, а до того момента лишь сон в силах приподнять краешек занавески? Бог мой, какой ерундой я занимаюсь за гроши, в то самое время, как неведомый кто-то учится отгибать этот краешек!»

– Во сне я не ощущаю слепоты, – продолжал Печурин, – если вас интересует именно это. Да не если, а точно интересует – чужое уродство. Вас ведь оскорбила моя попытка говорить о живописи на равных. Так знайте, что я для этого и пришел: проверить, так ли вы отзоветесь.

– Простите, я обмолвилась нечаянно, – тронула его за руку Наташа. – Оставьте же это самоистязание: вас никто не хотел задеть.

– Сам напросился! – с горечью воскликнул он. – В сотый раз услышал, что вы, гении, лучше нас, нищих, ползающих в пыли. Ах, да, вас же притесняют! Не имел счастья присутствовать при бульдозерной атаке, но наслышан: чего у меня не отнять, так это знания о всех ваших скандалах – с бродскими, твардовскими и синявскими.

– Вот как Синявскому нынче везет, – заметил Понипартов.

– Сами стучите в КГБ, сами же на него и жалуетесь.

– Видимо, на вас так шампанское подействовало, – мирно сказал гостю Алеша. – Давайте-ка, чтобы миновать эту стадию, я вам еще плесну. Хочу выпить за вас.

Он подошел, чтобы налить, но слепой вдруг неожиданно точно ударил его по протянутой руке – так, что бутылка, истекая, упала на пол.

– Ваш товар, – невозмутимо пожал плечами Алеша. – Нечего и тащить было.

– Обороняюсь! – закричал Печурин, живо вскакивая и замахиваясь тростью. – Не бейте инвалида!

– Прямо Паниковский какой-то, – пробормотал Понипартов, перебегая к мольберту, чтобы защитить от случайного удара портрет: слепой размахивал железной палкой, как казак – шашкой.

– Деритесь с солдатами, а не с инвалидами на допросах!

– Слушай, Валер, остынь, – уговаривал Алеша, непохоже подражая позе каратиста и делая знаки Понипартову, чтобы тот зашел с тыла. – Ну, не хочешь пить – не пей, я не заставляю, не заливаю в глотку, свинцом и оловом... А, черт!

На слепого сзади навалился Понипартов, но палка все же успела задеть Алешу. На пол слетели банки с краской, рассыпались в прах бокалы, но и сам буян рухнул под неожиданной тяжестью Филиппа. Удерживать его в лежачем положении пришлось вдвоем, и они даже решили, что стоит – связать.

– Бедняга, – посочувствовала Наташа, уходя в чулан за веревкой.

«Чижика съел», – грустно подумал о своей победе Понипартов, и, словно услышав его, слепой презрительно бросил:

– Справились! Герои!

## 18.

То и дело он со сладострастием принимался растравлять себя обращенными в прошлое фантазиями, чаще прочего воображая, будто нашел убежище от гнева начальства в больнице, и обходя при этом то неудобное соображение, что врачи не держали бы его там вечно, а когда-нибудь выпустили прямо в лапы противника. Имей он в свое время возможность раздумывать, именно так и вышло бы, но ему, к счастью, пришлось впопыхах поступить чересчур для себя смело – и теперь в безопасности и тоске он мог беречь душу сомнениями как угодно долго. Пока оскорбленная власть, выбрав в стаде барана, приготавливала соус, жертва действовала сообразно своим интересам. Отправив заказным письмом заявление об увольнении, Деригузов в тот же день укатил на край света, защищенный мандатом корреспондента одной из цент-

ральных газет; укатил — сказано неточно, оттого что катания в России долги и тем хороши лишь для праздных туристов; мимолетно помечтав о неторопливом, с наблюдением видов, путешествии по железной дороге и океану, он купил билет на самолет. Расчет на быстроту отъезда оказался в конце концов верен, и лишний раз подтвердилось, что с глаз долой — из сердца вон: много позже ему передали, что скандал за отсутствием подсудимого заглож сам собою. Первый секретарь райкома, правда, славился злопамятностью, но более высокой, верховной власти из-за особенной дряхлости предводителя предстояло скоро смениться, а за нею перемены угрожали и всей лестнице, так что Деригузов надеялся по возвращении найти на ней незнакомцев; сроков, естественно, назвать было нельзя, и он, не рассчитывая вернуться тотчас, приготовился на новом месте — пожить.

Между тем, нескорым оказалось не только возвращение оттуда, но и прибытие — туда. Неприятности начались на последней промежуточной посадке, когда пассажиры вышли размяться на часок, а вернулись в самолет — на четвертый день: где-то впереди на трассе гуляла пурга, и хотя об ее долголетию ходили самые разные слухи, всякому было ясно, что ночевки в аэропорте не избежать. Деригузову бросилось в глаза своеобразное поведение местных жителей, которые, едва приехав из города и еще не зная об отмене рейсов, первым делом направлялись не на регистрацию, не к справочному бюро и даже не в ресторан, а прямо в зал ожидания: занимать на всякий случай места. Поняв обстановку, он и сам поспешил позаботиться о ночлеге и первую ночь спал просто по-царски, лежа на составленных вместе двух креслах и двух стульях. Во вторую ночь, после дележки с понаехавшими ближними, его ложе составилось из трех предметов, в третью — из двух. Четвертую ночь он просидел в единственном кресле и, следовательно, на пятую только и оставалось, что улететь. В непогоде очень кстати образовался короткий просвет, и в него успели гуськом выскользнуть четыре московских самолета. В месте назначения сумел приземлиться лишь первый из них, в котором как раз и летел Деригузов; он так и не узнал бы подробностей посадки, не забредя на морской вокзал, где размещалось агентство «Аэрофлота».

— Вчера мы чудом московский «борт» не загубили, — сказал человек в летной форме другому — в такой же.

Деригузов насторожился.

Накануне его самолет, к счастью, уже коснувшийся земли, порывом шквального ветра оттащило к самому краю полосы, вдоль которой, как дома на проспекте, стояли бетонные капониры для истребителей, а

следующий, только показавшийся под низкими облаками, развернуло едва ли не поперек курса, и диспетчер, запретив посадку, отослал его на запасной аэродром за добрую тысячу километров. Услышав все это, Деригузов поздравил себя с неплохим началом: «Висельник не утонет. Хорошо, что я избежал парохода».

Жизнь в новых краях началась с нанесения визитов: официальных (в редакцию газеты и в обком) и единственного частного — к некоей Гале, которой он должен был передать увесистую пачку грампластинок. Посылку эту послал сам благодетель, устроивший Деригузову спасительную командировку, и не было возможности ни отказаться от поручения в Москве (и пришлось пожертвовать частью собственного багажа), ни манкировать сейчас, откладывая встречу из-за понятной в первые дни тоски.

Настроенный увидеть тощую старую деву, Деригузов был приятно разочарован: Галя оказалась маленькой молодой женщиной с живым круглым лицом, правда, явно требовавшим макияжа: прибавить бы, как подумал он, краски, и она, с ее густыми русыми волосами, сероглазая, стала бы чудо как хороша.

— Вы только что видели Сумарокова! — всплеснула она руками. — Ах, простите, это одна я так его называю — Сумакова, конечно!

— Именно так, — согласился он, думая, что когда бы не прощание с пшенкой, не такое уж это было бы счастье.

— Но проходите, проходите же, раздевайтесь, у меня тепло. Я кофейку сварю. Вам чай, кофе? Сто лет не была в Москве.

— Выглядите вы моложе, — брякнул он.

— У нас тут год за два засчитывается. Значит, кофе?

Отказываться от угощения Деригузов не умел, тем более, что с кофе, пусть и не столь им любимым, в Москве бывали трудности (хотя до прощания с ним и не доходило). Здесь же его соблазняли вдобавок и ликером, и он, глядя на тугой задок убегающей в кухню хозяйки, вдруг впервые за много дней почувствовал себя в своей тарелке.

— Человек с материка у нас — событие, — продолжила она, вернувшись с чашками. — Вы увидите, здесь совсем другой мир.

Кофе в другом мире пили из хорошего фарфора.

— Почему вы говорите: материк? — удивился он. — Мы же не на острове.

— На континенте, но это не имеет значения. Пешей дороги на запад нет, мы отрезаны, словно часть света, и проходит ли настоящая жизнь за морями, за лесами ли — все равно. Вы привыкайте, привыкайте, здесь все так говорят.

– Стало быть, в прошлом вы – москвичка, – сказал он безо всякого интереса.

– Киевлянка. Разве не слышно поговору? Сюда же залетела самым простым образом: по распределению. Были места и поближе – на материке, но в самой глухой провинции, вот я и решила: если уж глушь и даль несусветная, то пусть хотя бы хорошо заплатят. Здесь, сами знаете: надбавки, коэффициент... Сюда многие приезжают с такими же планами: подзаработать и с длинным рублем – домой, да большинство так и остается. Мой срок еще не вышел: третий год начался. Успела замуж сходить.

– И вернулись?

– Я домоседка.

– Ну а заработать? Заработать-то удалось? На квартиру хватит?

– Какие наши деньги? Я преподаю в музыкальной школе.

– Ах, да, пластинки.

– Еще раз спасибо за них. Здесь ведь живой музыки не услышать. Теперь буду с вашими дисками балдеть в одиночестве.

– Тогда я пошел, – привстал он.

– Нельзя же понимать так буквально, – засмеялась Галя, удерживая его за рукав.

Деригузов, долго посмотрев на ее пальцы – крепкие, с широкими ногтями, – подумал, что совсем не такими представлял себе руки пианистки.

В дверь позвонили, и Галя пошла открывать. Со своего места Деригузов не видел, кто пришел, и не разбирал приглушенного женского диалога – да и не вслушивался; понятно было только, что пришедшую не пригласят в комнату, и, приготовившись к долгому ожиданию, он налил себе ликера (выпил, поморщившись, залпом и налил еще) и удобнее развалился в кресле. Галя, однако, вернулась скоро.

– Посмотрите, какие мне принесли чудесные туфельки, – похвалилась она. – Моя мечта: босоножки на высокой шпильке. Я их полгода искала – да искать можно и полжизни. Теперь вот знакомая спекулянтка принесла – с переплатой, конечно.

– Примерьте-ка, – попросил он, и когда Галя переобулась, расщедрился на слова: – Что ж, приятно посмотреть. Советскому человеку – красивую одежду. Вы будто родились в них, как другие – в рубашке: смотрите, носочек вырезан точно по длине пальцев, ни больше, ни меньше. Только не носите их с чулками: получается нечто бесформенное.

– Беда поправима, – развеселилась она. – Отвернитесь-ка.

Колготки она сняла моментально.

– Хорошие у меня пальчики?

– Прехорошенькие, – согласился Деригузов. – Так и хочется перецеловать.

Девушка охотно протянула ногу, и он сначала, нервничая, припомнил детскую считалку «Сорока-сорока, кашку варила, деток кормила...», потом стал подниматься губами выше. Дальнейшее происходило на полу, на оленьей шкуре. В какой-то момент ему не к месту пришло в голову рассмотреть свое отражение в полированной дверце серванта; дерево оказалось неважным зеркалом и, честно передавая суть бурной сцены, по-своему преподнесло черты действующих лиц: себя он увидел старым и морщинистым – таким свое лицо уже встречалось ему однажды – и застонал от тоски. К счастью, Галя, если и обратила на это внимание, то поняла по-своему.

## 19.

Где-то жгли прошлогодние листья, и Наташа, прислушиваясь к аппетитному дымку, с грустью подумала, что и сегодня люди грешат, того не ведая, и что у нас либо вовсе не делают разбора между буднями и выходными днями, трудясь если не так, то этак, либо веселятся не умеючи, сводя праздники, по прирожденной бедности, к обильной еде. Игры и прогулки давно вышли из обихода в нашей угрюмой стране, и только молодежь еще оставила себе танцы. Непочтение к отдыху особенно бросалось в глаза за городом, где в жизни, проходившей на виду, повелось так, что не дача существует для человека, а человек – для дачи, во всякий день, включая и наступившее Светлое воскресенье.

Возвращаясь ночью из храма, Наташа не видела света в окнах – не потому, что жители еще отстаивали службу в церквях, а потому, что не выходили из домов; она не смела осуждать их, когда сама не постилась, зато разговелась в компании, которой годился любой повод, чтобы собраться за столом. К чести этих безбожников, они дождались возвращения Наташи с Симой, найдя больше вкуса в соблюдении нежели в нарушении обряда. Всем понравилось христосоваться, обмениваясь крашеными яйцами, и Наташа радовалась всем им, лишь игравшим в ее игру, и Симе, с которой ее теперь связывало нечто недоступное собравшимся в доме – то, что они молились вместе.

Поначалу Наташа задумывала провести пасхальную ночь с Филиппом, но как раз Сима этому и помешала, решив ночевать на Алешиной даче; в городе же нашей паре и подавно некуда было бы деться.

Деревянная голубенькая церковка, единственная в округе, была набита битком; дверей тут не закрывали, а в крестном ходе участвова-

ли все, кто пришел, включая оставшихся во дворе, так что голова шествия в конце концов соединилась со хвостом, и оно теперь могло кружиться до бесконечности. Шли же вокруг храма, при одних свечах, света не под ноги, а на свои лица и чужие спины, — сначала по тропке под самой стеной, а за первым углом — просто по старой траве, по мягкому, и это ощущение живой земли, и вид, на фоне темного неба, черных крыш, и деревянные запахи, и непроглядная глубина погоста так переменили Наташино настроение, что, торжественное вначале, оно уступило ощущению приключения, словно ее увлекли на ночную прогулку со школьным учителем, странности которой не передать было ни в каком рисунке, хотя она и не видела ничего трудного в изображении по отдельности и трепещущих свечечек в руках поднятых с постели учеников, и освещенных ими лиц, и силуэта церкви. Позже, по пути домой, она спросила у Симы:

— Почему же мы с тобой не рисуем Его — не смеем, что ли?

— Разве мы делаем, что хотим? — услышала она ответ. — Разве ты рисуешь — сама?

— По крайней мере, я заранее знаю сюжет — и тогда хочу его и делаю, что хочу. Иначе пришлось бы месяцами сидеть и ждать, что выйдет из-под кисти.

Но именно это ей и захотелось вдруг сделать: погадать с карандашом, дав руке свободу. Находя в этом больше веры, чем суеверия и греха, Наташа всего лишь полюбопытствовала бы не кто, а как водит ее руку, пусть и при обычном девичьем гадании; она думала, что по памяти ли или дав волю воображению нарисует суженого, имя и облик которого будто бы и не представляли собой тайны. Она уже сожалела, что задала Симе тот вопрос: теперь как-то неловко стало сразу приниматься за рисование — та могла подумать, что Наташа и впрямь дерзнула, не имея права...

Ей вспомнилась рассказанная когда-то Симой история с художником кино, придумавшим портрет еще не существующего актера. Дело было на такой ранней ступени работы над фильмом, когда кроме сценария не существовало ничего; актеров не наметили на роли толком ни одного, так что художник, делая эскизы, изображал персонажей довольно условно. Однажды случайная черточка вдруг придала лицу главного героя такое выражение, что сразу понадобилось это лицо увеличить — посмотреть, каков получился человек. Схватив большой картон, художник за полночи сделал портрет — и режиссер, поднятый с постели (он жил в соседнем доме), тотчас узнал долгожданного протагониста. Еле дождавшись утра, они вдвоем бросились на поиски, но ни в картотеках студий, ни в труппах

московских театров не нашлось похожего артиста; между тем любая замена казалась теперь немислимой. Им пришлось, бросив другие дела, день за днем подробно обыскивать сперва Ленинград, затем — провинцию; удача ждала их только за Уральским хребтом.

Наташе не терпелось приняться за рисунок тотчас, но друзья ждали к столу, не начиная без девушек. Прошло больше часа, прежде чем она, тихонько проскользнув в свою комнату, взялась за карандаш. Желая, чтобы рука сама чертила линии, она в то же время знала, чего хочет от руки, и теперь серчала на нее за непослушание. Лицо на бумаге не вмещалось в правильный филиппов круг, упрямо тяготея к сильно вытянутому овалу — так, будто бы Наташа, находя наружность Филиппа слишком дурною, не могла с нею смириться; это было глупо и стыдно. Наконец она порвала бумагу, в сердцах вскричав: «Вот и Пасха, а как тоскливо!»

Сон ее потом был тревожен из-за шума вечеринки за стеной и недолг из-за привычки вставать рано: ее родители уходили на свой завод ни свет, ни заря, и Наташа если не родилась, то выросла — «жаворонком»; это свойство вечно причиняло ей неудобства, оттого что люди, среди которых ей нравилось проводить время, напротив, вели жизнь «сов». Засиживаясь вместе со всеми далеко за полночь, Наташа после, поспав всего часов пять, а то и четыре, вставала все ж по-своему. Сегодня она расстроилась, проснувшись в час, когда в доме только легли. Выпив в одиночестве чаю, она вышла прогуляться. На улице ей не встретилось ни души, и только запах весеннего костра поведал ей о чьем-то бодрствовании. «Другая осень, — вспомнила она Алешину картину, — другая весна... Сколько ни крась, такого запаха не передашь, и выйдет не печально, а тоскливо».

Когда она вернулась, Сима лежала раскрывшись, нагая, и Наташа, прежде чем поправить одеяло, долго смотрела на нее, думая, что не смотря на выгодную разницу в возрасте, во многом проигрывает подруге. Та и следила за собой куда тщательнее — маникюр, педикюр, — и тело было у нее такое, что могла бы надеть сколь угодно откровенный купальник, хотя бы из единственной ленточки. «Что ж я-то — будто стимула нет? — невесело посмеялась над собою Наташа. — Спорт забросила... Нашла парня — и успокоилась. А его надо еще и удержать. Да и кто сказал, что нашла? Без него трудно, с ним — приятно, а как подумаешь, принц ли он из сказки, так определенно оказывается, что — нет, не принц». Принца, понятно, приходилось ждать издалека: постоянно Наташу окружали всего десяток-другой человек, несомненные симпатии к которым все же выглядели умеренными, без надежды на рост; с про-

чими людьми, проживавшими по другую сторону мысленно проведенной ею меловой черты, она не находила (или не хотела искать) общего языка. К счастью или на беду, она привыкла изменять обстоятельства своего бытия не введением новых действующих лиц, а всего лишь перекрашиванием старых декораций; в новом антураже знакомые актеры начинали играть по-новому. Вот и «великий Рыдаев» изменился, на ее взгляд, когда она стала жить на его даче. Как жители разных городов, одни, например, москвичи, а другие – петербуржцы, невольно и неизбежно оказываются не похожими друг на друга ни по строю ума, ни по нравственному роду жизни, так Алеша прежний и он же нынче, в ее обществе и окруженный ее рисунками, не могли быть тождественны; более того, не будь Наташи, и в его почитателях ходили бы не те, что сегодня, люди: безвестная Наташа Шалиско не оставалась ненужной в великом круговороте мыслей в природе; даже и не ее речи и не ее акварели, а только вид комнатки, отделанной ею вместе с Симой, одни только какие-нибудь белые балки на черном потолке – и те играли свою роль в спектакле, подобно доисторической бабочке Бредбери.

Поглядеть на бабочку вечно тянуло посторонних, узнававших о ней незнамо как, во всяком случае, не от Алеши, не умевшего и не имевшего обыкновения хвалить чужое; так или иначе, но какие-то слухи расходились, и на даче становились возможными самые неожиданные гости, от зеваки с детским сачком до знатока из набоковых. Нынешний оказался случайным человеком, вовсе без снастей в руках. Он поскребся в дверь так тихо, что Сима не пошевелилась. Наташа, спавшая чутко, всполошилась спросонок, не раскрылась ли снова подруга; одеяло лежало на месте, и она подняла глаза на вошедшего – узнавая и изумляясь. Заметив ее растерянность, он было попятился, но Наташа умоляюще протянула руки, пугаясь теперь не того, что он увидит недозволенное, а того, что уйдет: подобные встречи происходят если и не раз в жизни, то и не всякий год, и такими знакомствами не бросаются даже и при полной их ненадобности, как сейчас; с гостя нечего было взять, оттого что не только на этой даче не было инструмента, но Наташе и прежде не случалось бывать в домах, где стояло бы, пусть и разбитое, пианино. Гость не представился (но она же знала имя: Раймонд Паулз), а только жестами показал, что просит прощения и переступил порог для того лишь, чтобы оглядеть эту чудесную комнату.

– Но я не сплю, – внятно произнесла Сима, не открывая глаз.

– Христос воскресе, – с чувством провозгласила Наташа, подавляя желание сказать ей: смотри, кто пришел.

– Я не православный, – напомнил Паулз.

– Как же вы сюда попали?

– Было открыто. В других комнатах спят, как после боя.

– Вы собирались разбудить их музыкой.

– Но я не сплю, – повторила Сима.

– Если бы я заиграл, – сказал Паулз, – то у многих моих недоброжелателей стали бы вытягиваться лица.

– Мне не под силу вытянуть одно-единственное, – пожаловалась Наташа. – А тут еще в соседнем дворе жгут листья. Это ведь ваша тема – опавшие листья: я имею в виду песню китайских парашютистов «Лица желтые над городом кружатся»

– Так пойте, пойте же, я подыграю. Занавес!

«Как он не поймет, – с досадой подумала Наташа, – что я ему снюсь?»

– Так пейте, пейте же, – настаивал он. – Настоящий рижский бальзам.

– На мои раны. А то все соль да соль. Но вы, кажется, шли к великому Рыдаеву? – напомнила она, тотчас спохватившись, что говорит глупость, способную обидеть Паулза – единственного здесь великого человека; тот ограничился замечанием, что не может знать всех ее знакомых. Наташа охотно согласилась, понимая, что из них двоих снится – она; сюжет его сновидения следовало развивать, но воображение отказывало и, значит, надо было будить спящего – сбросив, как водится с балкона, столкнув машины или позвонив по телефону, – но это не удавалось устроить. Оказалось очень трудно работать режиссером, не имея доступа к картотеке артистов; ей оставалось только уйти по-английски, не прощаясь. Прихватив на ходу халат, она вышла прочь; ей хотелось найти двор, где жгли желтые листья.

– Чем вчера кончились муки творчества? – поинтересовалась Сима, глядя в потолок.

– Ты не спишь?.. Мусорной корзиной, – вздохнула Наташа, вытягиваясь в постели.

– Христос воскресе!

– Воистину воскресе!

– Пойдешь в церковь?

– В городе. Хочу уехать, здесь покоя не будет.

Покоя никто не обещал и в городе, зато она могла там выбрать любое из многих дел (но работать в праздник было грешно) и немногих развлечений. Возможность выбора, однако, тем и хороша, что ее можно не использовать, и прямо с вокзала Наташа, не раздумывая, отправилась домой. Так же машинально она зашла по пути в гастроном – не

смела, по ненавистой нашей общей привычке, не полюбопытствовать, чем там торгуют и торгуют ли вообще чем-нибудь.

Двери магазина, по другому российскому обыкновению, были открыты не полностью, а одною лишь створкой, и в образовавшейся от этого давке Наташа уткнулась лицом в чье-то твидовое длинное пальто; она первым делом отметила, что — длинное, оттого что смотрела, по третьей советской привычке, не вперед, а вбок и вниз, то есть на собственную сумку (не залез бы кто) и под ноги (чтобы не ступить в нанесенную с улицы жидкую грязь). Пальто пахло лавандой, и, заинтересовавшись этой явно заграничного происхождения вещью, Наташа подняла голову. Перед ней стоял Алешин покупатель из Америки, дипломат или профессор, и с ее языка слетело имя, казалось прочно позабытое (недавно она безуспешно пыталась, неизвестно уже по какому поводу, его вспомнить): Тим! Тотчас ей стало неловко за фамильярный оклик.

Невозмутимо взяв Наташу за руку, он вывел ее из толпы — и ошеломил вопросом:

— Вы сделали автопортрет?

— Господи, вы помните! — обрадовалась она. — Но я почти и не обещала. Поэтому даже и не подумала за все это время.

Оказывается, она так плохо помнила его черты, что, хотя и узнала мгновенно, но сразу поняла, что никогда не воспроизвела бы их по памяти; вместе с тем лицо по пропорциям удивительно совпадало с тем, которое нынешней ночью упорно просилось на бумагу. «Овал, подруга, — это зеркало души, — насмешливо сказала она себе. — Вряд ли Фил сказал бы спасибо за такое уподобление чужаку».

— Моя вина, — улыбнулся ей Тим, — что не напомнил вам. Сначала я не хотел выглядеть назойливым, потом все в Москве были заняты пышными похоронами вождей и разделом имущества, а зимой заболел сын и пришлось поехать домой. Сегодня же...

— Сегодня у нас праздник, Пасха.

— Поздравляю.

— Надо не поздравлять, — засмеялась она, — а говорить: Христос воскрес. И отвечать: воистину воскрес.

— Извините меня, оказывается я это тоже знаю и даже могу рассказать анекдот. Мистеру Брежневу говорят: «Христос воскрес!» — а он отвечает: «Мне уже докладывали».

— Грустная история.

Наташа поставила на пол свою сумку, и Тим, заметив, какая это тяжесть, тотчас предложил свою помощь, но допустить, чтобы он про-

вожал ее в будничную глубину Филей, чтобы увидел, в каком грязном подъезде она живет, было невозможно. Впрочем, она и сама, в который уже раз переменяя решение, не знала, куда направится — домой или в церковь, где ей тем более не хотелось бы появляться с провожатым — туристом, а не паломником, не богомольцем; к месту в памяти всплыло услышанное во сне: «Я не православный», — и Наташа спешно отговорила неким свиданием, на которое уже опаздывала.

Жалея так скоро расставаться с симпатичным американцем, Наташа втайне была уверена, что на этот раз он не пропадет надолго.

— Спаси и сохрани, — с чувством выговорила она, уходя.



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1.

Иные дела делаются скорее, нежели сказывается сказка; как и в самой сказке, здесь многое зависит от помощников: попадутся толковые – и можно отходить ко сну с уверенностью, что утром, которое вечера мудренее, и ковер-самолет будет подан к подъезду, и хрустальный мост поставлен, и дворец – возведен. Александр Августович Лозаннский и подавно мог не беспокоиться, получив подмогу не волшебным незаконным путем, а с благословения того зловредного государя, который и заказал ему построить китайскую фарфоровую стену; здесь можно усмотреть тонкость, заключавшуюся в том, что помощники были подданными иного, враждебного государства и сами не ведали, что творили, наивно рассказывая всему свету секреты постройки у себя за морем-океаном безупречных переправ, усадеб и неприступных стен, в то время как в Москве эти рассказы мотались на ус.

Специально заведенная на фирме служба информации работала исправно, и ее начальник положил себе за правило каждое утро принести главному конструктору ровным счетом полдюжины различных материалов – сводок, статей, чертежей или газетных заметок; день на день не приходился, но из шести толстых ли томов или жалких листочков анучинские инженеры черпали столько, что им почти ничего не оставалось выдумывать самим. В курилках поговаривали, что по окончании работы все монаршие милости выпадут на долю этого начальника, затмив награды даже и самого Лозаннского. Эти разговоры доходили до последнего, и он гневался.

Время тем не менее шло не впустую, и по наступлении нового лета Александр Августович, порядком уставший, обнаружил – с некоторым даже удивлением, – что сезон споров и вольного черчения заканчивается и что задуманное сооружение, так хорошо выглядящее на бумаге, пора опробовать в действии. Будь его воля, он для испытаний – и заодно ради экономии и своего удобства – огородил бы крохотной желез-

ной занавеской свою дачку, однако министерство обороны, во всем имевшее собственные корысть и амбиции, для занятий на свежем воздухе выделило фирме площадку на далеком ракетном полигоне, где зря пропадали неоглядные просторы.

Как ни старался Александр Августович соединить несоединимое, дача так и оставалась его личным делом, и от фирмы для нее не было никакого проку, он даже не мог ездить туда в выходные дни на служебной машине.

Иногда Александр Августович с умилением и сожалением вспоминал возившие его в «Протеатр» троллейбусы (а заодно и оторванные в давке пуговицы и оттопанные чужими подошвами башмаки), тоскуя по времени, которое он теперь считал только еще предшествовавшим старости. Предоставленный самому себе, он тогда чувствовал в себе достаточно сил, будучи же помещен недругами в стерильную, как он считал, обстановку, расслабился и начал замечать неприятные симптомы, так что персональный автомобиль оказывался по сути инвалидной коляской, а секретарь – медсестрой или нянькой. Враги, правда, не были жестоки и отпускали его на субботу и воскресенье домой, чтобы старик почувствовал разницу, попробовав пожить без референта, стенографистки и шофера. Однако именно в эти дни Александр Августович особенно нуждался в машине, для поездок на дачу, и за отсутствием лучшего добирался туда «на Сене», то есть в «москвиче» Сени Ходатаева; за такую возможность следовало благодарить судьбу – только не вслух, чтобы не сглазить: сделав такую ошибку на днях, он был наказан тем, что пожилой автомобиль немедленно закапризничал, и теперь его бывшему седоку пришлось вспоминать более простые способы передвижения. Он не настолько утратил трамвайные навыки, чтобы позабыть взять у дочери ее проездной билет, но все же достаточно для того, чтобы теперь было странно видеть множество посторонних людей мало того что в близости, но еще и не через стекло. Его могли толкнуть или обругать как равного или низшего: ни одна живая душа на улице не ведала, что будущей безмятежностью своего бытия она обязана этому интеллигентному пенсионеру. «А ведь совсем недалеко, – вспомнил он, – ушли те времена, когда главным конструкторам присваивали генеральские звания. В толпе или на балу, но по лампасам за километр было видно, что ты за птица». По его нынешней – дачной, какую не жаль запачкать землей, – одежде за километр было видно огородника.

Недовольный своим инкогнито, Александр Августович пошел из дому кружным путем, давно им не хоженным, с недоумением замечая, что ничто оставленное им без внимания не исчезло и не пришло в не-

годность: что в подворотне как стояла, так и стоит чугунная тумба, что по-прежнему навевает уныние окно швейной мастерской и, напротив, радует глаз витрина маникюрного салона «Мастер на все руки» и что на перекрестке мирно уживаются в одном строении анонимный, без вывески, вытрезвитель и заманчивая контора, обозначенная надписью золотом на черном фоне: «Срочное увековечение памяти». Сам он предпочел бы – досрочное, и уже давно хотел, в надежде на существование посмертных привилегий, выяснить, возможны ли тут варианты, да не мог собраться с духом; его пугал не вход, а выход: двери обоих замечательных заведений располагались так близко одна от другой, что между ними едва умещалась ладонь, и соседи по дому, вполне способные оказаться на улице в неподходящий момент, могли, увидев Александра Августовича покидающим здание и не разобрав, откуда он появился, заподозрить худшее. Видимо, следовало послать на разведку зятя.

Полюбившему за последнее время мыслить государственно, Александру Августовичу пришлось было в голову завести подобную контору и в Анучине, о котором он, один из отцов района, считал своим долгом заботиться, словно о собственной усадьбе, но через минуту он отверг вздорную идею, представив, что случилось бы, когда б всякий трудящийся мог оставить память о себе навеки; беспримерному учреждению лучше было б оставаться единственным в своем роде, по-прежнему располагаясь в удобной близости от дома Александра Августовича.

Занятый этими размышлениями, он, спустившись в метро, забыл предъявить билет контролерше, попросту не обратив на нее внимания.

– Мужчина! – с чувством закричала она, сдергивая свою красную фуражку.

Александр Августович не принял призыв на свой счет, справедливо полагая, что если кому-то здесь и требуется мужчина, то не такой старый. Она же не умолкала:

– Мужчина! Показывать надо!

Шедший следом за ним розовый молодчик обрадовался возможности сосрить:

– За показ, мамаша, деньги платят.

Пока дежурная искала слова для достойного ответа, они оба уже вошли на эскалатор. «Показывать, показывать! Да у вас тут у самих черт знает что спрятано – вы показываете?» – недовольно проворчал Александр Августович, и тут его осенило: он вспомнил о здешних занавесах противоатомной защиты, должных в случае чего закупоривать станции; теперь он уже не понимал, как умудрился не связаться с их конструкторами, прежде чем по букровке выискивать подсказки в аме-

риканских журналах. Виною всему он счел свой отказ от пользования общественным транспортом. «Страшно далеки они от народа», – осуждая, отстраненно подумал он о тех, что, не ступая на родную землю, передвигаются в казенных авто и оттого не знают жизни.

В месте, где коридор был рассечен для установки потайной преграды, он приник к стене, благо одна из прикрывавших разрез створок показала ему пригнанной неплотно. Палец кое-как вошел в щель, но крышка, тяжелая и для обеих рук, не подалась. Александр Августович, однако, не напрасно возил с собою инструменты; с граблями тут было не развернуться, но стамеску он, кажется, сумел бы приладить с толком – и приладил.

– Что это вы замышляете?

За его спиной стояла, руки в боки, очередная женщина в фуражке.

– Интересно было бы открыть, – простодушно поделился с нею Александр Августович, не понимая, что одно только его платье способно вызвать подозрение. – Профессиональное, друг мой, любопытство.

– Знаем вашу профессию.

– Откуда же? – искренне удивился он, тем не менее сообразив, что теперь лучше всего уйти своей дорогой; не тут-то было: его цепко держали за рукав.

Рядом тотчас образовались кое-какие зеваки, а вскоре появился и милиционер с классической репликой: «А я говорю: пройдемте».

Каморка, куда привели Александра Августовича, потрясла его своим убожеством – голый лампочкой на грязном шнуре, до половины окрашенными зеленой масляной краской стенами, обильно залитым чернилами столом.

– Подумать только, – поделился он впечатлением с поджидавшим его лейтенантом, – ведь другая сторона вашей стены облицована мрамором!

– Разговорчики! – рявкнул тот. – Мрамор ему подавай! Может, и сортир из золота?

– Нет, зачем же.

– Выкладывайте, что у вас в карманах.

Поначалу Александр Августович ослушался, не поняв, смеются над ним или грабят, и лишь при повторном требовании, подкрепленном понятными каждому жестами, вынул из кармана прежде прочих предметов пропуск в министерство, впрочем, не сообщавший о владельце иных сведений, кроме имени.

– Что это за филькина грамота? – скривился лейтенант, на которого не произвели впечатления ни герб, ни кожаная обложка. – Паспорт надо иметь, а не пропуск в баню.

– То есть? – возмутился Александр Августович, и в его голосе прорезались барские нотки. – Чтобы получить такую грамоту, надо носить не лейтенантские, а генерал-лейтенантские погоны. Вам, при ваших манерах, не дослужиться.

– Разговорчики! – снова оборвал его милиционер, измеряя презрительным взглядом жалкую фигуру дачника, и, обернувшись к ожидавшему приказу сержанту, распорядился: – Приведи-ка понятного.

Александр Августович понял, что его дела плохи. Кое-как поторговавшись, он лишь узнал, что, оказывается, «пытался вскрыть кожух совершенно секретного устройства стратегического назначения».

– Эти устройства предназначены... – продолжал лейтенант.

– Замолчите, – нашелся арестант, усугубляя известный нам тон в голосе. – Не выбалтывайте все секреты сразу. Иначе у вас и этих-то погон не останется.

– Многие тут хорохорились.

– Извольте позвонить по номеру, который я вам продиктую.

– Вашей старухе?

– Моему заместителю по режиму, полковнику Маматюку.

– Насчет матюков мы и сами с усами, – хохотнул лейтенант, все же насторожившись при упоминании о режиме. – Но вы, собственно, что из себя представляете?

– Вот бы с чего начать, – сухо сказал Александр Августович, довольный тем, что обошлось без рукоприкладства. – Я – главный конструктор оборонного предприятия.

– Кого только я тут не видел... Были бы вы таким главным, знали бы порядок. Но давайте ваш телефон. Посмотрим, что там за матюки.

Дело едва не испортил сержант, вернувшийся с понятным.

– Освобождайте карманы, – вернулся к старому офицеру.

– Вы позвонить собирались.

– А человек будет ждать?

– Человека отпустите.

– У меня, в конце концов, деловое свидание, – обрадовавшись поддержке, воскликнул понятый.

– Здесь все деловые, других не берем, – усмехнулся лейтенант. – Что же, сержант зря работал, приглашал? Нет уж, давайте играть по правилам.

Александр Августовичу пришлось выложить на стол и еду из сумки, и содержимое карманов: очки, ключи и деньги, довольно много, двести с лишним рублей – как раз, наверно, милицейское месячное жалованье. Обозрев это, лейтенант вдруг занервничал; едва дождавшись

подписи понятного, он тотчас отослал того вместе с сержантом прочь. Из дальнейшей задушевной беседы Александр Августович понял, что может хоть сейчас выйти на свободу, но без денег и колбасы.

– Позвоните, куда я сказал, а потом посмотрим, – брезгливо сказал он и гордо проследовал в камеру, уже занятую не по времени нарядной девушкой.

Угадать род занятий соседки не представило труда, даже при полной уверенности Александра Августовича, как и всякого прилежного читателя газеты «Правда», в том, что такового не существует в советской природе. Попасть в подобное общество еще четверть часа назад было для него так же невероятно, как посетить, допустим, индейскую резервацию, но коли это случилось, он вдруг возжелал этнографических исследований.

Предмет его научного интереса, однако, и сам был любознателен.

– На чем попался, дедуль? – участливо спросила девица и, увидев, как оскорбленно он вскинулся, поторопилась справиться: – Ничего, что я так обращаюсь? Ласково же.

– На ласку не обижаются, – жалея соседку, отозвался он, все ж – вымученно.

– Ну и ладушки. Так за что же – талоны на водку, что ль, продавал?

– За шпионаж.

– Отпад! – восхищенно выдохнула девушка, напомнив ему этим словечком Зинаиду. – Но при чем здесь менты? За вами с Лубянки должны бы приехать.

– Дело-то – пустяковое: просто мне захотелось узнать, что прячется за одной дверцей.

– Дотошный вы народ, пенсионеры.

– Положим, друг мой, я не пенсионер и оставлять свою должность в ближайшие годы не собираюсь.

– Теплое местечко?

– Не то, что вы думаете, – печально ответил Александр Августович, вдруг почувствовавший себя самозванцем. – Я – директор.

Он не оборвал фразу, а поставил многозначительную точку, и девушка поняла его.

– Только не признавайтесь ментам, не то обдерут, как липку. Скажитесь сторожем – вид у вас подходящий.

– Признался уже.

– Теперь перед своей бабкой не отчитаетесь.

– Я без бабки обхожусь: несколько лет как в разводе. Да она и умерла уже.

– Так вы у нас жених! – рассмеялась она. – Имеете шансы: начальник да еще с юмором. Стоит подумать. Женатому-то лучше было, а?

– Помню, в браке было плохо. А почему плохо – забыл.

– Грамотно: зачем плохое помнить? Здоровье надо беречь. В Богато хоть верите?

– Я член партии.

– Горе с вами... Оно, правда, понятно: начальство. Жена – тоже была партийная?

Он покачал головой, и девушка уверенно заключила:

– Потому и ушла. Я бы тоже не вынесла.

– Что это такое вы говорите? – возмутился он. – Думаете, вам все дозволено? Суть, впрочем, не в этом, да ведь и нету жены-то, вот беда. А была она, что называется, настоящей беспартийной коммунисткой. Возможно, партия тем и сильна – такими людьми. А кто кого не вынес – это вопрос обоюдоострый. Кое-кто считает, что я не вынес кошек в доме – и это правда: мелочь, но какой стоял запах! И таких мелочей сошлось в одну точку премоного. Обидно вспоминать, но и разница в происхождении сыграла свою роль: покойница, сама из рабочей семьи, аристократка, можно сказать, революции, не терпела всяких, как теперь выражаются, «белых воротничков».

– Мы с подружками иначе сходимся, не разбираемся в анкетах.

– В которых я до сих пор спокойно писал: не изменял, под судом и следствием не состоял... И что же? Вот, попал за решетку. Как теперь жить дальше? Впрочем, мне начинает казаться, что я когда-то уже был арестантом.

– Вы что, снова о своей женитьбе?

– Да вы в самый корень зрите! – удивленно воскликнул Александр Августович, недоумевая в то же время, как его угораздило так разоткровенничаться с незнакомой девицей из резервации, но уже не находя сил остановиться. – Только вы не угадали, я имел в виду нечто другое: известны состояния, когда кажется, что ты однажды уже прожил эту самую жизнь. И знаете, надежда разгорается, что и этот раз не последний. К тому же место, в которое мы с вами, друг мой, попали, весьма способствует размышлениям. Если помните, наши основоположники, революционеры, прогуливаясь по камере из угла в угол, сцепивши руки за спину... К чему это я? Когда моя дочь ходила в школу, я прочитал в ее учебнике о гражданской казни Чернышевского – и поразился мягкости законов: что это за наказание, по нашим-то временам? Ах, да, вы же о моем браке спрашивали. Так вот, дома, при супруге, по комнате особенно не пошагаешь. Между собою мы больше о том говорили, где и

какие купить продукты, это и было сиюминутным решением вопроса о том, быть или не быть, так что монологи, если бы и успевали сложиться, трудно было бы куда-нибудь вклинить. Позже я все-таки выговорился – произносил монологи перед маленькой внучкой, несмышленным: считал, что непонятные ей слова не пропадают впустую, а где-то накапливаются и, когда придет пора, могут быть вызваны из глубин. И что вы думаете – остались в глубинах. Вся моя воспитательная работа пошла прахом: какие-то кошмарные вкусы, из кавалеров можно эскадрон составить – не представляю, что она с ними делает.

– Вполне можно представить, – хихикнула она. – Вы, небось, редко видите?

– Напротив, всегда на глазах: живем вместе. Вот разве когда я на даче, а она в городе...

– У вас и дача есть! Богатенький Буратино.

– Дача! – воскликнул он с горечью. – Такие времена пошли, что у меня – у меня-то! – садовый участок в шесть соток с холодной хибаркой, сколоченной вот этими руками! Представьте, мне все дают, а дачу – не дают. У того же пресловутого Королева, такого же главного конструктора, был целый особняк возле Выставки, то есть и дача, и городской дом вместе, а я живу в одной квартире с зятем. Вот как все вокруг мельчает!

– Кто это Королев?

– Королев? – он задумчиво покашлял. – Видно, вы и вправду ровно ничего не знаете.

– Работа такая – некогда.

– Что ж, впредь буду объяснять примеры.

Затруднившись и с этим, Александр Августович махнул рукой и пообещал вообще не приводить примеров, тем более, что тому, кто прожил свой век среди безвестных людей, трудно потом, упоминая именитых или богатых, избежать предвзятости. В конце концов, не так давно и сам он работал простым инженером, и те годы были куда лучше нынешних. Он считал, что при всех ударах жизнь его не потрепала: общая ее линия, подобно раз и навсегда прочерченной на ладони, не нарушилась. Следовало постараться и остаток ее прожить без происшествий.

– Как же без них? – возразила девушка. – Всегда ждешь чего-то интересного. Вот и здесь – недаром нас заперли вдвоем. Дверь, правда, сквозная.

– Если не сказать – решетка. К тому же, вы знаете, сколько мне лет?

– До черта. Но вы, кажется, дедуля хоть куда.

– Напрасно вы, друг мой, так снижаете градус. Только мы начали рассуждать о чем-то значительном...

– Куда уж значительнее, – засмеялась она, – тем более – в вашем возрасте. Извиняюсь, но вы сами же сказали. И все же: вдруг произойдет, а вы и не ждали?

– Произойдет в камеру наш лейтенант, а вы, виноват, в неопишумой позе. Поверьте, я не потрясенный жду, а достижений, пока еще чувствую способность сделать многое для людей. Вот ведь в чем высшее удовольствие. Мещанское словечко – счастье, но у кого оно еще есть, как не у меня?

– Да у меня же!

Над этим Александр Августович надолго задумался. В первую секунду он хотел было возразить, да второпях не нашел достойных слов, а когда момент был уже упущен, утешил себя тем, что и не собирався спорить с девчонкой – не ровней и не соперницей ему ни в чем. В то же время для него едва ли не открытием было, что и она, приведенная сюда – он не сомневался – за вполне понятные грехи, тоже бывает счастлива; трудно было придумать, в чем может заключаться ее счастье.

– Еще древние поняли, – наконец с неохотой выговорил он, – что кесарево – кесарю...

– Сечение, – уточнила девушка. – Не дай бог.

Теперь Александр Августович раздражился, сбитый с мысли; ему лишний раз показали, что надобно жить только среди равных себе (эту аксиому зачем-то приходилось всякий раз доказывать), тогда каждый получал бы по заслугам. Станным образом мало кто понимал, что есть люди, которым почет и уважение причитаются и пожизненно и посмертно. Вопреки слышанному от многих, будто ему под конец жизни просто повезло, сам он считал свой запоздалый успех закономерным: войдя в круг избранных, он только получил причитающееся издавна; в этом мире каждый в конце концов получал написанное на роду. Как пример Александр Августович припомнил Циолковского, бывшего, как известно, сумасшедшим, а значит, и должного пребывать там, где положено гениям; он же пытался увлечь своими картинками заведомо трезвых людей – так и умер нищим.

– Так он умер? – искренне удивилась девушка.

Александр Августович опечалился.

– Был и со мною подобный случай, – неуверенно пробормотал он, – много лет назад. Вернулся я из недолгой командировки, являюсь в

институт и вижу, что вахтер смотрит на меня нехорошими глазами, а через секунду и вовсе бежит с поста. Собственно, это потом я вспомнил его взгляд, а пока что прошел в вестибюль и увидел там на стене свое огромное фото и некролог. Меня затошнило, как будто это был не лист ватмана, а самый труп. Решив, что со мной сыграли неумную шутку, я буйствовал. Однако, друг мой, несколько придя в себя, я подумал, что вот – удобный повод начать жизнь сначала (подобную историю я, кажется, читал), но – не начал, отнюдь. На другой день я попытался выяснить, кого из моих коллег искренне расстроило траурное известие: мысленно расставил их у гроба – и увидел, что никто из них не произносит нужной речи: большинство не хочет и лишь два-три человека – не умеют. Знаете, подобное случалось, когда я водил внучку в цирк. Мне бывало страшно за акробатов, очень небезразлично, кто должен подбежать к разбившемуся, и обидно, что нельзя сделать это самому – из-за неумения утешить.

– Это мертвого-то?

– Ах, опять вы... Просто я редко нахожу, что сказать другому в его неблагополучии.

– Внучке-то сказки рассказываете?

– Скорее – она мне. И сказки рассказывает, и сюрпризы преподносит. Позвольте, какие сказки? Она студентка. Весьма любознательная девочка, все норовит испробовать на себе: сущий летчик-испытатель. Теперь вот пробует дружить с художниками, и я опасуюсь, что с нее станет подрабатывать натурщицей.

– За такое дело, наверное, хорошо платят. Я бы тоже не отказалась позировать.

– Лучше бы они писали пейзажи. У меня на даче – замечательные виды. Там знаменитости жили: Эренбург, Ворошилов, Стаханов. Впрочем, Стаханов – не здесь.

– У вас свои знакомые, у меня – свои.

– Мой зять тоже...

– Знаменитость?

– Что вы, друг мой, какая знаменитость? Но к чему бы это я?..

Вспомнить, что он хотел сказать о зяте, Александру Августовичу не удалось, потому что за решеткой вдруг возник здешний лейтенант, определенно взволнованный; позади него тусклая лампочка высветила незнакомого, решительного вида мужчину в пиджаке и при галстук («Ишь, орлиный взгляд», – заметила девушка) и запыхавшегося долгожданного Маматюка.

## 2.

Чем сокровеннее мечты, тем сильнее нуждаются они в подкреплении хотя бы слухами, хотя бы чем; благоприятные для тайных надежд домыслы охотно принимаются на веру и пускаются в рост. Зеркало в конце туннеля вовремя разоблачается скептиками, но и в их толпе попадаются якобы знающие выход на поверхность — и таких находится тем больше, чем больше на пути встретится препон и запретов: сладость библейского плода общеизвестна.

Подобным плодом в затронутые здесь времена (особенно для тех, кто работал на холодную или какую-нибудь другую войну) являлись путешествия по свету. Жажущим и алчущим их внушалось, что сей виноград зелен: в чужих землях, мол. и негров вешают, и дышать трудно из-за выхлопов расплодившихся машин, и с едой случались трудности, когда ее производили столько, что часть приходилось сжигать. Все же если возможности выбора не было, то ее следовало выдумать, и по Анучину пополз слух о том, что, хотя занавес Лозаннского не опробован даже на заводском дворе, на него уже поступают заявки из дружественных стран, например, из Кубы — страны рома, гаванских сигар, пляжей и прекрасных мулаток, — куда для его установки и приведения в действие будут направляться наши специалисты. Поговаривали и о замене Берлинской стены.

За всю свою жизнь Понипартов не встречал живого счастливого, побывавшего в иностранном государстве, хотя бы в Болгарии, цена которой с математической точностью определилась народной формулой: «Курица не птица, Болгария не заграница»; такие только выступали по телевизору да публиковали путевые заметки, но все они были коммунистами, то есть людьми, послушными партийной дисциплине, и потому — ненадежными свидетелями. Каждый из них пересказывал лишь небольшой тайно рекомендованный кусочек лжи, но аккуратная мозаика, какую любой терпеливый человек сумел бы сложить из этих кусочков, вполне могла маскировать отсутствие самого предмета — какого бы то ни было зарубежья. Создание светлого образа чужбины было, конечно, делом рук спецслужб, которым удачно подыграл здоровый инстинкт самосохранения обывателей, обыкновенно слабо верящих в загробную жизнь, но ищущих рай на земле; подозрения в этом подтвердились созданием железного занавеса (вернее, в ранние-то годы — его фантома), который загоразживал от любопытных то ли чужие безобразия, то ли пустоту, одновременно вряд ли препятствуя распространению вражеских радиоволн вплоть до глубины сибирских руд, зато наверняка служа антенной для передачи туда же своих, как раз за

вражеские и выдаваемых; в этих догадках легко обнаружить долю черной иронии, однако и в самом деле нельзя слепо верить в то, чего не видел своими глазами и своими членами не осязал.

Для дальних командировок, едва они показались сбыточными, тотчас нашлось великое множество добровольцев, и в курилках придумывались списки имен тех, без кого невозможно обойтись при сборке или наладке занавеса; во всяком значилось имя Понипартова, совершенно немислимое в подлинном приказе, оттого что он обладал сразу двумя серьезными недостатками: был и беспартийным и холостым.

— Не понадобятся ли там художники? — полушутя предположил он однажды. — Нет на свете забора без фресок и надписей.

— Возможно, — равнодушно согласилась Наташа. — Только кто же выпустит незамужнюю девицу?

— Так перестань быть таковой, — простодушно посоветовал Филипп. — Давай, как говорится, объединим свои капиталы. Супружеским парам наверняка отдадут предпочтение, а там, не ровен час, простят и прочие грехи.

— Не делаешь ли ты мне таким образом предложение?

— Ни в коем случае. Только готовлю почву и выясняю твое отношение к этому шагу. Нет, какое же предложение, когда я не во фраке да и обстановка, прямо скажем, не располагает?

Место и впрямь не подходило для заявленной церемонии: тесный салон автобуса, в котором они, изменив привычному метро, ехали с работы, кто куда: Наташа, приглашенная школьной подругой на девичьи посиделки, разрешила Филиппу проводить ее, но не более того; потом он был, увы, свободен. Уже не раз, грозя перейти в обыкновение, случалось, что он провожал Наташу в запретные для себя места.

— Не торопись, — улыбнулась Наташа, — до Кубы еще надо дожить.

— При чем здесь Куба? Наташа, милая, это же предлог только, очень удобный. Неужели ты думаешь, что я мог бы так оскорбить тебя? Напротив, ради твоего согласия я готов отказаться от всего, не только от этой поездки. Просто все мы — рабы условностей, несчастные люди: хотим одного, а говорим о другом, послушать — сплошные аллегории.

— Разве счастливые люди есть где-нибудь?

— Говорят, что есть — свободные. Нам-то сейчас кажется, что в свободе и заключено все счастье, а так ли это, мы никогда не узнаем.

— Кругом ждут каких-то перемен, — напомнила она. — Ты в них не веришь?

— Как же не верить — жизнь и есть цепь перемен: человек родился — одна перемена, умер — другая. Воли же нам век не видать, потому что

КГБ всемогущ, бессмертен и не даст созреть противным себе силам. Друг не дремлет, Наташенька.

– Но люди-то шепчутся, насторожились. Газеты стали сами на себя не похожи...

– Да, да, в них пишут такое, о чем год назад боялись даже подумать. Вот анекдот: райкомовский работник звонит коллеге: «Читал нынешнюю статью в “Правде”?» – «Тише, тише, это не телефонный разговор».

– Стихи Гумилева появились...

– Ну, это капризы первой дамы – вещь, как известно, недолговечная. Они проходят, а мы остаемся жить, как жили, – за железным, за меть, занавесом.

– Угораздило меня вляпаться в это кагебешное дело.

– Платят, все ж. С паршивой овцы хоть шерсти клок. И тем более надо урвать хотя бы эту поездку.

– И ради такого пустяка жениться?

Филипп застонал.

– Не принимай все с такой звериной серьезностью, – засмеялась она. – Трамвайные разговоры – что курортные романы.

– Но и те иной раз кончаются в церквах. И сразу становятся ненужными и пальмы, и сахарный тростник, и красавицы мулатки.

– Если только не строить для них из этого тростника шалаши.

– В Разливе, – уточнил он, печально думая, что для постороннего они с Наташей вполне могли бы сойти за влюбленную пару – если бы тот не прислушался к их разговору.

Улица, на которой они вышли из автобуса, была почти незнакома Понипартову; он проходил по ней однажды много лет назад и теперь помнил только навеянное ею ощущение смертной скуки, какого не вызывали даже кварталы откровенно убогих хрущевских пятиэтажек; тут не было ни магазинов, ни зелени, а сплошь стояли одинаковые невысокие коробки из серого кирпича; подслеповатые окна первых этажей все до единого были зашторены изнутри, а снаружи забраны стальными решетками. Этот район массовой послевоенной застройки когда-то считался престижным: в годы его заселения получить новое жилье простому человеку было нелегко, и новоселье здесь справили люди либо важные, либо денежные, либо пользующиеся покровительством тех и других; со временем все они переехали в лучшие квартиры, уступив место невидному лицу. Жили здесь, кажется, спокойно – настолько, что и вовсе не проявлялось жизни, и Филиппу вдруг пришла в голову мысль, что местным обывателям негоже заводить детей, оттого что из ребенка, выросшего на пустой серой улице, не может получиться ничего интересного. Он уже собрался

было посочувствовать наташиной подруге, как недолгая прогулка вдруг оборвалась: ему было сказано, скороговоркою, что они пришли и что дальше провожать не стоит; остановились же они на перекрестке, у края тротуара, и Филипп, уязвленный, по-мальчишески принялся настаивать на том, чтобы довести девушку именно до двери, а когда услышал твердый отказ, то, назло неведомой подруге, которая, он надеялся, уже могла видеть их из своего окошка (и даже определенно видела – судя по тому, как занервничала его спутница), потребовал прощального поцелуя. Наташа не посмела противиться, и он, обняв ее властным жестом супруга, поцеловал – с горечью.

### 3.

Будучи на несколько лет старше родного государства, Александр Августович успел усвоить и сумел сохранить некоторый набор старорежимных манер: знал, например, с какой стороны от дамы идти по панели, как обходиться за столом с хлебом и даже на какое место садиться в автомобиле; постижение им последнего правила объяснить трудно, так как вряд ли он почерпнул нужные сведения из романов, которых читал не много, а тем паче – из собственного опыта: вплоть до самых последних месяцев легковые машины отсутствовали в его обиходе. Не водилось авто и в семье родителей: отец Александра, путевский инженер, то есть человек, заметный в обществе, был все же не так богат, а после революции не так близок к учреждениям власти, чтобы завести механический выезд. Последнее из двух обстоятельств, а именно – слабое знакомство с властью предрержащими, возможно, спасло его от многих ужасов, позволив в тридцатые годы умереть своей, от профессиональной болезни, смертью – под колесами поезда. Машину с шофером не пожаловали и отчиму, пехотному командиру, так пешком и прошагавшему до столь же естественного недуга, свалившего его на озере Хасан. В силу этих обстоятельств Александру Августовичу было бы простительно полное незнакомство с пассажирским этикетом, однако он ни секунды не колебался, когда ему впервые подали к подъезду «Волгу», а сразу уселся, вопреки советскому обыкновению, не рядом с водителем, а на заднем диване – наискосок, чтобы уместились ноги.

Он предпочел бы ездить в одиночестве, как и подобало, но инженерские добрые привычки пока еще брали верх и он вечно подвозил кого-нибудь на пустующем переднем месте, даже если пассажиром оказывался тот, кто и сам мог бы подвезти, или человек, ему несимпатичный. Секретарь парткома Пекшев относился к обоим этим разрядам, ко второму – уже потому хотя бы, что Александр Августович не

мог и не хотел понять, как себя с ним поставить: с одной стороны, ему не следовало бы считаться с профаном в технике, бывшим начальником столярного цеха, с другой – тот представлял на фирме партию, определенную Конституцией как руководящая и направляющая сила общества, и потому рвался руководить и направлять. Только что, в кабинете, с ним вышел неторопливый, но и неприятный спор о плане и сроках, которые, само собой разумеется, срывались, в чем Пекшев усматривал ущерб для мирового коммунистического движения; его собеседник, наивный главный конструктор, отговариваясь заученными фразами, таил трезвую мысль о том, что надо радоваться хотя бы какому-то результату, а не времени его достижения. Еще недавно не чая дожидаться начала испытаний, однако же дождавшись, он теперь всерьез пугался следующего за оными строительства занавеса на границах, не понимая простой вещи – откуда возьмется столько рабочих и железа – и здесь-то будучи уже совершенно уверен в недостижимости цели. Пекшев терпеливо разъяснял, что партия рассчитывает на труд заключенных и на поставку металла вероятным противником в обмен на нефть.

Из вежливости Пекшев сидел боком, не пристегнувшись ремнем, но Александру Августовичу больше всего хотелось, чтобы тот отвернулся и замолчал, не мешая ему думать о необходимых для поездки на полигон покупках.

– Кошки на душе скребут, – вздохнул Пекшев. – А снаружи Федор Абрамович Масалкин скребет.

– Стройка века – она стройка чего? Века, – дерзнул философски рассудить Александр Августович, мысленно разъясняя: «Погнались за Америкой – вот и отстали. Положись мы на свою голову – давно бы соорудили что-нибудь путное: а то в России заборов не строили!» Вслух же он продолжил довольно желчно: – БАМ, простую железную дорогу, и тот не удается довести до ума, а уж с нами-то, друг мой, всем придется набраться терпения. Кстати, в российских традициях – ставить ограду позже дома.

– Да еще – из горбыля. Федя Масалкин нам покажет традиции!

– А не пора ли нам, Витольд Петрович, уяснить место товарища Масалкина? Лично я получаю указания в ЦК и в Президиуме Совета Министров, и меня только раздражает, что ваш прямой начальник смотрит в мою тарелку. Вот-вот начнутся работы на полигонах, то есть вообще в другой республике, – и что же, прикажете и оттуда внимать секретарю какого-то Анучинского райкома? И с министром обороны, и с военно-промышленной комиссией оттуда буду связываться я, а Федя, как вы его называете, мне не понадобится ни как передаточное звено, ни как пятая колонна.

– Что вы, что вы так разволновались, Александр Августович? Никто ведь не посягает... Хотя с вашей стороны, извиняюсь, это прямо ниспровержение основ.

– Обычный переход на новый уровень, – буркнул Александр Августович, затруднившись представить, какие, откуда и каким образом ему возможно ниспровергать основы, и обрывая надоевший разговор, сказал уже решительно: – Масалкин – санитар леса. А ублажать пристало бы – царя зверей.

В приятной беседе они и не заметили, как доехали до центра.

– Развернитесь, друг мой, у Манежа, – велел Александр Августович, похлопав по спинке шоферского сиденья, – и остановитесь у музея Ленина. Витольду Петровичу будет удобно спуститься в метро, а я пойду на Красную площадь, у меня еще есть дела.

– Вас ждать? – безучастно спросил шофер.

– Нет, пожалуй. Вы свободны.

Как бы в долгом прощании спустившись вместе с Пекшевым на несколько ступенек в подземный переход, чтобы задать тому верное, прочь от площади, направление, Александр Августович затем поспешил своей дорогой – не по служебным делам, не в Кремль, а – в ГУМ.

Войдя в магазин, он замер, не в силах справиться со старческим умилением; ему не доводилось бывать здесь со времен «Протеатра», а с тех пор утекло немало воды. Всегда с удовольствием ходивший за покупками и теперь вообразивший едва ли не возвращение в молодость, он улыбнулся: «Что ж, тогда мне не было и семидесяти».

Домашние, резонно рассудив, что в глухомани может не найтись самого необходимого, составили изрядный список того, что Александру Августовичу следует приобрести перед командировкой; в перечне соседствовали сгущенное молоко и полотенца, два сорта мыла и кипяtilьник, шампунь (шутка внучки) и копченая колбаса. Купить все это брались Виктория и Карина – все, кроме сандалий и соломенной шляпы, требующих примерки; за ними-то Александр Августович и направлялся. Но если в обувной секции он сразу нашел то, что искал – порядочную дрянь, резиновые подошвы с ремнями крест-накрест, – то со шляпой вышло не так гладко: выставленные на витрине фетровые и кожаные головные уборы годились разве что для московской осени, да и то – поздней, но только не для азиатской жары.

– Зайдите в секцию сувениров, – морща лобик, неуверенно посоветовала продавщица. – Там бывают тибетейки.

– Но я хотел – с полями, от солнца, – возразил он. – Канотье. Хорошо, пусть – тибетейку, но с козырьком.



– Слушай, дед, тебе вот что нужно, – подтолкнув его локтем, живо зашептал случившийся рядом парень в полотняной велосипедной шапочке – на нее и указывая пальцем. – Отдам за пятерку.

– Рубль двадцать стоит, – предупредила продавщица. – И торговля с рук запрещена.

– С рук! А я – с головы продаю. И вообще помалкивай, – шикнул на нее парень. – У тебя такой и за трешку нету, а мне она дорога как память.

– Вот три и даю, – твердо сказал Александр Августович, протягивая деньги. – И нельзя ли примерить?

– Она ж на резинке, безразмерная. Хотя, меряй, не жалко.

Глядясь в зеркало, Александр Августович озадаченно протянул:

– Физиономия, однако...

– Вот уж за что не отвечаю.

– Шляпу надобно, друг мой, шляпу. Я не поэт какой-нибудь.

Покупка все же радовала его – настолько, что у себя в подъезде, благо в лифте висело зеркало, он вытащил шапочку из портфеля и лихо надел набекрень.

– Полный атас! – зашлась в хохоте отворившая ему Карина.

– Разумеется, Карюша, с городским костюмом это не сочетается. Но не буду же я носить в пустыне галстук.

– Можно подумать, что ты собираешься гоняться на верблюдах за басмачами. Товарищ Сухов с чайником!

– Не исключено, друг мой, что там придется жить даже в палатках. Представь себе эти огромные пространства, где нет никого, кроме военных. Не будут же они ставить для себя небоскребы.

– Ох, военные! Мне бы туда!

– В палатке можешь пожить и в Подмосковье, – не поняв восклицания, заметил он. – Купи, если хочешь, и поставь возле дачи.

– Что вы шепчетесь в передней? – выглянула к ним Виктория. – Боже, что за наряд!

– Дедушка маскируется под чудака-академика, – объяснила Карина. – Он трезво рассудил, что в наше время одеваются сообразно протоколу только клерки.

– Я устал, – вдруг с удивлением признался Александр Августович.

Усталость, вызванная, видимо, пустынной прогулкой по универмагу, навалилась совершенно неожиданно: только что он резвился, примеряя легкомысленную шапочку, как в секунду ноги сделались ватными, язык – непослушным, а на изнанке закрытых век замерцали искорки. Александр Августович вспомнил совет своего врача не смотреть на пе-

стрые мелькающие предметы, то есть не увлекаться телевизором, не печатать на машинке и тексты не просматривать бегло, а читать вдумчиво, с расстановкой, лучше вслух, но ведь никакой особенной пестроты в магазине он не заметил, а состояние теперь было такое, будто на нем возили воду. Не сняв пиджак, не прикрыв даже за собою дверь, Александр Августович рухнул в кресло. Он подумал, что в прошлом году не был в отпуске и что надо плюнуть на все и поехать куда-нибудь подлечиться, тем более, что ему по чину положена путевка в дорогой санаторий, – и теперь понял, в какой момент почувствовал слабость: после сравнения с академиком; это было больное место. Его желаемое членство в Академии наук не сходило у женщин в этом доме с языка, равно как и выпрашивание в верхах казенной дачи и новой квартиры, в которой, по замыслу Виктории, следовало неведомо каким образом прописать и Карину; сам Александр Августович, будь его воля, спокойно прожил бы до конца дней на старом месте, в давно устроенной им по своему вкусу комнате, где мог бы с закрытыми глазами найти любую вещь либо, напротив, смотреть на любую, не видя ее без нужды и не опасаясь пестроты и мелькания. Женщины, однако, приводили неопровержимые доводы, и он, не желая ссориться, отступал и сдавался понемногу, делая нужные намеки сильным мира сего и с отвращением интересуясь ходом жилищного строительства в заштатном Анучине.

Немного успокоившись, он переоделся и заглянул на полку шкафа, где обычно лежали чистые сорочки, – там не было ни одной. «Вот отличный повод не пойти завтра на работу, – улыбнулся он. – Но что же будет, когда я перееду в отдельную квартиру? Придется завести экономку? Или тогда уже – любовницу?»

– Деда, ты оделся? – спросила из-за двери Карина.

Он позвал ее, все еще стоя перед открытым шкафом.

– Собираешься в школу и не можешь найти пионерский галстук? – мгновенно оценила положение внучка. – А, рубашки... Не волнуйся, я как раз собиралась гладить и папины и твои. А пока мне нужен словарь.

Она сняла с полки том энциклопедии.

– Что нового в институте? – поинтересовался он.

– Что там может быть нового? Никак не напишу курсовую, но и это не новость. К тому же есть более интересные дела. Вот, например, идея: организовать клуб по интересам, – сообщила Карина, глядя почему-то с необыкновенным озорством.

– Общественная работа?

– Типун тебе на язык! Частный клуб, для художников.

– Частный? – он оторопело уставился на Карину. – Где это слышно? Да тебя посадят за содержание притона.

– Вот-вот! – прыснула девочка. – Но тут, правда, очевидны трудности с первоначальным капиталом. А что касается общественной работы, то мне предложили в порядке шефства выпускать в женском общежитии стенгазету «За мужество».

– Боюсь, что это не твоя тема, – улыбнулся дед, расслышавший все как надо. – У тебя самой женихи не приживаются.

– Ну, ты не прав. Скоро Гриша из Риги приедет.

– Прости, Риночка, но как ты живешь? Меня беспокоит и ты сама, и твой Гриша беспокоит. Сто лет его не было слышно, и я уже решил было, что пронесло, так нет же – вспомнила! По мне, такая хроническая тоска куда хуже острого увлечения: и ясно, что добром не кончится, и лечению не поддается. Вы неосторожны...

– Ого, какой поворот! Надо же, мы с тобой еще не говорили о таких вещах. Так вот, если ты боишься, что я попадусь...

– Вовсе не то я хотел сказать!

– ... то теперь столько возможностей: хочешь, иди в абортарий имени Наденьки Крупской, а хочешь – доведи дело до конца и сдай детеныша в Дом мафии и ребенка.

– Что с тобой? Выйди сейчас же вон! – вдруг разъярился Александр Августович.

«Негодный я воспитатель», – тут же, едва за Кариной закрылась дверь, пожалел он о своей выходке и хотел было окликнуть внучку или пойти следом, – но на это уже не хватило сил; он решил отложить примирение до ужина, когда они оба наверняка сделают вид, что ничего не случилось. Александр Августович снова опустился в кресло, думая уже о том, что надо беречь себя. Целый день он изображал из себя юношу – старался не сутулиться, втягивал живот – и теперь с наслаждением позволил себе отпустить мышцы, сгорбиться, изгнать всякие мысли – пот отсутствовать в мире.

#### 4.

После гулянки по случаю именин Олега Натарова, руководителя испытаний, нечего было ждать, что его гости проснутся с петухами; гостей же было – вся экспедиция, по обычаю полигона не пропускавшая застольных развлечений за неимением иных. По другому местному обычаю дармовой технической спирт пили, наливая и разводя (или нет) каждый сам себе, по способностям, то есть именно сверх оных, из-за чего отсутствие потом многих на завтраке нельзя было бы истолковать неверно.

Понипартов, пребывая накануне в дурном расположении духа, провел в застолье совсем немного времени, соответственно тому и выпил, отчего ему одному утром не пришлось отступить от обычного распорядка. Не встретив в офицерской столовой никого из своих и поняв, что торопиться некуда, он позволил себе небольшую прогулку – и все равно потом вернулся в гостиницу слишком рано.

Лифт не работал, зато на его двери появилось свежее объявление: «Войсковой части требуются охранники». Чертыхнувшись по поводу неисправности и порадовавшись необходимости охранять войсковое соединение, Понипартов позвонил от дежурной в номер Натарова. Телефон не отвечал. В других номерах аппаратов не было, и Филиппу пришлось все-таки подниматься пешком на шестой этаж, где жил Евтропов.

Толкнув незапертую дверь, Понипартов с некоторым удивлением увидел тарелки с засохшими объедками, пустые жестянки из-под кильки в томате, разбитый графин, рассыпанную колоду карт и множество воняющих кислотной папиросных окурков в стеклянной банке: вчерашний пир, начавшийся совсем в другом номере, продолжался и здесь. В ванной шумела вода, а на неразобранной постели ничком лежал в брюках и в майке вчерашний именинник.

– Привет, Фил, – помахал рукой Евтропов, входя в комнату в насквозь мокрых трусах и рубашке. – Рекомендую радикальное средство: принимать душ одетым, чтобы продлить удовольствие. Правда, через десять минут все высыхает.

– Тут практиковали, рассказывают, другое: среди ночи завертывались в мокрые простыни и так бегали вокруг гостиницы. Но как здесь оказался Олег?

– Эмигрировал, – неожиданно отозвался сам Натаров, не меняя позы. – Твой мокрый друг вчера отличился, и я выпишу ему двойную премию, потому что страна должна лелеять своих богатырей. Представь, он выжил меня из комнаты: облевал потолок точно над койкой.

– Что, что?

– Понял, как надо делать карьеру? – захохотал Евтропов. – Теперь я знаменитость, все будут говорить: это тот, который... Да и денюжка не помешает: Олег ведь не шутит. Пойдем-ка, посмотрим на последствия, а заодно и опохмелимся – там есть чем.

– Представляю, в каком виде остальной народ.

– Мы расстались на том, что способные двигаться решили размять затекшие члены и поползли в женское общежитие.

Когда Филипп, вдоволь налюбовавшись на грубо – так, что сошла побелка – затертые следы молодецкого подвига, после второго для себя

завтрака, состоявшего из спирта и соленых помидоров, снова поднялся на шестой этаж, Натаров встретил его просьбой:

– Вам, теоретикам, я не могу приказывать. Но моя команда сплеховала...

– Отличилась.

– ... и надо закрывать амбразуру. Работенка не пыльная: красить изделие.

– Запряги солдатиков, – быстро сообразил Понипартов. – Степь в зеленый цвет они к приезду маршала уже покрасили, так пусть используют приобретенный опыт.

– Занавес – дело тонкое, солдатам не доверишь. А враг и начальство ждут любого нашего промаха. Они видят все.

– Представляю, как Маргарет Тэтчер высматривает со своего балкона в бинокль, не скрыли ли мы нескрываемое за ржавым занавесом.

– Вот от имени Тэтчер и прошу. Шофер будет время от времени возить тебя в душ.

– Невозможно отказать даме, – вздохнул Филипп; он придумал интересную вещь.

Машина, оказывается, уже ждала у подъезда.

Нутро крытого брезентом вездеходика годилось, по мнению Понипартова, лишь для сушки сухарей; к концу дороги, занявшей добрых полчаса, он готов был умолять водителя не останавливаться в нужном месте, а ехать прямо к душе. В полукилометре впереди в знойном мареве виднелись два розовых барака, обнесенных колючей проволокой – неведомый военный объект; там-то, у караульной будки, и стояло вожделенное устройство, подобное тому, какие мастерят себе подмосковные дачники, – с тою лишь разницей, что вместо железной бочки здесь грелся на солнце подвесной самолетный бак. У Филиппа все же не хватило нахальства начать с омовения. Его высадили у небрежно побеленного сарая с намалеванной сажею во всю стену надписью «Склад», и он, с неохотою шагнув в казавшуюся необитаемой тьму, был встречен там столь живо, что уже через каких-нибудь десять минут снова стоял на крыльце, переодетый в грязный халат на голое тело и чем надо оснащенный, и чему надо обученный. Перед ним начиналась и затем истаявала в перспективе железная стена; другой такую же, по правую руку, предстояло огородить (ее спешно достраивали солдаты) квадратную площадку с техническим зданием – фанерным баракком, разумеется, – в центре. Кроме боязни жара, не то рождаемого, не то отражаемого красным железом, пейзаж не вызывал у Понипартова эмоций; он же, увиденный несколько дней назад впервые, – разочаровал. В глубине души

Филипп, пусть и просвещенный, и посвященный в тайны, отчего-то ждал найти в пробном образце что-то от настоящего занавеса и даже вообразил, как при раскрытии того взгляду откроется оцепеневшая (народ безмолвствует) массовка; безмолвствовать, однако, тогда пришлось зрителю – настолько убогим оказалось увиденное в театре: дирекция, видно, поспешила на декорации, и бескрайний пустырь ни с того ни с сего пересекался всего лишь высоченным скучным забором, в котором только и было необычного, что торчащие там и сям антенны и автоматические сачки для перехвата почтовых голубей, и который, любезничая с холмами, столь уверенно уходил за пределы видимости, что впору было посчитать его не пробной, а боевой оградой, чьей длине никто не знал точного счета – страшных десятков тысяч верст. Бездна видела предграды напрочь отбивал изначальное любопытство узнать, что делается по другую ее сторону – не там ли проходит загробная жизнь.

– Зря мы, что ли, университеты кончали? – сказал себе Понипартов, направляясь к неокрашенному участку занавеса. Человек начитанный, он вспомнил верный способ перепоручить черную работу другому, настолько простой, что не требовал даже вдохновения. Чтобы его применить, требовались только две живые души – исполнитель и зритель, – но никакого народу пока не наблюдалось ни поблизости, ни где-нибудь у горизонта, кроме нескольких солдат-монтажников, замыкавших стену квадратного двора. Впрочем, Филипп и по своему плану должен был начинать покраску в одиночестве. Оно затянулось против ожидаемого, и он провел на солнцепеке битый час и успел даже съездить к розовым баракам, постоять под водичкою, прежде чем появилась первая жертва.

Понипартов вздрогнул, когда рядом резко затормозил грузовик.

– Что же ты пылишь на свежую краску? – в сердцах вскричал Понипартов, но машина уже уехала, оставив на дороге попутного пассажира – одного из участников вчерашнего праздника.

– Привет научным работникам, – попытался сострить приехавший. – Как ты влип?

– О чем ты?

– Не нашлось, говорю, лучшего занятия? У Натарова гегемон спит сутками, потому что находятся дурачки, не способные отказаться от чужой работы.

– Лучшее надо еще поискать, – многозначительно сказал Понипартов, – зато худшее предлагали только что. Если бы я уже не подрядился на покраску... Меня спасло своевременное получение информации: в наши дни, сам знаешь, выигрывает тот, кто ею владеет. Суть в том, что в городке что-то случилось с канализацией, и комендант просил людей

на подмогу. В таких случаях, как известно, проще обращаться к гражданским: солдатикам то надо вовремя лечь спать, то вовремя встать, то вовремя прийти на политзанятия, а у нашего брата, как известно, рабочий день не нормирован. Так что влип не я, а – в прямом смысле – те, кто остался не при деле. Между прочим, покраска – дело довольно увлекательное. Да и не каждый день удается красить железный занавес – теперь будет о чем рассказать детям.

Не слишком надеясь на собственное красноречие, Понипартов все же был уверен в успехе, так как в крайнем случае мог пойти на простой подкуп – был богат настолько, что мог диктовать свои условия в любых здешних играх: в его кармане лежало требование на отпуск со склада спирта – самой твердой валюты на полигоне.

– Можно подумать, – выдержав паузу и не услышав встречной реплики, продолжил он, – будто ваша милость прислана сюда для того, чтобы писать философские трактаты в плотной тени железного занавеса. Кстати, это звучит.

– Если бы! – горестно отозвался коллега. – В действительности же я тут неподалеку рыл землю – в буквальном смысле. Представь, какие-то чертовы суслики сожрали кусок кабеля, и его меняли на новый: работяги еще вчера разрыли траншею, а мне пришлось заливать эти дурацкие провода дурацкой мастикой, будто бы отбивающей у грызунов аппетит. Это изобретение какого-то безумного майора. Пахнет она, признаюсь, чудовищно.

– Не хуже, думаю, чем городская сточная труба. Ты, как видно, направляешься как раз в городок? У тебя есть шанс сравнить запахи. Кстати, можешь не искать попутку, не мучайся: кто-то из начальства грозился вскорости заехать сюда – он и довезет.

– Да, перспективка... Слушай, а нельзя ли присоединиться к тебе?

– Тут, брат, нужен навык. Да у них и кисти второй нет, я уже спрашивал.

– До чего я невезуч! – застонал коллега. – Если я стою в очереди, то, во-первых, за мной никто больше не занимает, во-вторых – товар кончается за два человека до меня. Давай так: ты посиди, отдохни, а я помажу.

– Чтобы меня погнали чистить канализацию? – расхохотался Филипп. – Дудки-с. Не для того я утром целый час бился головой о лед. Кем только ни страдал меня Натаров – вплоть до Маргарет Тэтчер...

Называть в затеянной игре это имя было опасно, но Понипартов нарочно приоткрыл карты; собеседник, однако, даже не услышал под-сказки, продолжая настаивать:

– Ты уже как бы внесен в другой список: спи спокойно. В конце концов, чтобы в случае чего не было обидно, предлагаю товарообмен: кисть и краску – на банку растворимого кофе. Индийского, заметь. У меня с собой.

– Риск велик, – изобразил сдачу позиций Понипартов. – Но велик и соблазн.

Вступить с партнером в нормальные рыночные отношения удалось без вложения капитала – талон на спирт, словно неразменный рубль, даже не был упомянут, – между тем прибыль оказалась неожиданно велика, и Филипп, думая, не слишком ли далеко зашел его розыгрыш, с минуту помучился угрызениями совести.

– Лучше, если Натаров не увидит меня в первую же минуту, – наконец решился он. – Если что, я буду в техническом здании: туда никто не зайдет. А пока – начни-ка при мне: посмотрю, какой из тебя маляр. Да надень мой халат, не то перепачкаешься.

Понаблюдав за работой своей жертвы и сделав даже несколько замечаний, Филипп с опаской – подъемный кран почти над самым проходом держал увесистую панель – прошел в квадратный двор. Ключ от барака лежал в кармане, и, пройдя в помещение, где стояли его приборы, он улегся на жесткой скамье.

Понипартов был все же не слишком доволен собою, так как использовал чужую выдумку; в последнее время ему что-то перестали удаваться собственные сценарии, и в угрюмой действительности, призванной губить всякую самодеятельность, через магический кристалл он различал в лучшем случае завязку да сомнительный подъем где-то в середине задуманного действия, но никак не развязку и не эпилог; его повесть писал кто-то другой, отчего сюжетные линии иной раз попадались самые невероятные, а главная из них, стержнем которой была любовь, тянулась то печальна, то невидима. Он подумал, что сам виноват во многом, что Наташа, наверное, просто устала ждать, когда он сделает предложение, и что надо его сделать по приезде, – и незаметно уснул под перебранку монтажников, собиравших за окном занавес.

Проснулся он оттого, что голоса солдат стихли. Выйдя во двор посмотреть на их работу, он увидел, что они сделали все, что смогли: ему не хватило бы воображения выдумать то, что они натворили.

По ту сторону занавеса послышался шум подъезжающих машин, захлопали дверцы: начальство появилось не то чтобы вовремя, но все же кстати и в ту именно минуту, когда Филипп еще не обрел дара речи и сколько-нибудь определенного выражения лица (которое никто не мог бы увидеть); борясь одновременно со множеством освободившихся

чувств – от восхищения до гнева, – он хохотал, но беззвучно, плакал, но слезы мгновенно высыхали на горячей коже, корчился от смеха, но указательный палец был направлен в одну точку – в место, где сварщик заварил снаружи последний шов.

Строители оказались хорошими солдатами: выполнили задание, не рассуждая. Им было приказано огородить площадку металлической стеною – они огородили; тот же, кто мог бы отдать новый приказ или разъяснить старый, не появился на площадке. Они так и не узнали, что последнюю, самую маленькую панель не следовало крепить, а оставить проход.

– Молодцы, – неожиданно отчетливо услышал Филипп голос Натарова; тот, очевидно, стоял неподалеку не от сплошной, а от решетчатой секции занавеса.

В страхе, что о нем не узнают, Понипартов бросился туда.

– Люди! Люди! – воззвал он что было силы. – Олег!

– Что ты орешь, как оглашенный? Куда ты делся? – ответил голос совсем рядом; многослойная решетка не позволяла видеть, что творится за ней.

Понипартов перевел дух.

– Меня замуровали, – выдавил он, чувствуя, что вот-вот расхохочется снова.

– То есть как?

– Посмотри на занавес: солдатика его закончили.

Натаров отозвался не сразу. Лишь через добрую минуту донесся, откуда-то издали, его удивленный возглас: он не смог даже привычно выругаться, а только протянул, насколько хватило дыхания, первую гласную – с умляутом.

Понипартова, разумеется, со временем достали. Появившись на верхней ступеньке наспех сколоченной лестницы, как был, в одних трусах, он сорвал аплодисменты. Этому предшествовал спор, резать ли постройку автогенном, как предложил Натаров, или вызвать, как хотел сам пленник, вертолет; приехавший в разгар дискуссии местный командир, полковник Пругло, рассудил по-военному просто: наварить прямо на стене ступени.

– Но там не должно быть постороннего металла, – встревожился Понипартов.

– Сделаем деревянный переход, – невозмутимо поправился невидимый полковник. – Гвозди вам не помешают?

– Чрезмерная роскошь для пустыни, – сказал Натаров. – На складах нет ни доски.

– Разберем складской барак, – не раздумывая, решил Пругло.

– У меня там остались брюки, – поспешил напомнить Понипартов. Новым голосом, обращаясь, очевидно к своим офицерам, полковник отчеканил:

– Через два часа я должен перейти на ту сторону.

Через два часа или нет, но довольно скоро и одежда была перекинута Филиппу, и склад разобран, и мостик построен.

На следующее утро, когда инженеры экспедиции – уже в полном составе – подъезжали к опытной площадке, чтобы в последний раз перед испытаниями проверить готовность своих систем, первым, что они увидели издали, были три огромные белые буквы, намалеванные на алой плоскости железной стены, – то русское слово, которое если и можно где-то писать, то как раз только на заборах.

– Прекратить! – воскликнул Натаров, впрочем, еле слышно из-за общего хохота.

– Но ведь уже написали, – резонно возразил кто-то.

– Закрасить!

– Красная краска кончилась, – напомнил Понипартов и чуть погодя посоветовал поверх дерзкой надписи написать другое, столь же краткое слово, для чего только и потребовалось бы, что полностью закрасить испорченные секции белым, чтобы получились ровные прямоугольники, а в тех уже и писать заново хоть сажею, и рисовать, что захочется.

– А закорючка над «и кратким»? Она эвон куда улетела.

– Из нее сделаем чайку. На всяком порядочном занавесе должна быть нарисована чайка, как в Москве.

– Но слово, – не мог понять Натаров, – какое же слово прилично написать?

– «Мир», конечно же, – пожал плечами Понипартов.

## 5.

В самолете Александр Августович почувствовал себя не в своей тарелке – отнюдь не из-за понятного волнения, свойственного летящим впервые либо летающим редко, а оттого, что увидел себя среди попутчиков даже и не чужим, а самозванцем. Все они тут не только знали друг друга, но и стюардессу каждый звал Светочкой и на «ты», и летели для занятий таким непостижимым делом (испытаниями ракет), для которого его собственная инженерная подготовка была пустым местом. Доведись ему отвечать кому-нибудь из них на расспросы о целях командировки, он сгорел бы со стыда. К счастью, все эти люди прошли дрессировку в первых, вторых, особых и тому подобных отделах, присущих

секретным предприятиям, и не привыкли интересоваться такими вещами, а тем паче — распространяться о них. Александр Августович и сам не имел права хотя бы только намекать на свою причастность к государственным тайнам; ему рекомендовалось соблюдать осторожность даже в стенах собственного кабинета: заменять, например, в разговорах с сотрудниками опасное словосочетание «железный занавес» неловким синонимом «изделие»; впервые услышав это, он от души рассмеялся, представив себе изделие, то есть штучную, по-русски, вещь, длиною от Мурманска до Молдавии и, далее — до Владивостока, до Чукотки, до Мурманска. Великий, могучий и, главное, свободный русский язык вынес, однако, и это.

Летя сейчас на восток, Александр Августович силился представить протянувшуюся далеко справа государственную границу и изделие вдоль нее и все более убеждался в бессмысленности затеянного государством дела. Забор до Тихого океана казался ему столь же неправдоподобным, как и веревочная лестница до спутника; в глубине души он полагал, что, не говоря уже о невозможности пересечь попутные кавказы и гиндукуши никаким рукотворным сооружением, всякий разумный человек для возведения великой стены даже на равнине прибавил бы к усилиям Союза еще усилия Китая и пятнадцати стран НАТО — и то не дождался бы его окончания при своей жизни (здесь, кстати, престарелый Александр Августович видел свое преимущество перед коллегами: какие бы просчеты проекта ни открылись при строительстве, отвечать предстояло не ему).

Когда пришло время вновь застегнуть ремни и самолет начал снижаться, Александр Августович прильнул к окну, надеясь увидеть сверху если не свою площадку с алой лентой занавеса на ней, то хотя бы расставленные по степи ракеты, но внизу во все стороны одинаково простиралась пустая коричневая земля, беспорядочно исполосованная следами машин, не приводящими никуда. И земные и небесные пейзажи интересовали во всем салоне его одного, остальные без малого две сотни человек дружно предавались простейшим занятиям — спали либо спешно допивали недопитое; к тому и к другому пассажиры приступили тотчас после взлета, благо Светочка не отказывала в чистых стаканах. Бутылки передавались по рядам и через головы, повсюду звенела посуда и не хватало, пожалуй, только общего тоста. Обойденный пиром, Александр Августович только острее почувствовал себя ненужным; в действительности выпить ему не хотелось, предложи соседи чарку — он отказался бы, но обидно было, что как раз и не предлагали.

Земля между тем приближалась. Дикие автомобильные колеи незаметно слились в ненужную, без машин, дорогу, отороченную крохотными, размерами каждый с еловую иголочку, столбами, и Александр Августович понял, что пора готовиться к церемонии встречи. Не поинтересовавшись дома официальным протоколом, он мог только догадываться, как обставляется приезд на испытания главного конструктора. Среди попутчиков явно не было лица его уровня, и он решил, что ему, видимо, надо выйти из самолета первым, чтобы не ставить в неловкое положение встречающих. Когда самолет остановился наконец на летном поле, Александр Августович изнервничался, дожидаясь подачи трапа, а дождавшись — вскочил с места, но соседи остановили его: мол, придут сами. Он легко согласился — пусть придут, поприветствуют, — но пришли не те, а лейтенант с двумя солдатами, и учинили проверку документов, начав с задних рядов. С тех же рядов и начал убывать народ.

Готовый к жару, но не к свету, Александр Августович, выйдя на трап, был ошеломлен силой, с какой его ударили солнечные лучи: еще немного — и он перестал бы различать цвета. Пугаясь открывшейся взгляду выбеленной пустоты, он, оступаясь, поспешил вниз по лестнице, чтобы забраться под какой-нибудь надежный козырек — единственным здесь было крыло. Там, в тени, и собралась немногочисленная местная публика — штатские и младшие офицеры; вместо высших чинов полигона навстречу своему главному конструктору двинулись двое в легкомысленной одежде — его референт и руководитель испытаний. Александр Августович посмотрел на них нелюбезно и с недоумением.

В подкатившем к ним микроавтобусе Александр Августович сел широко, на двойной диванчик, уставившись на пышную бороду полуобернувшегося к нему Натарова — пытаюсь понять человека, в такую погоду оставляющего на себе мех. Он отвлекся только, когда машина тронулась, — на изучение отсутствующего за окном пейзажа. Его представление о пустыне связывалось в последние годы с кадром из популярной комедии, изображавшим раскаленную голову закопанного по уши в песок человека и рядом — вовремя подоспевшего красноармейца товарища Сухова в белой гимнастерке и с чайником. В здешней почве, состоявшей больше из камня, чем из песка, было бы невозможно, как показалось ему, ни закопать кого-нибудь, ни закопаться самому. Близ аэродрома по этой утрамбованной земле были разбросаны то резервуары для топлива, то фанерные крашенные синькой бараки, возле которых копошились солдаты без чайников, но через несколько минут езды и эти немногочисленные детали сошли на нет, и Александр Августович

начал задремывать. Увидев по пробуждении за окном замысловатую, всю из тарелок, стержней и спиралей громоздкую установку и заподозрив, что это чудное видение существует лишь в его сне, он все же осторожно поинтересовался, что это за декорация.

Перебивая открывшего было рот Натарова, Евтропов, с загоревшимися внезапно глазами, затараторил:

– Наше хозяйство. Нет, вру, не наше, но построено для наших радиоиспытаний.

Главный конструктор, подивившись про себя непомерности затрат на, честно говоря, пустяковое дело (и вспомнив, как предлагал для него свой дачный участок), удовлетворенно кивнул.

Спустя еще четверть часа, когда диковинное сооружение (некогда поставленное здесь для своих нужд ракетчиками) давно скрылось из виду и пейзаж вновь превратился в нечто, не поддающееся карандашу, машина остановилась перед шлагбаумом, караульная красно-белая будочка подле которого была единственным предметом на всем обозримом пространстве. Здесь опять пришлось предъявлять документы.

– Отчего бы не перенести этот пост к той замечательной штуковине? – наивно поинтересовался Александр Августович. – Все было бы веселей человеку.

Пост можно было бы перенести и на пять километров вперед, где расположилась целая группа зданий, окруживших металлическую мачту и в свою очередь окруженных оградой из колючей проволоки, с солдатами на вышках.

– Вычислительный центр, – пояснил Натаров. – Всего месяца два как сдали.

– Как раз к нашим испытаниям, – с нажимом добавил референт, а чуть позже ему представился случай с тем же нажимом сказать: «Наш гараж», – на что сидевший за рулем солдат кивнул, подтверждая; Натаров же, не понимая затейной игры, не вмешивался и не разоблачал.

– Нешуточное, видимо, было дело, – предположил Александр Августович, – организовать всю эту структуру.

– Кровью и потом, – ответил Натаров не солгав.

Александра Августовича, однако, мало занимали встречавшиеся производственные корпуса; в каждом строении, завидев его издали, он прежде всего подозревал предназначенное ему пристанище – оттого, возможно, что Евтропов упорно повторял: наше, наше, наше, – и пребывал в напряжении, опасаясь ночевки в бараке. Когда же машина наконец покатила по городку и достигла вполне внушительного здания гостиницы, он в очередной раз заволновался, вновь ожидая официаль-

ной встречи. Между тем ему не приготовили ни марша торжественного караула, ни рукопожатий наличных генералов, ни цветов и шампанского, и он почувствовал себя посланным с неважным поручением в провинцию инженером из «Протеатра».

Под стать встрече оказалась и гостиница. Вместо ковровой дорожки на лестнице, довоенной вечной мебели, замысловатых люстр и теплых плюшевых портьер новый постоялец увидел лишь изображение упомянутой дорожки, намалеванное масляной краской прямо на бетонных ступенях, конторские столы в вестибюле, пластиковые копеечные светильники, ситчик на окнах, а в номере – телевизор, простодушно установленный на холодильнике, пустом, разумеется, что оказалось хорошим поводом отослать прочь хотя бы одного из мельтешащих подчиненных – выпало, по должности и возрасту, референту. Александр Августович и сам с удовольствием сходил бы с ним, а лучше всего – вместо него, в обнаруженный из окна магазин, посмотрел бы, что там и как, но здесь положение еще более, нежели в столице, обязывало скрывать плебейские привычки (он еще не знал, чего лишается: знакомство с гарнизонной лексикой привело бы в восторг кого угодно, достаточно было бы почитать в изобилии развешанные на стенах торгового зала плакаты – от двусмысленного «Просим отовариваться в корзины» до трибунально грозного «Оплата на месте»). Оставшись один в тесной комнате с ненужными сейчас людьми, Александр Августович не мог решить, как обойтись с ними: сыграть ли роль жесткого начальника, заставив каждого незамедлительно доложить о состоянии дел, или, напротив, признавшись в усталости, отпустить всех по домам. Не переведа еще часы, он не знал, что наступило обеденное время, продолжающееся здесь в летние месяцы три часа кряду из-за невозможности никакой разумной деятельности в сорокаградусную жару; его сотрудники, томившиеся в номере, явно ждали момента, чтобы приступить к деятельности – неразумной. Здесь не поздно заметить, что среди пассажиров нынешнего рейса Александр Августович оказался не единственным из анучинцев, а нашлись в самолете еще двое, люди попроще и, стало быть, с понятием и поэтому не забывшие привезти гостинцев. Те, кто прожил на полигоне какой-то, пусть и малый, срок, уже были утомлены техническим спиртом и жаждали разнообразия, новички же помнили о привезенном с собою для «прописки» коньяке и, изумленные переменой среды, только о том и думали, как бы поскорее до него добраться, чтобы притупить непривычные переживания. Сейчас все они изощрялись в намеках начальнику, но тот оставался глух к ним: в здешнем расслабляющем климате

еда казалась ему невозможной, и он готов был понять отшельников, выживавших в подобных условиях, питаясь одними акридами. Бодрясь и желая показать другим и себе, что прибыл отнюдь не праздным туристом, Александр Августович вдруг заговорил о необходимости немедленно выехать на площадку, но при этом так старался быть не очень убедительным, что с языка сам собою сорвался вопрос о часе завтрашнего, почему-то, выезда. Догадливые гости, охотно истолковав это как встречный намек, сразу стали прощаться, хозяин же дома неожиданно загрустил, испугавшись вечернего одиночества: возраст именно сейчас, после дороги, в новом климате и при отсутствии присмотра мог преподнести любой, приготовленный загодя и перележавший сюрприз. Александр Августович уже раскаивался в том, что не взял в командировку секретаршу, трезво в свое время рассудив, что это чревато было бы сплетнями, хотя и безвредными для одинокого человека, но обидными из-за полного несоответствия с печальной действительностью. Сейчас он уже не помнил, кто из них завел неестественную строгость в отношениях, но хотел думать, что Зинаида, и с тоскою по утраченному вспоминал свое протеатровское окружение — как нечто пестрое, с огненно-рыжими проблесками, затененное цветами и сдобренное вполне домашним позвякиванием чайных ложечек. В анучинском кабинете посуда дребезжала иначе, по-казенному, и он, осуждая Зинаиду (еще и за непонятное ему влияние на Карину), сознавал все-таки и собственную вину: не в сближениях, а в отдалениях и отделе-ниях надобно знать меру.

Как случается со многими на новом месте, вечер он провел скучно, а ночь — плохо, после чего впору было переносить на сутки всю программу. Оставить расписание в покое стоило ему серьезного насилия над собою, и подчинился он в конце концов не чувству долга, а любопытству.

Дорога на площадку шла по холмистой местности, и Александр Августович устал вытягивать шею, чтобы из-за поворота или с верхней точки подъема первым увидеть свое детище. То, что он наконец увидел, заставило вздрогнуть: пересекающая невинное пространство красная полоска показалась свежим порезом, причиненным опасной бритвой; странно было, что от места происшествия не бегут врассыпную к телефонам женщины, чтобы взахлеб и навзрыд звать к следствию и вызывать «скорую»: промедление грозило потерей крови, но оно же, как выяснилось, и врачевало, потому что занавес по мере приближения к нему переставал выглядеть раной на живой ткани, становясь все тусклее и уродливее.

Последним, что доконало нового зрителя, была бессмысленная надпись из трех букв.

— Причем здесь это? — простонал Александр Августович.

— Так ведь по всему Союзу, на каждой крыше... — начали объяснять ему.

— Только не на железном занавесе! Одной рукой отгораживаемся от врага, а другой — провозглашаем мир с ним же!

— В большой политике, собственно, так и делается.

— Но это лицемерие! Отчего бы не написать что-нибудь нейтральное, например: «Мы придем к победе коммунистического труда»?

— С какой стороны занавеса? — поинтересовался Натаров.

Пока Александр Августович собирался ответить, Евтропов потребовал уточнения:

— С какой стороны написать или с какой стороны придем?

Референт сам, в одиночку, посмеялся собственной шутке, а его шеф, напротив, помрачнел, поняв, что попал в двусмысленное положение: засмеяться вместе с Евтроповым значило бы согласиться при всех с крамольным смыслом его остроты, а осуждение ее при общем молчании показало бы, что он один, в силу развращенности ума, усмотрел в ней то, о чем думал и сам. Он давно усвоил, что на его фирме непременно — и в достаточном количестве — должны таиться агенты и осведомители КГБ, среди которых надо держаться, как на сцене, то есть на одну эту публику и играть.

— О штатной раскраске говорить рано, — проскрипел он с досадой.

— Делить неубитую шкуру, — подсказали ему.

— Да это и не наш вопрос — пусть его решат наверху. На самом верху.

Досада прошла сама собою, когда машина подъехала к самому занавесу. Вблизи сооружение выглядело внушительно, и судебно-медицинские сравнения больше не приходили в голову его автора, уступив место сознанию причастности к великому делу. «Никто не узнает наших имен», — подумал Александр Августович, огорчаясь, хотя прежде известность совсем не интересовала его: в юности — потому, что тогда счастьем было ощущать себя частицей общей массы, а в солидном возрасте, в бытность сотрудником скромного проектного института — из-за ее очевидной недостижимости; его взгляды изменились вместе с общественным положением: славу захотелось получить сполна и немедленно. Александра Августовича больше не устраивали статьи в будущих энциклопедиях, о которых он робко мечтал на какой-то промежуточной ступени, — нет, он хотел своими ушами слышать, как в народе его произведение любовно называют «занавесом Лозаннского» или



как в публике прокатывается шепоток: «Тот самый Лозаннский» — при его появлении в ложе театра. Пока же, из-за проклятой секретности, первого произнесения вслух своего имени он мог ждать разве что на Новодевичьем кладбище.

Любезная душе, но гонимая мысль о славе не могла не появиться здесь, у подножия железной громады. Сколько чертежей и макетов ни прошло через руки Александра Августовича, сколько ни снился ему готовый занавес — ничто не могло подготовить его ко встрече с монстром, одна лишь деталь которого — задвижка — пугала, как вставший на дыбы паровоз.

— Ну, запускайте, друзья мои, — одолевая внезапную хрипоту, велел он, фамильярно похлопав ладошкой по горячему металлу.

— А вы так и будете стоять под танком? Со связкой гранат? — нагло вато усмехнулся Натаров. — Нет уж, ступайте, пожалуйста, в тенечек, на веранду.

Только тут Александр Августович заметил в небольшом отдалении, на бугорке, длинную дощатую беседку, украшенную по зеленым бортам красными звездами. Там уже расположилась изрядная группа военных. Он весело подумал, что его велосипедная шапочка будет неплохо выглядеть рядом с форменными фуражками.

— Запускайте, — повторил он и в беседке, устроившись на пластмассовом стульчике.

— Он сказал: поехали, — серьезно отозвался Натаров, щелкая переключателем пульта.

Над железной стеной взметнулось облачко первого выхлопа, слышалось ровное бормотание дизеля и башня задвижки, как была на дыбах, поползла, расслаивая занавес; взглядам открылся проход, ограниченный расставленными в шахматном порядке стальными панелями.

— Такие зигзаги, — пробормотал Александр Августович, — что в пору ходить конем.

— Ходить будем танком, — вполголоса поправил сидевший рядом полковник. — Кавалерии в армии не осталось.

Между тем танк уже пылил на горизонте, нацелив свой длинный ствол прямо в поворотившиеся к нему бинокли; слабонервные предпочли смотреть невооруженными глазами — он отдалился, но ненадолго. Беседку танк объехал довольно лихо, но, достигнув занавеса, утратил пыл: то не попадал в проход, то не мог оттуда выбраться, то засовывал пушку в такое безнадежное место, что в пору было ее отпиливать, чтобы спасти остальное.

— Придется расширить проем, — решил главный конструктор. — Под пулями танкист так, как сейчас, из люка не высунется, не оглядится.

— Не будем же мы, — снисходительно заметил один из полковников, — в случае военных действий бросаться гранатами через забор. Ваши премудрости тогда не понадобятся: подорвем занавес к чертовой матери и пойдем напрямик.

— Позвольте, друг мой, — опешил Лозаннский, — но зачем же тогда мы устраиваем проход, ставим задвижки?

— Чтобы пропускать танки в мирное время.

«Что ж, — подумал Александр Августович, — мое дело извозчицье: вези, куда прикажут».

Когда танк ушел восвояси, Натаров перекинул рубильник, но задвижка не тронулась с места. В бинокль можно было разглядеть под ее колесами какие-то обломки.

— За мной, — скомандовал главный конструктор и потрусил, как из окопа в атаку, увлекая за собой штатских.

Их глазам предстала жалкая картина: изуродованные гусеницами рельсы и раскрошенный бетон; по сравнению с этим вмятины на металле самого занавеса, оставленные стволом пушки, казались сущими пустяками. Александр Августович озирался в полной растерянности, пытаясь припомнить, в чем и когда отступил от американского проекта, и с сожалением признавал, что ни в чем.

— Рассудительные янки не пускают в шелку танки, — неожиданно срифмовал Евтропов, не отходивший здесь от своего шефа ни на шаг. — Не смейтесь, ведь и в самом деле они ставят занавесы не на границах, а вокруг отдельных объектов. Им — лишь бы машина прошла, джип какой-нибудь. Советские нужды — это советские нужды.

— Да, доверяй да проверяй, — брюзгливо проговорил Александр Августович. — Как же вы, конструкторы, рассчитали покрытие, какой бетон поставили, я спрашиваю, откуда эта щебенка под ногами? И дальше: резервные устройства, стальные маты какие-нибудь, тоже я должен за вас придумывать?

— Вот и придумали.

— Вы, вы, все без исключения, — изумленный наглостью Евтропова, выкрикнул Александр Августович в сторону своей удрученной свиты, — к семи вечера извольте, каждый в отдельности, доложить мне анализ причин, график ремонта и предложения по модификации. Даже если дело всего лишь в качестве бетона, то тем хуже: если мы не уследили за этим на опытном участке, то что же говорить о стройке, которая растянется на тысячи километров? Представьте, сколько прорабов

проворуются на ней. Нам нужно, чтобы держал и самый скверный материал.

– Кстати, о материале, – напомнил референт, – Не пора ли вам пообедать?

– Нет, ступайте без меня, пожалуйста. А я – попозже, быть может.

– Попозже не получится: закрывается столовая. Распорядок тут строгий: завтрак, обед, ужин – как в санатории. Диета, правда, своеобразная. Но пока – давайте уедем, не то наши коллеги ничего к сроку не родят.

Но Александр Августович и сам не надеялся на столь быстрые роды, а хотел лишь, чтобы каждый выносил свою вздорную идею и чтобы она была опровергнута другими. В таком споре, он знал, мог бы родиться дельный проект.

Не сочтя тему исчерпанной, Евтропов, усадив все-таки начальника в подоспевшую машину, упрямо продолжил свое:

– Нет, за оставшиеся часы наши Кулибины не изобретут даже велосипед.

– За оставшиеся часы, друг мой, можно изобрести даже часы, – с неохотой ответил Александр Августович; ему совершенно неинтересны были чужие соображения. – Кстати, вы тоже могли бы подумать. Вам не приходит в голову какое-нибудь решение?

– Велосипед, – засмеялся Евтропов. – Это же вечный двигатель: не просит ни овса, ни бензина. Сегодня каждый приедет на своем велосипеде, так я вас очень попрошу: мой – спрячьте, пожалуйста, в темный чулан, потому что это моя собственность, и я волен решить, когда его выкатить.

– Устал я от ваших аллегорий.

– Значит, договорились. Прибаутки прибаутками, но у меня, Александр Августович, и в самом деле есть предложение. Оно идет, правда, вразрез... в общем, не торопитесь отвергать. Скорее всего, сегодня вечером мы придем к мнению о невозможности точно следовать американскому образцу. Да, да, я понимаю: постановление ЦК, техническое задание и прочая, и прочая. Но жить-то надо, и что-то придется менять. Так вот, я бы предложил отказаться от железнодорожных тележек и от рельсов. Поставьте задвижку на катки, даже на колеса с резиновыми шинами – и танкам нечего будет портить. Честно говоря, у меня это давно подробно проработано.

– Вы с ума сошли! Мы заготовили сотни километров рельсов, – мгновенно возразил Александр Августович.

– Не проблема. Рельсы мы пристроим. Только давайте сразу расставим точки над «е»: изобретательство не входит в мои обязанности, и свои идеи я не дарю, а продаю их.

Под ложечкой у Александра Августовича заняло: он понял, что чего-то в этом роде ждал с самого начала разговора – слишком странным показался ему тон референта.

– Вы хотите, – проговорил он с усилием, – чтобы я предварительно расплатился?

– Не наличными, это непопулярно. Конечно, я подам заявку на предложение или даже на изобретение, но тут пока в одиночку одолеешь все инстанции, поезд уйдет.

– На велосипеде догоните, – съязвил Александр Августович.

Понизив голос, чтобы не слышал шофер, Евтропов невозмутимо изложил программу некоего союза: он бы подавал на свое имя заявки, а Лозаннский, с его связями и авторитетом, способствовал бы их продвижению; о честной дележке гонораров можно было не беспокоиться.

– Какую же долю вы собираетесь выделить главному конструктору и директору НПО? – с подчеркнутой иронией поинтересовался Александр Августович. – Назовите процент – и я соглашусь не раздумывая.

– Долго не думая – пополам?

Почувствовав себя обделенным, Александр Августович принужденно рассмеялся:

– Нахальства вам не занимать. Вы разговариваете со мной, как Остап с Кисой Воробьяниновым: берете за горло, а я даже не могу возразить по существу.

– Да и не надо: кто же отказывается от верных денег?

Отказываться Александру Августовичу не хотелось, хотя он и подозревал в предложенном союзе что-то незаконное; деньги же были нужны как всегда или даже больше, и он не мог позволить себе сделать красивый жест и умыть руки.

– Попытка – не пытка, – брякнул он наконец, думая, что всегда может выйти из игры, и, как ему показалось, покраснел.

## 6.

В часы, когда вся экспедиция, преобразившись в свиту Лозаннского, наблюдала за возней танка в узких воротах, Понипартов скучал в гостинице: испытания его системы начинались только на следующий день. Имея после двух бессонных ночей полное право на выходной, он его себе и устроил, не подозревая, что бывалые люди на полигоне стараются бежать не работы, а как раз свободного времени, которое для большинства может заполняться лишь тоскою по дому, игрой в карты или пьянством. И в самом деле, прогулки мимо казарм и трехэтажных

хрущевок удовольствия не доставляли, дом офицеров и кинотеатры открывались только по вечерам, а библиотека годилась разве что для солдат первого года службы, и единственным дневным развлечением оставалось посещение универмага – с обозрением форменных фуражек, кое-каких парфюмерных флаконов, жестяной галантереи и единственного охотничьего ружья; удобнее всего было вовсе не иметь досуга. Дойти до этого следовало самому, на основании опыта; не набравшись пока оно, Понипартов только изумлялся приспособляемости командированного племени. Здешние уроженцы и те казались ему понятней. Выросшие в пустыне (если угодно – степи, это точнее, но не имеет значения, когда и той и другой одинаково не видно конца), они, не имея средств передвижения, вынуждены были верить в беспредельность пространства, неизменного ни в годах, ни в веках, а потому – и в беспредельность самого времени. И тогда, если бескрайний простор существовал для них всегда, то, значит, и мысль о Создателе была невозможной; странно, что этот народ выжил не измелчав. Вряд ли поздние пришельцы смогли убедить аборигенов в том, что всему на свете наступает конец, и что если неминуем конец, то когда-то было и мгновенное начало, содеянное только чьими-то силой и волей.

В школе Понипартову внушали, что всякий человек, превзошедший науки, убеждается в том, что Бог всего лишь выдуман людьми для своих целей; он же, напротив, кое-чему выучившись, понял, что чем лучше человек разбирается в повадках волн, планет и частиц, тем искренней верует, и если какое-то количество даже весьма ученых мужей все же упорствуют в неверии, то либо из-за некоей корысти, либо – страшась соотносить свои поступки со строгими заповедями Писания, то есть вечно ощущать большую ли, малую ли, но вину.

Филипп вину – ощущал.

Малой – перед Наташей Шалиско – вины он понять не мог, хотя ее последствия были очевидны. Что-то он сделал не так, нечаянно сказал какое-то лишнее слово, обидевшее или заставившее подозревать его в дурном – только так он мог объяснить ее внезапное отдаление, он был уверен – временное. Внешне все оставалось по-прежнему, они с Наташей держались вместе и выглядели влюбленной парой, и только ночевки в Алешиной мастерской прекратились.

Большую вину – соучастие в мерзкой государственной затее – Понипартов сознавал – и каялся, – но продолжал усугублять ее. Он будто бы и вправду не мог ничего исправить, оттого что все те заведения, куда бы его могли взять на работу, занимались подобными же мерзкими делами, с разницей только в градусе мерзости, а путь в другие для него

был закрыт. Кое-какие попытки он все же предпринимал, но все они оканчивались ничем; последняя, нечаянная, даже развеселила его.

Все началось с исполнения давней мечты – покупки телеобъектива.

Известно, что не всякий объектив можно сразу приспособить к фотоаппарату, а нужно его подгонять – юстировать, – что требует расчета, хороших инструментов и еще лучших рук. Понипартов, в студенческие годы поднаторевший в обращении с точными приборами, решил, купив сменный объектив, сделать юстировку сам – и сделал, не сумев только проверить качество своей работы, для чего требовался специальный стенд. За этим ему пришлось все-таки обратиться в мастерскую.

Выслушав необычную просьбу Филиппа, приемщица сама ему ничего не ответила, только пожала плечами и ушла звать директора. Тот, грузный, мясницкого вида немолодой мужчина, вышел тотчас же – с чрезвычайной игривым видом.

– Ну-ка, кто здесь сам юстирует объективы? – загудел он еще из глубины коридора.

Понипартов скромно сознался.

– Это, дорогой, делают на стенде, а не на кухонном столе. Пойдем, покажу машину.

На стенде, однако, выяснилось, что объектив подогнан идеально.

– Слушай, ты меня удивил, – восхитился директор. – Может, это ты в другой мастерской сделал, а меня разыграть хочешь? Так я позволю, проверю.

– Похож я на шутника? Да и зачем бы мне это понадобилось – разыгрывать незнакомого человека? Вы проверили работу – спасибо, так что выписывайте квитанцию, я заплачу – и распрощаемся до следующего раза. А сам или не сам – для этого нужен только приличный инструмент да спокойствие.

– Спокойствие! Спокойствие – это когда руки не дрожат в понедельник. А тут еще и голова нужна.

– Голова у меня тоже не дрожит, – рассмеялся Филипп.

– Слушай, ты где работаешь?

– Так, в одной конторе.

– Сколько они платят?

– С премией – до трехсот, – сообщил Понипартов не без гордости.

– И ты за эти деньги работаешь? – ужаснулся директор. – Слушай, иди ко мне, а? Правда, для начала могу положить не больше четырех с половиной, сам понимаешь – человек с улицы. Но через полгода накину еще пару сотен, это я гарантирую. Подумай.

– И думать не буду. Согласен. Что от меня требуется – заявление, анкета, трудовая книжка, диплом?

– Какой диплом?

– Об окончании института.

– Э, брат, – разочарованно протянул директор. – Так бы и сказал. Извини, взять тебя я не имею никакого права: с дипломом берут в начальники, а не в мастера. Достанешь чистую трудовую книжку – приходи, я от своего слова не откажусь. А так – мы же не при капитализме, слава богу, живем, а при диктатуре родного пролетариата, при советской власти. Знаешь, что такое советская власть? То-то.

Советская власть, как тогда пришло в голову Понипартову, это член известного уравнения, в котором она, сложенная с электрификацией всей страны, дает в сумме коммунизм. Привычно произведя в уме алгебраические перестановки, он получил, что советская власть есть коммунизм без света. Результат Филипп оставил при себе.

Другим результатом стало решение больше никакой службы не искать: ее стоило бы менять только на совершенно противоположную, для чего, как только что подтвердилось, следовало иметь или другое образование, или не иметь его вовсе; перемены же лишь незначительных обстоятельств суть дело случая, и не пристало рассуждать о них загадя.

Ему вдруг вспомнилось одно детское – он тогда только пошел в школу – намерение: стать судьей. Слушая рассказы взрослых, персонажи которых непременно ошибались, становились жертвами несправедливости либо попадали впросак, Филипп думал, что спроси те его совета, он рассудил бы по совести; приговор всякий раз казался ему очевидным, и он только удивлялся беспомощности старших. К счастью, его достойное, но преждевременное намерение не выросло в живучую детскую мечту, иначе он не миновал бы превращения в павлика морозова; этого не произошло (как и все происходит или нет с нами), видимо, всего лишь из-за случайности, оставшейся ему неизвестной; вследствие какой-то другой он мог бы стать и павликом, и павкой, но судьей все же не стать, из-за третьей – вырасти порядочным человеком и стать судьей, из-за четвертой... и так далее, причем он допускал, что все эти версии уже исполнены где-то: ему была интересна чужая выдумка об одновременном существовании параллельных с нашим миров, из которых к нам изредка, благодаря ошибкам операторов или неисправностям техники, попадают то снежный человек, то летающая тарелка и в одном из которых мог бы сию секунду заседать в суде некий господин Понипартов в мантии и парике и думать с понятным удовольствием, что

мечтал же он в нежном возрасте стать героем-строителем железного занавеса, да Бог миловал.

Наш же, современный и сопостраженный Понипартов, будучи, увы, тем самым строителем, сидел сейчас, мучаясь от безделья, не в судейском кресле, а на койке в дрянной гостинице и порывался начать покаянное письмо Наташе (которое сам же, чтобы избежать перлюстрации, повез бы в Москву), но не начал, а неожиданно собрался и поспешил на попутных грузовиках на площадку – посмотреть на представление. Приехал он туда лишь под занавес.

## 7.

Многое, как известно, может сделать русский мужик одними топором да долотом, особенно ввиду обещанного ведра водки, – не только снарядить и собрать дорожный снаряд, но и мраморную колонну ростом до небес восставить торчком при полном отсутствии потребных для того подъемных, а тем паче летательных машин. На это и уповал Александр Августович, повелев, покуда в столице нарисуют, согласуют и утвердят нужные чертежи, переделывать опытный образец на глазок и подручными средствами; он справедливо рассудил, что всяк должен находиться при своем деле, работая вещи, какие умеет – кто бумажные, а кто и железные, – не то чтобы наперегонки, но одновременно. Сам он слетал ненадолго в Москву, а вернувшись, увидел, что задвижка легко катается на надувных шинах и что для танков, не говоря уже о прочих дорожных снарядах, открывается удобный проем. Звать на смотрины государственную комиссию, однако, было рано, оттого что та непременно поинтересовалась бы и электрической частью проекта, вовсе еще не готовой; в ней, связанной в его глазах едва ли не с передачей мысли, Александр Августович чувствовал себя полным профаном, и никакие расторопные мужики тут уже не могли помочь. Ученые радисты и физики ежедневно подсовывали ему на подпись невразумительные писульки, якобы доказывавшие бессмысленность их труда, а потом, перемахнув через занавес по деревянному мостику имени товарища Пругло, часами слушали в техническом здании то, чему обязаны были противодействовать – передачи вражеского радио. Приезд московского начальства стал бы катастрофой, и Александр Августович понимал срочную необходимость для отвода глаз обозначить в деле какую бы то ни было точку: тогда недописанное вечером письмо можно было бы наутро продолжить с новой строки.

– Придется связаться по ВЧ с Пшенко, – возвращаясь с площадки, сказал он Евтропову. – Пусть заплетет какую-нибудь интригу.

– Интрига не помешает, – улыбнулся референт, – но вечно вы все усложняете. Тут одно только и нужно: сочинить солидный протокол.

– Но не фальшивый же?

– Как вы могли подумать! Нет, сделаем проще. У нас, как вы помните, до сих пор не согласован график испытаний, то есть в какой-то мере развязаны руки. Давайте объявим об окончании первого этапа, пригласим на демонстрацию образца любое официальное лицо, хотя бы командира полигона, – и вы с ним подпишете протокол.

– Вечно вы все упрощаете, – махнул рукой Александр Августович. – Эта простота стоит другим больших усилий. Мне лишние хлопоты, честно говоря, в тягость.

– Вы хотели сказать, что инициатива наказуема исполнением? Да не все ж кататься, надо и саночки возить. Я вам больше скажу: сейчас на полигоне находится с проверкой генерал из министерства обороны – позovem и его как свадебного.

Главный конструктор был доволен тем, что свалил трудное дело на другого, референт – тем, что получил поручение, важное не по чину: прецедент был тут очень важен. Единственная трудность заключалась для него в том, чтобы назначить демонстрацию не на следующий день, что было бы несолидно, но и успеть с нею до скорого отъезда московского генерала. Впрочем, легко устроилось и это.

К назначенной дате шоссе по всей длине было подметено вениками, солдатские сапоги начищены и спирт перелит из канистр в графины. Но тут испортилась погода.

Успев усвоить, что в этих местах бывает триста солнечных дней в году – цифра так впечатляла, что об оставшихся шестидесяти пяти не хотелось думать серьезно, – Александр Августович, услышав по пробуждению, что за окном каплет, а шины редких машин шипят на мокром асфальте совсем по-московски, не поверил своим ушам. Сначала он заподозрил, что еще спит, затем – что слышит шум из кухни, и только потом выглянул в окно – и расстроился. Как бы само собою разумелось, что нынешнее мероприятие пройдет, как Первомай – при сияющем солнце, в горении начищенной меди, – но теперь впору было все отменить. Остатки сна пропали мгновенно. Встав, он нервно зашагал по комнате из угла в угол, пытаясь сообразить, чем грозит ему непогода, однако уже через несколько минут пришел в себя и сумел трезво рассудить, что отмена демонстрации чревата скандалом, что отступить некуда, поскольку Москва далека, что генералы в беседке не промокнули и что солдаты должны нести службу в любую погоду.

Он все же поднял с постели Евтропова.

– А что произошло? – невозмутимо спросил тот. – Для вас зонтик достанем, не беспокойтесь. Вы правы, отменить ничего нельзя: нам не только надо галочку поставить, но и себя поставить должным образом.

– Вот чего я боюсь, друг мой: что солдаты будут как мокрые курицы. В солнечную погоду у них было бы совсем другое настроение.

– Простому советскому человеку, Александр Августович, для поднятия настроения нужно не ясное солнышко, а всего-то боевые сто граммов.

Человеку непростому требовалось все же что-то другое, и настроение его оставалось под стать погоде. Перед самым выездом он и вовсе почувствовал себя плохо: времени было – только доехать до площадки, а референт мешкал: то надолго уходил за какой-то папкой в чужой номер, то искал зонтик – словно нарочно придумывал задержки, чтобы вывести старика из себя. Позже тот признался, что – да, нарочно, потому что им не стоило приезжать на место первыми: пусть генералы ждут главного конструктора, а не наоборот. В итоге они опоздали на добрых четверть часа, и военным, уже расположившимся в беседке, пришлось встать при появлении Александра Августовича. Неодобрительно посмотрев на красные лампасы важных чинов, он подумал, что нелишне было бы вывесить парочку флагов: в ненастье занавес выглядел особенно унылым. Солдат, кроме боевого расчета, видно не было, несмотря на обещание полковника Пругло вывести всю свою часть.

– Они построены на плацу, – успокоил Евтропов.

Наличие плаца в расположении подразделения вовсе не пехотного, а должного обслуживать технику, поначалу озадачило Александра Августовича; без помощи референта он бы не вспомнил, что на умении ходить строем основывается дисциплина любой армии. Теперь он задумался над тем, как применить это возвращенное знание в руководстве гражданской фирмой – не буквально, конечно, но использовать принцип.

Между тем началась демонстрация успехов. Затарахтел дизель, плавно отъехала задвижка, и в образовавшейся брешу публика увидела чисто вымытый дождем танк (но уже другой, как заметил Александр Августович – с короткой пушкой). Ничего, кажется, не повредив, танк переполз на эту сторону и, разгоняясь, двинулся на беседку. Военные переглянулись, но не двинулись с места, а танкист, популав зрителей, лихо развернул свою машину в грязи и проделал все маневры в обратном порядке. Натаров аккуратно застегнул за ним «молнию».

– Вот так вы будете пропускать свои войска, – пренебрежительно проскрипел Александр Августович.

К его удивлению, такая перспектива не вдохновила генералов, а командир полигона даже усомнился в том, что заказчиком занавеса является министерство обороны:

– Механизм, что и говорить, образцовый, только мне кажется, что он нужен скорее КГБ и пограничникам, нежели армии. После начала войны границы, как известно, несколько смещаются – и всегда в непредсказуемую сторону.

– Начальству, все-таки, виднее, – растерявшись, пробормотал Александр Августович и сбивчиво попросил всех присутствующих перебраться на плац.

Квартировавшее на площадке войско – строители и, для количества, ракетчики – давно собралось на учебном плацу, возле казарм. Сумрачный оркестр толпился перед украшенной неизменными звездами пустой трибуной. Начальство запаздывало, но солдатам было все равно, где дожидаться обеда, тем более, что дождь перестал.

Наконец вдали показалась вереница легковых автомобилей. Музыканты не спеша встали в строй, роты подровнялись, и над степью понеслись звуки летчицкого марша «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...»

Услышав музыку, сидевший в головной машине Александр Августович растрогался.

– А ведь там в одной строчке – все кредо сталинской идеологии, – безжалостно сказал Евтропов. – «И вместо сердца – пламенный мотор»!

– Жаль, нельзя пригласить кинохронику, – словно не услышав его, посетовал Александр Августович. – Да хотя бы фоторепортеров: это и для солдат была бы память – встреча с живым главным конструктором!

– Они и мертвых не видели.

– Лет через двадцать этим кадрам не будет цены. Вот ведь в чем дело: приблизится какой-нибудь юбилей, и люди по кадрам и по строчкам бросятся собирать материалы. Исторические материалы. Между тем историю надо писать не после, а во время. И текст и снимки можно пока засекретить... Обдумайте-ка, друг мой, на досуге эту идею – начать съемку летописи.

– Недаром долгих лет...

– Возможно, то, что нам представляется суетою, оценят потом – и очень высоко.

Машины выкатили в центр плаца, к сиротливо брошенной на мокрый асфальт ковровой дорожке. Услужливые лейтенанты распахнули дверцы, и Александр Августович, стараясь держать спину прямо, подо-

шел к немного его опередившим двум генералам. Он остановился к ним лицом, словно собираясь потолковать о погоде, и им, одному – с сокрушенным видом, второму – напротив, отчего-то развеселившемуся, пришлось с улыбками и прибаутками просить его повернуться и встать посередке, так что в конце концов получилась вполне провинциальная группка, будто бы позирующая перед фотографом; вместо последнего к ним от трибуны двинулся, печатая шаг, полковник Пругло. Александр Августович напрягся, опасаясь, что тот обратится с рапортом не к нему.

– Товарищ главный конструктор! – гаркнул Пругло, и главный конструктор, вздрогнув, облегченно вздохнул. – Гарнизон для торжественного парада построен.

– Спасибо за дружбу, друг мой, – позабыв заученные слова, проговорил Александр Августович; обернувшись к строю и помахав рукой, он выкрикнул: – Здравствуйте, товарищи солдаты!

– Здра... аю... ащ... рутр! – расслышал он бравый отклик; после томительной паузы добавилось: – Ура!

– Ура, – согласился он, не зная, куда деть руки и повторяя жест Ленина в кепочке – с известного портрета.

На трибуну поднялись строго по ранжиру: Лозаннский, за ним – генералы, потом Натаров; после некоторой заминки сделали знак и Евтропову. Александр Августович направился прямо к микрофону, на ходу доставая из кармана заготовленный листок.

– Товарищи! Генералы, офицеры и солдаты! – прочел он, делая вид, что смотрит не на бумагу, а поверх барьера. – Настал знаменательный день в истории нашей Родины. Почти семьдесят лет наша страна не имела защиты от зловредных влияний из-за рубежа, и вот полчаса назад впервые в мире мы продемонстрировали способ оборониться от чуждых нам воздействий. Универсальный Заслон, сооруженный вашими руками и только что продемонстрированный комиссии, навсегда отделит наше социалистическое пространство от полного лжи и контрастов мира загнивающего капитализма. Когда Заслон будет принят на вооружение, не только ни один нарушитель границы, ни один шпион не проникнут на территорию страны, но и каждое слово вражеской пропаганды разобьется о возведенную нами преграду. Больше ничего не помешает окончательной победе социализма в нашем лагере. Вы, советские солдаты, сделали великое дело и заслужили благодарность партии и правительства. Родина вас не забудет, и вы заслужите и еще одну благодарность, если после демобилизации пойдете на те мирные стройки, где будет возводиться штатный образец Универсального Заслона. В народе БАМ, Байкало-Амурскую магистраль, называли стройкой века, но

эта – будет стройкой тысячелетия. Мы завершим ее, вдохновленные историческими решениями пленумов ЦК. Да здравствует КПСС!

Переведа дыхание, он вспомнил, перед какой аудиторией выступает, и добавил, чуть увереннее, чем в первый раз:

– Ура!

Автоматчики за трибуной дали неожиданную очередь в воздух, взлетели красные сигнальные ракеты, оркестр грянул «Прощание славянки», и роты двинулись по периметру плаца. Военные на трибуне взяли под козырек, а Александр Августович, спохватившись, но не зная, как приветствовать строй, произвольно дернул руку вперед и вверх, тотчас, однако, почувствовав себя Гитлером на мавзолее – с тою все же разницей, что там под ногами ощущался бы могильный холодок, зато была бы возможность спуститься в буфет. От волнения и жары пренебрегший завтраком, теперь он вдруг понял, что голоден; представив себе, какими яствами могли бы потчевать под московской трибуной, в прохладном склепе, он даже застонал – неслышно из-за полковой музыки. Развивая мысль, он добрался и до напитков, какие могли бы пить вожди – и нынешние, подле саркофага, и сам Ильич. Сам он не посягнул бы на святую тему, но внучка как-то заводила подобные речи, и теперь он не мог отделаться от ясного воспоминания: Карина с почтительным выражением сетовала на то, что народ до сих пор не знает, что пил Ленин, и быстрым ответом здесь может быть лишь неверный: чай с сухарями. Но, во-первых, чаепития имели отношение только к артисту Штрауху в кино, а, во-вторых, для понимания всякого человека важно знать несколько другое: какого сорта и каким манером тот употребляет вино – тем более нелишне дознаться, что в этом смысле было свойственно вождю мирового пролетариата. Смаковать шустовский коньячок провинциальному публицисту было бы не к лицу, равно как и – другая крайность – пить чайными стаканами водку, хотя на последнее и намекал анекдот, фразу из которого («Возьмем помидорчиков, огурчиков, непременно – девочек, а проститутку Троцкого оставим в Москве») Карина, нарочно картавившая при пересказе, превратила в поговорку, и хотя никак иначе не обойтись было бы после субботников. Сухие тонкие вина отпадали в данном случае решительно, и выходило, что легче всего вообразить и самого товарища Ульянова-Ленина, и его супругу (составить мнение о вкусах незабвенной Инессы Арманд не представлялось возможности) сидящими в креслах-качалках с лафитничками кагору в руках и слушающими, как где-то вдалеке духовой оркестр исполняет вальс «На сопках Маньчжурии».

Сию минуту, правда, играли марш.

Солдаты, которых распирало от счастья и гордости, пожирали глазами Главного Конструктора. Подумав о грандиозности содеянного и о тонкости нынешнего психологического расчета, Александр Августович поморгал, чтобы прогнать набежавшую слезу. Командир полигона, наклонясь, что-то шепнул ему на ухо, но он не смог ответить из-за вставшего в горле кома и только кивнул – кажется, невпопад.

Войска набралось мало, но Пругло так умело рассчитал интервалы, что последняя рота двинулась с места ровно в тот момент, когда, обойдя площадь, ей наступила на пятки первая, так что бывшее начало вдруг замкнувшегося кольца узнавалось теперь только по знамени. В результате каждый солдат прошел перед трибуной трижды, но если кто и со считал это, то не счастливо возбужденный Александр Августович, который, глядя на марширующий ради него полк, думал о том, что мог бы сейчас послать его на любой штурм – брать мост, вокзал или почту: для этого достало бы единого слова.

Наконец ходьба надоела и полковнику. Короткой командой он остановил все движение, и Александр Августович, чувствуя, что гора свалилась с плеч, неловко затоптался, собираясь покинуть пьедестал – не тут-то было. Сзади его робко окликнули: «Товарищ главный конструктор!» – и, обернувшись, он увидел целую толпу солдатиков, тянущих руки с открытками, блокнотами и даже с журналом «Юность» в надежде получить автограф.

## 8.

Всякому времени присущи свои излюбленные словечки и темы; по словечкам спустя многие годы узнаешь бывших единомышленников, а темы, даже будучи исчерпаны и навязнув в зубах, долго еще находятся в обращении, прежде чем исчезнут навсегда. Одной из них стала в последние десятилетия века тема кухни – не закулисных махинаций, а именно комнаты, где готовится еда и где, как считается, проходила в застойные годы сознательная жизнь русских интеллигентов (в годы предшествующие мало у кого имелись свои, отдельные кухни, в коммунальную же гостей было не позвать). И в самом деле, после того как укладывались дети, в тесных квартирах не оставалось иного места для бдений с друзьями – за чаем ли, за бутылкой или за чтением. Но напрасно говорят, будто критика режима, планы эмиграции и проекты устройства страны рождались и звучали только там: находились и другие сцены. Увы, Россия тех лет не знала клубов – ни закрытых, для избранных, ни, для простого народа, простейших – в виде салунов, кнайпе или пабов; все, что позволялось в этом смысле в нашей угрюмой стра-

не, — это редкие ларьки на пустырях и задворках, у которых под открытым небом порой собирались такие компании, что порядочному человеку бывало совестно даже пройти неподалеку. Свинья, однако, грязи найдет, а удержание в себе новостей и мнений вредит здоровью, и невозможность выговориться вечером с лихвой восполнялась в присутственных часах, для чего добром служили места для курения — не курительные комнаты, упаси Боже, такой роскоши не знали в казенных домах, а чаще всего лестничные площадки, на которых вечно топтались группки дымящих либо дышащих чужим дымом людей. В течение дня эти группки постоянно и незаметно меняли свой состав в отличие от пивных — не только мужской; деление по половому признаку производилось лишь там, где администрация, якобы опасаясь поджога бетонных лестниц, а в действительности — из ненависти к человеку, загоняла курильщиков в ватерклозеты, чем отнюдь не уменьшала долготы перекуров: членов клуба не смущал вид себе подобных, справляющих иные нужды.

Александр Августович, некурящий либерал, постановил этим клубам пребывать как раз на площадках — с тем, чтобы сотрудники, находясь постоянно на виду, стеснялись бездельничать подолгу.

День у Понипартова выдался плохой, и он — не стеснялся: работа все равно не шла в голову, а шли мысли о Наташе, для встреч с которой что-то не стало находиться места, времени и прочих обстоятельств, зато находились (у нее) отговорки: лето, дачный сезон, Алешин дом полон гостей. С утра публика на лестнице собралась вялая, под статью Филиппу, и беседа не клеилась, пока к мужчинам не присоединилась машинистка Вера; она так торопилась поделиться известиями, что не стала закуривать.

— Слушайте, товарищи, у меня — свежая новость.

— Несвежая — уже не новость, по определению, — мрачно заметил Филипп, но Вера с некоторой даже досадою отмахнулась от него.

— Послушайте-ка, какой чудесный приказ гендиректора — главконструктора я только что отпечатала: «В связи с плохим состоянием проездов и участвовавшими случаями травматизма приказываю: Первое. Всем сотрудникам при передвижении между зданиями КБ и лабораторий пользоваться только следующим маршрутом: КБ — кузница — медпункт — столовая — столярный цех — лабораторный корпус. Проход мимо механических цехов №1 — №4 не рекомендуется. Второе. Лица, замеченные в нарушении маршрута, и начальники их подразделений будут привлекаться к административной ответственности вплоть до снижения премии на двадцать пять процентов, а при повторном нарушении — до перенесения отпуска на зимнее время».

— Шаг влево, шаг вправо — считается побегом, — разъяснил кто-то.

— Это после того, как девочка из лаборатории в дождь поскользнулась на глине и сломала ногу.

— Не проще ли привести в порядок территорию, чем сочинять писульки?

— Схожу-ка я в лабораторию, — сделал верный вывод один из слушателей, гася окурочек. — Через свалку, конечно: поищу что-нибудь для хозяйства. Пока приказ не подписан, подышу свежим воздухом.

— Заодно захвати из первого отдела бланки доносов, — с невозмутимым видом сказал другой. — Очень просили. А тебе, Верочка, спасибо, за то, что держишь нас в курсе событий. О премии, кстати, не слышно?

Спустившийся с верхнего этажа Евтропов отвел Филиппа в сторону.

— Нужна твоя консультация, — проговорил он, вытаскивая сигарету из протянутой Понипартовым пачки. — А. А. вдруг решил заполнить пробелы и заинтересовался ни много, ни мало — теорией относительности.

— Не слабо. И поздновато. Но чужие слабости надо уважать.

— В нашей библиотеке спрашивать, понятно, нет смысла. Посоветуй, будь другом, куда бедному крестьянину податься и что попросить такое, чтобы старик понял.

— Понять-то он все поймет, зря не наговаривай. Это как в еврейском анекдоте: одного уже спрашивали, — засмеялся Понипартов, — что такое теория относительности. Знаешь, что он ответил? «Точно не знаю, но ехать надо».

— Ну, знаешь, эмиграция для нашего брата — сюжет непопулярный.

— Заметь, однако, как все меняется. Те, что постарше нас с тобой лет на пятнадцать, рассказывают, что в их школьные годы, чтобы прослыть остроумным, следовало цитировать Ильфа и Петрова. Народ, тем не менее мельчает, и нам нынче приходится цитировать, увы, анекдоты, а не романы.

— Особенно политические, — согласился Евтропов. — Расскажешь и ...

— К слову: на этой лестнице прекрасная акустика.

— Как и всей страной, КБ управляет КГБ.

— Если это твой стишок, то позволь возразить: как и всей страной, нашим КБ давно уже никто не управляет. О стране, впрочем, оговорюсь: не управлял. О новейшей власти судить не могу: перемены все же заявлены, да неизвестно, какой из них выйдет толк и выйдет ли. Погодим судить: достоверной информацией мы с тобой не обладаем, так что давай не уподобляться пикейным жилетам.



– Стоп, стоп! – со смехом прервал его Евтропов. – Кого ты сейчас процитировал?

– Классика бессмертна, что ни говори. Мода приходит и уходит, а... Виноват, надо бы сначала договориться о терминах: что считать классикой.

– Независимо от этого, Остап останется надолго: хороший парень, жаль только, в любви ему не повезло.

– Не то что не повезло, а не досталось, – поправил Филипп. – Сатирики вообще не жалуют слабый пол. Кто там у них – одна гоголевская Коробочка? Да и то сказать: умные женщины встречаются, остроумные же – наперечет.

– Хорошо, что ни одна из них тебя не слышит.

– Перекуры не совпадают.

– Кстати, что-то давно я твою девушку не видел.

– Разница в биоритмах...

Понипартов вдруг осекся. Слишком часто, по делу и без оного заходя к художникам, он не обращал внимания, выходит ли Наташа в курилку. Еще не успев понять свою догадку, он почувствовал дурноту.

– Что с тобой? – встревожился, заметив его внезапную бледность, Евтропов. – Тебе нехорошо?

– А кому нынче хорошо? – привычно попытался отшутиться Филипп, одновременно подсчитывая месяцы и с ужасом понимая, что случившееся не имеет отношения к нему.

– Поди-ка, старик, в коридор. Довольно тебе дышать дымом.

Понипартов и сам уже рвался прочь, только не в коридор, а к Наташе, надеясь, что она посмеется вместе с ним над его страхами. Он пронесся по лестнице с такой скоростью, что кто-то с издевкой посоветовал вдогонку:

– Вспотел – покажись начальству.

Наташа, одна в большой комнате, мирно мурлыкала, склонясь над большим листом ватмана.

– Кредиторы гонятся? – засмеялась она, глядя на прислонившегося к косяку, запыхавшегося Филиппа. – Все в мальчишках ходишь?

– Какие наши годы? – машинально отозвался он, занятый другими мыслями.

– А еще хочу снежок неизвестной дамы в спину... – продекламировала Наташа. – Постой, Фил, что у тебя за лицо? Случилось что-нибудь?

Чтобы унять дыхание, ему пришлось дважды обойти комнату.

– Случилось ли, не знаю, – наконец ответил он. – До курилки доходят не все новости. Оттого, быть может, что ты стала обходить ее стороной. Уж не бросила ли ты курить?

– Бросила, – ответила она с вызовом, внимательно следя за выражением лица Филиппа.

Но он не решился задать следующий вопрос.

## 9.

– Уж не бросила ли ты курить? – спросил он тогда, уже ненужно, в ужасе от своей догадки, и Наташа, глядя в глаза и, кажется, решившись ответить и на следующий вопрос, с вызовом подтвердила: да, бросила; но как раз перед этим новым вопросом и отступил Филипп, уже не понимавший, как это он только что готов был выяснять все до конца. Теперь он смог лишь выдавить из себя нечто вроде шутки, чужой и старой: мол, нет ничего легче, сам бросал сто раз. Наташа взглянула понимающе и презрительно, и Филиппу пришлось подумать, оправдываясь перед собой, что он вовсе не отказался от объяснения, а лишь отложил ненадолго, чтобы мнимое незнание обстоятельств позволило, столь же ненадолго, сохранять хотя бы нынешние отношения: сделать непоправимое никогда не бывает поздно.

Отсрочка вышла жалкой, и, не используя ее, Филипп снова и снова просчитывал в уме сроки, вперед и назад, и если вперед, то выходила какая-то невозможная, едва ли не прошедшая пора, а если обратно – то, увы, полная его, Понипартова, непричастность. Много в прошлом теперь объяснилось, будущего он не видел вовсе, а настоящее стало сумрачным, как и наступившая непогода, которая многих заставила заговорить о том, что уезжать на отдых лучше не летом, когда хорошо и дома, а поздней осенью, чтобы переждать в сухих краях черную московскую слякоть. Настроение было под стать ненастью, из-за которого никак не мог продолжиться серьезный разговор: прогулки приходилось откладывать – и не в метро же было выяснять отношения, не в гостях (но они как-то незаметно перестали навещать друзей), и лишь кафе стало бы удобным местом, тем более, что там все могло разъясниться само собою, стоило только заказать вина, столь же, видимо, запретного для Наташи, как и сигареты, но как раз туда она и не принимала приглашений, отговариваясь тем, что ее интересуют одни выставки; Филипп же был сыт ими, внезапно расплодившимися, по горло. Ему пришлось сдаться и теперь – и он, хотя сырая погода и загоняла под крышу, не сумел сдержать своей радости, когда издали увидел закрытые двери галереи:

– Смотри, нет ни души! Наверное, выходной день.

И тотчас кто-то вышел наружу.

– Как сказала одна собачка из старого польского журнала, – засмеялась Наташа, – сперва надо понюхать, а потом радоваться, потому что нос у тебя впереди, а хвост – сзади.

– Помнишь, какие гигантские очереди еще недавно выстраивались на Малой Грузинской? – растерянно проговорил Филипп.

– Сладки только запретные плоды. Скоро авторы будут сами становиться в очередь, чтобы взглянуть на живого посетителя.

– Вот эту сценку мы и разыграем! Кто последний? – раздался голос за их спинами, и второй, там же, невпопад перебил: – А вот и третий!

Вздвигнув, Понипартов обернулся и увидел двух своих бывших одноклассников, одетых довольно небрежно: со сбившимися кашне, с пропущенными пуговицами. Тот, что сказал о сценке, Вовочка (иначе его и не называли) Сергачов, в школьные времена мастер был собирать зрителей: то, например, заставлял своих товарищей толкаться, тыкая пальцами в стекло, перед какой-нибудь витриной до тех пор, пока прохожие, которым тоже хотелось увидеть нечто интересное, сами не образовывали перед стеклом толпу (и тогда ребята, по одному потихоньку выскользнув наружу, потешались, издали наблюдая за обманутыми зеваками), то таким же образом выстраивал очередь в магазине, то изображал пьяного.

– Сколько лет, сколько зим! – вразнобой воскликнули все.

На подсчет числа тех и других ушло совсем немного, выяснить же, что за это время произошло с каждым, быстро не удалось, да и негоже было б – под мокрым снегом.

– Вы, собственно, куда направлялись, друзья? У вас дела или как? – поинтересовался второй приятель, Кротов, тоже Владимир, только среди своих уже никакой не Вовочка, а, если обходилось без прозвища, Володя; прозвище понятно было какое.

– Здесь интересный художник выставлен, – показала на близкую дверь Наташа.

– Идея! И мы – туда же, – отчего-то дурачась, воскликнул Володя, тотчас объяснив свой неподходящий тон: – А то ломали голову, где выпить!

– Вы что, чуваки, с ума сошли? – покраснел Филипп.

– Это же классика, Фил, – расхохоталась Наташа. – В греческом зале!

– Крот пошутил, – вступился Вовочка.

– Шучу, шучу, – согласился Кротов, – но бутылка-то и вправду в кармане.

– Вы что же, бездомные? – все еще смеясь, спросила Наташа.

– Бездомные, Наташенька, это мы, – объяснил Понипартов, – а они женатые.

Шутил Кротов или нет, но в таком составе идти на выставку было немислимо, разойтись, каждый своим путем, – некрасиво; оставалось очевидное третье – быстро решить одну из вечных российских проблем: найти где выпить. Не будь среди них девушки, выход нашелся бы тотчас, оттого что в привычных пропорциях и в российских тогдашних обычаях было распить пол-литра водки, как раз на троих, в первом попавшемся подъезде, а то и просто под аркой, в подворотне; едва узнав о таком намерении, строгие непьющие критики непременно напомнили бы, что подобные выходы простительны разве что совсем опустившимся пьяницам, ханыгам и бомжам; в ответ стоило бы лишь провести их ранним вечером по улицам, указывая на всякий близкий к магазину закуток – и не было бы довода сильнее, они убедились бы, что речь идет не о редких отщепенцах, а о большой – если не большей – части народа. Критики еще правы были бы, когда б в нашем обществе оставалась возможность говорить о приличиях; но о них давным-давно забыто напроць. Вот и Понипартов, не чуждый простейших позывов, подумал, что, при всем его воспитании, он, буде предложено, не только не побрезговал бы – со своими-то людьми, – а со всей охотой ударился бы в приключение.

В парадную – в ту, возле которой стояли, – они и вправду зашли, все четвером, но для того лишь, чтобы сопоставить свои намерения в укрытом от непогоды месте; подъезд оказался просторным, светлым, с широкими подоконниками, на которые все тотчас и уселись. Там, в тепле, уже можно стало и вспомнить минувшие дни, и осудить – настоящие; тогда и выяснилось, что вовсе не жены были причиной сиюминутной неприкаянности обоих Владимиров, а то, что они, как и все остальные одноклассники, разъехались незнамо в какие новые районы, далеко за дальние окраины старой Москвы (изо всего класса один Понипартов остался жить в своем прежнем доме), и когда теперь попадали в центр, уже некому бывало здесь позвонить, не к кому зайти на огонек, мимоходом, а только – смотреть на знакомые стены.

– И вы так и бродите по улицам? Неужели не сохранилось любимых местечек, где можно посидеть? – полюбопытствовала Наташа.

– В такие местечки – вам – я бы не советовал... – не слишком решительно проговорил один из Владимиров.

– От добра добра не ищут, – напомнил второй. – Чем же нам здесь плохо? Не греческий зал, конечно, но – сухо, тихо.

Положительно, русский клуб не мог не родиться на этой старорезинной лестнице, когда бутылка хлебного вина неотвратимо нагрелась в кармане. К счастью для компании, не чужда дерзкой мысли оказалась и Наташа – и не оскорбилась предложением, сделанным, к тому же, как бы не совсем серьезно.

– По правилам игры, надо бы разжиться плавленым сырком «Дружба», – напомнил Филипп.

– Да что тут закусывать – бутылка на четверых? – махнул рукой Владимир. – Хуже, что нет стакана – не станет же наша прекрасная дама пить «из горла».

– Дама вообще не станет пить, – заявила Наташа. – Присутствовать – это одно, но пить водку в подъезде – для женщины, согласитесь – падение.

«Какая безупречная формула! – одновременно восхитился и пододал Понипартов. – Так отказалась, что мне не понять причины».

Теперь, когда все окольные пути и тонкие подходы были использованы, ему не оставалось ничего другого, кроме скорейшего прямого допроса. Филипп больше не мог – и не должен был – искать удобного случая или подстраивать его, а только – дожидаться ухода свидетелей. Дождавшись – он так и не понял, не нарочно ли Наташа сказала, когда он стал извиняться за то, что втянул ее в пошленькую авантюру, не для того ли только, чтобы подвести к важной для нее теме:

– Будь ваша затея мне противна, я не постеснялась бы восстать. Что-то, конечно, пришлось преодолеть, но у меня есть и сила, и сила воли – ты мог понять.

– Я понял. Ты так уверенно порвала с приятнейшей привычкой, что я – понял. Скажи наконец, что это было неспроста. Отчего ты вдруг решилась?

– Оттого, что забеременела, – вовсе без запинки и со знакомым уже Филиппу вызовом, с испытующим взглядом в глаза, ответила она.

Снова, как и в тот день, когда после нечаянного чужого замечания у Филиппа возникло подозрение, он почувствовал, как бледнеет. Перед глазами замелькали неуместные и плохо различимые из-за быстротечности картины: это был сон, но без потери сознания. Филипп не мог вымолвить ни слова, и девушке, не дождавшейся подсказки, пришлось скороговоркою произносить неподготовленный монолог. Он прервал ее лишь спустя минуту:

– Если ты оставляешь ребенка, значит...

– Нет, он хочет сохранить свою семью.

– Зачем же...

– Позднего ребенка я не хочу. Не хочу рисковать. Мне, увы, не семнадцать лет.

Неубедительная ссылка на якобы критический возраст отозвалась в душе Филиппа горечью, оттого что между ним и Наташей ни о чем подобном не говорилось даже в лучшие дни – это при его-то нескрываемой охоте идти под венец (которую сегодня он благоразумно оставил за скобками).

«Мы всегда были так осторожны!» – с раскаянием вспомнил он.

– Ну, что же ты грустил? – улыбнулась Наташа.

Ответа не получилось: стоило бы только Понипартову заговорить, как он, не совладав с обидой, наговорил бы лишнего – и потерял Наташу навсегда. Она поняла это, хотя в ее глазах, оттого что сама она оказалась в гораздо худшем, чем он, положении, беда Филиппа вовсе не выглядела вселенской катастрофой. «Погорюет да другую найдет», – думала она, считая, что напасти, поначалу страшные, как конец света, спустя время вполне совмещаются с дальнейшей жизнью, а то и забываются напрочь.

– До свадьбы заживет, – утешила она.

Одной этой реплики иному человеку достало бы, чтобы тотчас совершить что-нибудь отчаянное, Понипартов же стерпел, сам не зная – из слабости ли или от чрезмерной любви. Вознагражден он был за это или наказан, судить трудно, только если сию минуту, прощаясь с Наташей, он считал, что между ними все кончено, и сходил с ума, то на следующее утро, на службе, зашел к ней поболтать как ни в чем не бывало. Потом все так и пошло: наши молодые люди вместе приходили на работу, вместе обедали, вместе уходили домой – и посторонние при всем желании не заподозрили бы не только непоправимых, но и никаких перемен, кроме одной – с течением дней все усугублявшихся изменений в Наташиной внешности, – и вряд ли расходились во мнениях насчет роли Понипартова; он часто ловил на себе их любопытные взгляды. «Вашими бы устами да мед пить», – отвечал он про себя на не услышанные им пересуды – поначалу добродушно, а потом уже и с раздражением, а то и зло. В действительности же ни слова сплетен так и не долетело до его слуха; возможно, лавина их обрушилась бы вслед за разрешением Наташи от бремени, но он так ничего и не узнал, оттого что с его неверной возлюбленной приключилось нечто столь недоброе, что и разговоры, и недомолвки, и косые взгляды, потеряв свой предмет, в одночасье прекратились словно бы сами собою. Пока же этого не случилось, Наташа, неожиданно для Понипартова, стала уделять ему даже больше времени, чем в их лучшие дни: ей теперь нужно было много гулять, и он

сопутствовал ей, встречи же ее с мифическими подругами, поздние просмотры фильмов в закрытых залах и прочие вечерние дела, при которых ему отчего-то нельзя было присутствовать, как-то незаметно прекратились, и Филипп сделал вывод, что счастливый его соперник исчез с горизонта, узнав, что Наташа решила сохранить ребенка. Сотрудники обманывались видимым благополучием их отношений, и Понипартов не разочаровывал их разъяснениями, да и сам привыкал к двусмысленности ситуации — совсем бы смирился, если б Наташа не отказывала ему в прежней близости: раз и навсегда запретила даже заговаривать об этом и лишь однажды, на исходе своего восьмого месяца, сама нарушила молчание, сказав, что да, все возможно, но — по заключению законного брака. Ясность этого требования покорила Филиппа, как раз о браке и мечтавшего, но сейчас только жестко усмехнувшегося про себя: теперь-то, когда многочисленные прежде женихи разбежались и положение стало отчаянным, она соглашалась и на Филиппа! Только что он был готов взять на себя чужой грех — и взял бы, если б не это откровенное условие, мгновенно подействовавшее отрезвляюще; принять его он не мог, отказать — не смел и просто, дотянув лишь до ее родов, перестал давать о себе знать. Потом он долго мучился оттого, что изрядная глава его жития закончилась на такой неопределенной ноте.

## 10.

Не сами по себе, как времена года, а лишь сообразно нынешним изменениям обстоятельств бытия чередуются в истории эпохи, отчего взаимное их расположение всякому заинтересованному лицу известно свое. Александр Августович, как и большинство его служилых соотечественников, заблуждался насчет времени, деля его наипростейшим образом, на прошлое и настоящее, тогда как нашему читателю, умудренному не только холодной войной, но и последующей пресловутой перестройкой в стране, и еще более поздними огнестрельными распрями, и прочими российскими происшествиями, видятся чаще всего такие времена: давно забытое, прошедшее и смутное. Последнее из них (не столько отмеченное народными смутами, сколько неясно различимое) даже записным оптимистам кажется нескончаемым, хотя всякий рвется положить ему предел, сказав тем самым новое слово в науке; правда же здесь заключается в том, что человек, конечно, предполагает, но располагает-то — Бог.

Существует и еще один сорт времени, замечательный тем, что не включается ни в какие исторические периоды — справедливо, потому

что не наступает по определению никогда; это — будущее. Между тем, мечтать о нем соблазнительно, и многие при расчетах держат его в уме. Вот и Александру Августовичу все мерещилось впереди некий горизонт, пусть и скрытый красным железным забором (впрочем, забор как раз подтверждал реальность линии: он-то по мере приближения не отдалялся); воображаемое им будущее слишком походило на прошедшее, но только со славой, деньгами и привилегиями, — и его хотелось вернуть. Нынешнее смутное если и было за ним различимо, то смутно; когда бы не так, то взгляду открылись бы колебания устоев. Александру Августовичу — не открывались и, занятый своими планами, он к разговорам о возможном потрясении основ отнесся скептически — в чем нельзя винить ни его самого, ни его возраст, оттого что даже и преданные, и молодые советчики не увидели угрозы общему делу, скрытой в новомодном понятии гласности. Кое-что, скорее всего — сырое мясо, дошлые эти люди все-таки учуяли, это он понял по поведению своего референта, который затевал, не таясь, что-то на стороне, больше не предлагая делиться барышами; это раздражало и мешало быть по отношению к нему справедливым, и в итоге Александр Августович пенял ему даже и за невинные его действия. Дошло до того, что он грозно рявкнул на Евтропова за то лишь, что тот болтал в приемной с Зинаидой, приняв бесстыдно вольную, с заплетенными ногами, стойку; до сих пор он вовсе не обращал внимания на подобные вещи, но тут вдруг вспылал со сладострастием. Позже, по размышлении, он вывел, что возмущился не нарушением казенного порядка, а бессмысленностью разыгрываемой сцены: напрасно было строить куры секретарше, пристрастия которой, как доподлинно знал ее шеф, отличались своеобразием. Разбираться в таких предметах не пристало человеку в его положении, но Александр Августович слишком хорошо помнил, как расстроило его в свое время это открытие, мгновенно погубившее стариковские надежды на живой обоюдный интерес за чашкой чая; сегодня же в нем заговорила не ревность, а родовая обида за мужчин, для которых пропадала настоящая красавица (но не так, стесняясь превосходных степеней, называл он ее про себя, а за сильное тело с лоснящимся, видимо, крупом, за длинные, с тонкими бабками, ноги и тем более за громкое ржание — доброй кобылицею). Правда, названная склонность Зинаиды могла оказаться выдумкой, сделанной для пресечения домогательств — с нее бы случилось, — но тогда это средство оказывалось — не из сильных.

О своей вспышке Александр Августович пожалел тотчас же, но не раскаявшись в учиненной грубости, а потому лишь, что она пропала впустую: рабочий день истек, сотрудники разошлись и, с одной сторо-

ны, оставшиеся имели право стоять хоть на голове, а с другой – нотация, потеряв слушателей, потеряла и смысл. Позабыв, зачем вышел в приемную, он молча наблюдал за Евтроповым, по частям приводившим себя в порядок – сначала расплетя ноги, затем оттолкнувшись от косяка, о который опирался рукою, и лишь затем распрямив спину.

Вняв хмурому приглашению зайти в кабинет, референт, хотя и пошел сейчас же, не преминул напомнить далекому от мелочей инженерского быта начальнику:

– Время-то – нерабочее.

– Тогда уж ночевали бы здесь, – невпопад усмехнулся Александр Августович, вопреки обыкновению проводя Евтропова в комнату для отдыха – не в виде особой милости, а по рассеянности, придумывая в это время поручение, какое мог бы дать референту. – Между прочим, день у нас ненормированный.

– Между прочим, это вещь, которую все стараются забыть, а помнят – о своем здоровье. Мне, честно говоря, не нравится, как вы сейчас выглядите.

В ответ Александр Августович только махнул рукой, подумав, что слишком устал за день и что пора взбодриться.

– Кофе, друг мой? – предложил он. Крышка термоса не поддавалась, и Евтропов помог ему. – Надо поставить точку в конце дня. С нажимом, жирным пером.

– Теперь шариками пишут.

– Кто к чему привык.

– Как к растворимому кофе?

– Скажите спасибо и за такой, – с нечаянной брезгливостью отрезал Александр Августович. – Можно подумать, что вы в своем кабинете варите кофе по-турецки.

– В кабинете! – расхохотался Евтропов. – О, в кабинете я бы – варил. Но редко же товарищ главный конструктор является массам. Страшно далеки они от народа! Знайте, что я сижу в зале, где кроме моего стоят еще двадцать три письменных стола. Что же до горячих напитков, то по распоряжению, заметьте, генерального директора тире главного конструктора пожарные нещадно конфискуют и кипятильнички, и электрические чайники. Такое впечатление, что они потом ими торгуют.

– Страшную картину вы рисуете, – искренне посочувствовал Александр Августович, одновременно умиляясь воспоминаниям о чаепитиях в «Протеатре», где он и сам кипятил воду в стакане. – Но почему же я не слышал жалоб от других?

– К вам с такой пустяковой на вид жалобой не придут, на то есть другие инстанции, да и все мы ученые, понимаем, что жаловаться – себе дороже, проще обойти запрет. Каждый знает свой способ выживания – это, собственно, предусмотрено правилами игры.

– В вашей игре пора навести шахматный порядок.

– Игра имелась в виду – общая, в какую играют вместе начальники и подчиненные, кошки и мышки, выскочки и обиженные. Свою я только еще хотел предложить.

– Однажды вы меня уже вовлекли в аферу с авторскими свидетельствами.

– Напрасно вы бросаетесь такими словами, – обиделся Евтропов. – Во-первых, мы ни на грамм не нарушили даже самый завалящий параграф закона, а во-вторых, у вас лично нет оснований для недовольства – не будет и в дальнейшем. Вы уж только не отвергайте сразу, а выслушайте: у меня тут появились некоторые не совсем, скажем, стандартные соображения. Начнем с того, что я нашел покупателя на рельсы.

– Не может быть! – взволнованно вскричал Александр Августович, попытавшись даже вскочить с места и расплескав кофе.

– Может, очень даже может: рельсы – дефицитнейший товар. Кто владеет рельсами – владеет миром. Шутка, конечно, но взгляните на глобус: большая часть планеты – океан, остальное – рельсы. Мы долго выжидали, и вот наконец пришла пора действовать. Как говорится, куй железо, пока – Горбачев. Есть, правда, одна закавыка: товар-то мы продадим, но вопрос в том – вы удивитесь, – куда деть вырученные деньги. Возвращать в казну – непристойно, она их не заработала.

– Других путей я не знаю, – особенно скрипучим голосом проговорил Александр Августович и принялся пространно излагать прописные истины планового устройства, сводящиеся к тому, что никакой директор предприятия не смеет распоряжаться средствами по своему усмотрению – сэкономив, например, на ремонте, выплатить из этой суммы премию малярам.

– Это все понятно, – улучив момент, перебил его Евтропов. – Но ведь можно направить деньги на целевую программу, для которой, в свою очередь, создать так называемое малое предприятие – они входят в моду. Малое предприятие со своим счетом в банке – оно-то имеет финансовую свободу.

– Разве у нас имеются целевые программы?

– Сегодня нет, а к утру мы их придумаем. Вы сказали о моей игре – вот я ее и предлагаю. Назовем ее обновлением электроники. Согласитесь, что вычислительные машины, имеющиеся на фирме, – девятнадцатилетние.

цатый век. Сегодня, чтобы не отставать и не позориться, надо иметь компьютерную сеть, надо, чтобы у каждого на столе стоял монитор. Вот и у вас будет стоять: нажмете кнопку – и увидите на экране любой расчет, график, любую сводку. Более того, мы сможем приступить к электронному проектированию, когда конструктора заменит компьютер.

– Видите ли, друг мой, если бы мы жили по разные стороны пруда... – улыбнулся Александр Августович. – Я понимаю, что нарисованная вами программа ничуть не фантастична, но вы забыли одну мелочь: наша с вами работа закончена, занавес спроектирован, и я подозреваю, что мои конструкторы теперь по восемь часов в день играют в шахматы или даже в карты, или – дикая мысль, разыгралось воображение, а, вернее, память – в «расшибец». Вы-то не знаете, что это такое – наши дворовые игры.

– Могу представить. А инженеры играют все-таки в шахматы, вы правы, но все дело в том, что ведь не закروют же такую фирму, не разгонят уйму народа, а какой-нибудь заказ да придумают. Да и сам железный занавес, глядишь, придется приспособлять к условиям Антарктиды, а то и Луны. Так что и люди никуда не денутся, и вычислительная техника пригодится.

– В мое время расчеты велись на логарифмической линейке – и, представьте себе, мосты не рушились, самолеты летали и даже атомная бомба взорвалась как надо. Дело, разумеется, в моем складе ума...

– Компьютер – это и есть склад ума, – сообразил Евтропов.

– Хм. Остроумно. Тем не менее оставим аллегории для романов. Жизнь требует иного: вы предлагаете устроить нашествие роботов, а я, грешный, ломаю голову над тем, как занять живых людей.

Мало-помалу они сошлись на том, что никто никого не вынуждает становиться ни роботом-владельцем, ни – рабовладельцем, тем более, что между тем и другим нет существенной разницы, так как всякий мечтающий об услужливой машине мечтает, в сущности, о добром дяде Томе.

– Вот и вы заговорили аллегориями, – удивился Евтропов.

– Больше того, я их продолжу: вы добиваетесь, чтобы я каркнул, хотя не знаете, что за сыр у меня в клюве.

Сыр Евтропов представлял себе в виде умножения зарплаты и прочих удовольствий за казенный счет – командировок, например, в страны, где производится нужная техника, – в Болгарию или даже в Венгрию; он и шефа поманил возможностью остановки по пути в карловарском санатории – и тот, поддаваясь на посул, задумался, но вслух для порядка попенял референту, помышляющему о развлечениях прежде, нежели о деле. Сомнительное же его дело, как считал, Александр Августович, терпело.

– И будет терпеть – ущерб! – воскликнул Евтропов. – Поймите, нет ничего хуже застоя, а от него есть только два лекарства: идеи и деньги.

– Подготовьте подробное обоснование, – с недовольной миной велел наконец Александр Августович – не потому, что внял доводам, а потому, что устал от напора собеседника и теперь ему не терпелось поскорее добраться до дома. – А сейчас – если пожелаете, могу подвезти до метро.

Но у Евтропова была своя машина, горбатая малолитражка, купленная когда-то на рынке за смешные деньги. Теперь он был уже в силах приобрести новую, но очередь, в которую он записался в магазине, могла бы подойти самое скорое лет через пять или шесть; в городе, между тем, насчитывалось множество других очередей – на крупных заводах и в учреждениях, получавших время от времени разнарядки на несколько машин, и Евтропов надеялся, что если по случаю сдачи проекта занавеса правительство одарит фирму Лозаннского орденами, садовыми участками, квартирами и автомобилями, то уж здесь-то он сумеет обойти соперников. Сейчас был удобный случай закинуть удочку.

– Спасибо, я на колесах, – отказался он. – Увы, не в состоянии в ответ предложить свои услуги: это был бы сущий позор. Дряхлая моя тачка давно выработала свой запас терпения и доживает за счет моего. Об этой модели – о новых, из магазина, аппаратах! – в одном иностранном журнале было сказано предельно точно: ремонту и эксплуатации не подлежит. К слову, Александр Августович, если нам вдруг выделят машины – не замолвите ли за меня словечко? Не то некрасиво будет, если все добро разойдется по начальству. Надо, чтобы и смертным иногда доставалось.

– Не забывайте, что я и сам начальство, – успокоил Александр Августович, морщась при мысли о том, что и его домашние – зять и, наверное, Карина – вожделеют того же, и ему, нечего делать, придется покупать, не столько даже потакая им, сколько из-за неприличия не брать то, что дают.

## 11.

Во многих переменах, участившихся в последние месяцы на предприятии, и даже в переменах, происходивших в нем самом, Александр Августович не без оснований считал виновным своего референта, незнамо как набравшего силу; впрочем, почти все они оказывались – к лучшему, и он не роптал. Дошло до того, что, придумав однажды заме-

чательную и полезную для себя вещь, он с досадой признал, что сделал это словно бы с оглядкой на Евтропова. Выдумка эта получилась вполне нечаянною, однако каждому известно, что даже и великие открытия совершались часто якобы невзначай, но все же — на подготовленной почве и при вполне ожидаемом стечении обстоятельств.

Главным из стекшихся обстоятельств стало чрезвычайное происшествие: обнаружение связи одной из незначительных сотрудниц с иностранным подданным — связи, скорее всего, любовной, то есть чреватой самыми непредсказуемыми последствиями. Роль в этом открытии человека, пекущегося на фирме об интересах государственной безопасности, оказалась обидно невеликой: ему просто предъявили на Лубянке тайно добытые сведения и приказали уличить. Прослушав после этого, задним числом, старые записи телефонных разговоров, он и в самом деле угадал кое в каких речах чужой акцент. Награды за это от чекистского начальства не вытанцовывалось никакой, скорее пахло выговором, зато выдавался случай подчеркнуть свою полезность перед другим начальством — перед главным конструктором, которого вовсе не обязательно было знакомить с подоплекой, а лишь — ошеломить итогом. В час, отведенный для ежедневного рапорта, Маматюк прямо с порога заговорил об этом исключительном событии, но Александр Августович то ли не расслышал, то ли вдруг придумал свою игру, только отозвался на сообщение с непонятной несерьезностью:

— Наконец-то!

— Неймется людям, — продолжил Маматюк, словно не заметив ехидной реплики, — так и норовят сотворить что-нибудь противоправное — кто из легкомыслия, а кто и из озорства. Вот и приходится кого журить, а кого и наказывать, портить человеку анкету.

— Интересно, многим ли вы успели испортить?

— Честно говоря, здесь, в НПО — никому. Вы можете сказать, что, мол, плохо искал, потому и не выявил, но я утверждаю, что это — результат хорошей профилактической работы. Сегодняшний случай нам, конечно, в минус, — и переходящего знамени за квартал теперь не видать, и я лично останусь без премии, — но, с другой-то стороны, он как раз и свидетельствует о нашей бдительности.

— Неужели так-таки и поймали диверсанта? — не оставляя легкомысленного тона, поинтересовался Александр Августович. — Расскажите же наконец толком.

— Солдатики из охраны за поимку получают отпуск, — сообщил Маматюк, поняв, что наконец может сесть, и устраивая свою крупную фи-

гуру в глубоком кресле. — У них-то все просто: услышал шорох в кустах или увидел тень, кричи: «Стой! Стрелять буду!» — а когда тот остановится, то и стреляй, как обещал. В наших условиях все вышло сложнее, и все же на основании одного только прослушивания удалось обнаружить интимную продолжительную связь сотрудницы предприятия с иностранцем.

— Надо полагать, услышали шорох в кустах?

— Положительно, с вами трудно сегодня разговаривать, — вздохнул Маматюк. — Но в самом-то деле, нелегко разобраться во всех этих голосах и шумах.

— Да вы и не разбирались, — в свою очередь вздохнул Александр Августович. — Скажите уж прямо, что кто-то, как говорится, настучал.

— Не скажу. Докладываю официально: сотрудница вызвана, соответствующая беседа с нею проведена, остается только уволить. Она здесь художницей.

— Художницей? Разве мы держим художников?

— Как же, целую бригаду. Помилуйте, кто же вам плакаты рисует? Да и сама Наталия Николаевна Шалиско, о ком речь, принята в штат по вашей личной рекомендации, что придает делу, согласитесь, особенный интерес.

— В этих стенах, товарищ Маматюк, согласитесь, неловко слышать милицейские шуточки. Скажите-ка лучше: она, по анкете, профессиональная художница?

— Мудрый вопрос, но я отвечаю, как на простой. По анкете — да. Опять же вам лучше знать. Среднее специальное образование. Другие у нас — из обычных чертежников, а эта, я слышал, картины малюет.

— Где же это вы слышали? — снова с подковыркой спросил Александр Августович, невольно представив себе анфиладу музейных залов, увешанных картинами, среди которых выделялся его портрет в старинной раме.

— Слухами земля полнится, — пошутил было Маматюк, но тотчас согнал с лица улыбку и окончил напыщенно: — У нас все стены имеют мои уши.

— Да, да, входит в ваши обязанности, — согласился Александр Августович и, выйдя из-за стола и склонившись над расслабленным в кресле Маматюком, спросил вполголоса: — Скажите, кстати, как долго будут засекречены мои фамилия, фотографии, наконец, лицо? Ведь чьи-то имена стали называть вслух? Гласность, видите ли...

— Пока инструкцию не отменили — пожизненно. Вы уж извините.

— А посмертно?

– Это другое дело, но и здесь многое зависит от самых разных обстоятельств – от того даже, кто подпишет некролог, – почтительно объяснил Маматюк.

– Вы что же, уволили эту женщину?

В ожидании ответа Александр Августович невольно задержал дыхание: только что придумав одну замечательную вещь, он боялся, что возможность, по незнанию, упущена, и, волнуясь, пытался сообразить, нельзя ли устроить дело задним числом.

– С увольнением не все просто, – развел руками Маматюк. – Она беременна. Просит погодить с санкциями до декретного отпуска: нет средств к существованию и так далее. Оно, конечно, соответствует законодательству, зато противоречит правилам режима.

– Знаете что... – отойдя к окну, Александр Августович всмотрелся в безрадостный вид Анучина, думая, что хороший живописец смог бы приукрасить и такой пейзаж. – Пришлите-ка ее ко мне.

– Я так и подумал.

– К слову, друг мой, что вы сказали только что о пресловутой гласности?

– Но вы это сами сказали...

– Неважно, кто... Но, впрочем, вы правы: сор из избы...

Только что ему впервые пришло в голову, что желаемая обществом гласность может не свестись лишь к повальному оглашению чужих промахов, а приведет к самым неожиданным попустительствам, а раз так, то – чем черт не шутит – и к его собственной известности. Видимо, не напрасным было его довольно уже давнее распоряжение о фотографированиистроек, интерьеров и всех значительных сцен из жизни фирмы для задуманного им музея трудовой славы. На большинстве снимков Александр Августович разрезал ленточки или держал речи, и на всех кадрах неизменно присутствовали изрядно надоевшие физиономии сотрудников. Теперь он понял, что если вдруг в музей станет возможным доступ постороннего люда, то посетители должны увидеть там его, отца железного занавеса, изображенным не просто отдельно от рядовых сотрудников, но и манером, недоступным никому из его обычного окружения: на портрете маслом.

Время давно уже казалось довольно мягким, и Александр Августович был вполне уверен, что не разделит участи строителей Великой китайской стены, от которых не осталось ни имен, ни воспоминаний, а дождетя светлой поры, когда на улицах его начнут узнавать школьники. Тогда он оставит в музее лишь копию портрета, а оригинал переместит из служебных помещений в какое-нибудь достойное общественное

место, хотя бы – в фойе Колонного зала или в Музей революции (он надеялся, что и сам в положенный срок ляжет в Колонном зале).

– Кстати, – произнес он посреди совсем другого разговора, озадачив этим собеседницу, – мысль о Музее революции случайна, но недурна.

Другой этот разговор происходил в том же месте, но не в тот же час, а на другое утро, и Александр Августович не сразу вспомнил, зачем вызывал к себе эту сотрудницу; помогло ему лишь упоминание ею имени Маматюка.

На первый его взгляд Наташа Шалиско была женщиной излишне крупной – к таким он относился с некоторой опаской, – но статной (тут не приходилось даже делать скидок на ее положение), лицо он нашел красивым – милое русское лицо, – однако ноги с излишне выпуклыми икрами, по крутой кривой утончающиеся к лодыжкам, расстроили его так, как если бы он сам повинен был в этом, будучи в кровном родстве и передав несовершенство линии по наследству, в действительности же – оттого, что невольно связывал внешность со способностями к изящным искусствам, предполагая тут прямую пропорцию, словно художники лепили из глины или вырезали из дерева себя сами.

– Жаль, очень жаль, – забывшись, сказал он.

– Что-нибудь одно: или жить человеческой жизнью, или следовать инструкциям, – поняла его по-своему Наташа.

– Вот вы о чем... Возможно, вы свободны в выборе, но для меня вопрос стоит по-другому. Тем не менее вы и меня толкаете на нарушение: меры в вашем случае полагается принимать безотлагательно, вы же хотите протянуть до декрета.

– Не помирать же с голоду. Искать новое место сейчас бессмысленно – кто возьмет беременную бабу? Иными словами, службы не будет, а работой не прокормишься.

– Странно вы противопоставляете: служба – работа...

– Разные вещи. В моем случае – взаимоисключающие. Днем я сижу на службе и не могу работать, а работаю вечерами и в выходные.

– В каком-то смысле мы бросаем щуку в реку?

– Да в этой реке одни щуки и плавают, – засмеялась Наташа. – Напустить бы туда пескариков для продовольствия...

– Что ж, поговорим и о продовольствии. Позвольте, друг мой, любопытствовать: что сейчас стоят картины? К примеру – портрет маслом? Впрочем, виноват, вопрос поставлен некорректно: я понимаю, что к иным авторам и за миллион не подступиться. Скажем точнее: какова минимальная цена при достойном уровне работы?



Подумав, Наташа назвала известную ей сумму – и Александр Августович ужаснулся. «Придется оформить каким-нибудь договором и списать на новую электронику», – чуть погодя сообразил он, изумляясь быстрой, с какой усваиваются приемы Евтропова, и попробовал поторговаться:

– Хорошо. Допустим, я сделаю вам такой заказ. Причем, учитывая, что выполнять его вы будете в рабочее время, я бы уменьшил сумму процентов на тридцать.

– Но ведь речь идет о том, что как раз рабочего-то времени у меня и не будет.

– Вы, кажется, просили подождать с решением до рождения ребенка?

– Жаль, я не работаю маслом. Акварель, пастель... Цифру же я и без того назвала смешную – мало кто возьмется. Но чей портрет вы имеете в виду?

– Мой.

«Господи, Боже мой! – поразилась Наташа. – Ему же вот-вот придется заботиться о посмертной маске! Или, с учетом тщеславия – о восковой фигуре. Можно поспорить, что для сеанса он нарядится в черный костюм с приколотыми орденами. Но хватит: странно, что я так злюсь». Все же, продолжая думать зло, она вообразила еще и антураж, какой ей закажут – книжные корешки или что-нибудь вовсе неожиданное, вроде декорации, какими когда-то пользовались провинциальные фотографы, малевавшие на дерюге пальмы и горы с непременно, на переднем плане, конным горцем в бурке и папаче, но с овальной дырой вместо лица, в какую клиент мог, для опознания родственниками, всунуть – свое; Лозаннскому она предложила бы вместо пальм и лошади изобразить, среди гор, перспективу уходящей в бесконечность Великой китайской стены.

Главным было все-таки, то, что она не представляла себе «Портрет начальника» выполненным акварелью, которая требовала известной тонкости и сюжета, и самой модели: портрет Анны Керн или Натали Пушкиной – вот что ей было бы естественно написать в такой технике.

Деньги все же были очень нужны.

– Может быть, сделать пастелью? – неуверенно предположила она.

Заказчик явно не представлял, что это такое, и Наташа, подумав: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною», – предложила:

– Если хотите, я завтра принесу показать свои пастели. Чтобы вы не покупали кота в мешке.

– Не сочтите, друг мой, за труд. Посмотрю с большим удовольствием, хотя того толка, какой вы имеете в виду, из этого не получится: в

вашем деле я, признаться, полный профан и все равно не угадаю, каким чудовищем вы меня изобразите.

«Кентавром, как и всякого человека на стуле, – захотелось ответить Наташе; она вовсе не придумала этот образ, а лишь припомнила, как кто-то в курилке назвал руководство фирмы стадом кентавров, – только кентавром наоборот: с лошадиным лицом, но на двух человеческих ногах, в брюках и башмаках. В отдалении можно было бы разместить и кого-нибудь еще из стада, но этого уже – классического, с конским крупом, а рядом, на лужку, паслась бы девочка-кентавреночка по кличке Карина, вся в бантиках и в платье с турнюром – без турнюра следящей за собой кентаврице не обойтись. Но что за удовольствие писать это длинное невыразительное лицо?»

– Что вы, – сказала она, – карикатуры мне не под силу: не тот склад ума.

– Ну, положим, склад ума – это компьютер, – вспомнил он, и Наташа взглянула на него с удивлением.

Рассказав потом об этом своем удивлении Филиппу, она услышала в ответ лишь то, что ожидала:

– А. А. не прост, а стар. В этом все дело.

Наташа как раз считала, что прост, вернее, другого не приходило ей в голову, но теперь, подумав, что Филипп прав (хотя бы потому, что в его мнении было куда больше доброты, нежели в – ее), понимающе кивнула головой. Он же вдруг рассмеялся:

– погоди, он поймает тебя – с поличьем. Знаешь, по словарю Даля портрет – поличье.

Сочувствие к дряхлому начальнику не помешало обоим поупражняться в остроумии в пределах заданной темы. Едва Наташа упомянула о кукле для музея восковых фигур и о выдуманной ею декорации, как Филипп тотчас мрачно посоветовал изобразить конструктора железного занавеса на фоне именно занавеса, на просцениуме – как конферансье, в галстук бабочкой. Наташа строго заметила, что бабочку не пропустит партком, а занавес – Лубянка, на что Понипартов, не смутясь и не медля, ответил новым предложением: поставить фигуру Лозаннского перед картой нашей великой Родины – с ужасом на лице от осознания протяженности ее границ; вдобавок он посоветовал поинтересоваться у шефа, каким бы тот хотел себя увидеть – умным или красивым.

– И если умным, то приспособить чеховское пенсне? – усмехнулась Наташа.

– А если красивым – то придать черты Понипартова.

## 12.

Годовщина смерти Майи Борисовны прилась на воскресенье, и все же Виктория, отказываясь ехать утром с отцом на кладбище, сослалась на занятость. Он огорчился, но промолчал, рассудив, что всего лишь пожинает плоды собственных педагогических стараний и что каждый понимает свой долг по-своему (если, конечно, вообще знаком с этим понятием, давно вытесненным из обихода незнамо чем). Карина, напротив, не только согласилась с охотой, быть может – в пику матери, но и едва не опередила деда с предложением – выговорив, однако, себе право добираться самостоятельно, только договорившись о часе; это как раз устраивало нашего вдовца, уже имевшего провожатого – Семена Ходатаева, давнишнего друга дома. Дряхлую малолитражку по такому поводу не потревожили, чтобы дать возможность водителю выпить за упокой души, и долго добирались на метро и автобусе. По случайному и ненужному совпадению Майя Борисовна была похоронена в Анучине, в год ее кончины еще не сыгравшем своей роли в судьбе мужа. Место ее было расположено в самом начале только что открывшегося тогда кладбища (живых в день похорон там находилось больше, чем постоянных обитателей). Александр Августович всякий раз с содроганием вспоминал представшую его взгляду отвратительную картину: по обширному глинистому полю под мерзким дождичком полз экскаватор, оставляя за собою сырую траншею, в которую веселые мужики опускали один за другим гробы, заодно наскоро насыпая между ними перемычки. Одновременно совершались два или три погребения, и голос священника над одной могилой заглушался пьяным оркестриком от соседней. Сегодня же музыка если и играла, то едва ли не за горизонтом, на невидимых и неслышимых отсюда свежих участках; увы, это не прибавило здесь покоя, присущего до последних лет русским кладбищам – только не этому, новейшему, походящему на обычный недобрый пустырь, зачем-то уставленный камнями. Александр Августович, нередко теперь пытавшийся вообразить обстоятельства будущего своего не-существования, с грустью подумал, что сам бы хотел лечь непременно за старомодной чугунной оградкою, но что в действительности воля его ничего не значит и его подхоронят к жене, ничем не заслонив от ветра и солнцепека (он снова, как часто стало случаться, позабыл, что Майя Борисовна умерла не мужнею женой, а разведенной, свободной женщиной). Грусть его неожиданно усугубилась от встречи с внучкой, вдруг обнаруженной не в условленном месте, а за чужим богатым памятником, в объятиях незнакомого ему мужчины – более, надо сказать, приличного на вид, нежели большинство прежних ее поклонников. Ничего не сказав Кари-

не, как накануне – ее матери, он лишь с горечью заметил про себя, что слишком многое происходит теперь не по его воле – от унижительной необходимости следовать в работе американским отмеренным подсказкам или овеществления, будто бы под его началом, остановских планов референта, последствий чего они оба не могли вообразить, до диких выходов внучки. «Она становится мифом, моя воля», – сказал он сам себе, а чуть погодя, забывшись, повторил то же вслух.

– Говорят, деда, – со смехом тотчас подхватила Карина, – что воля на все есть только – Божья.

– Я все казнюсь: не способствовал ли. Твоя бабушка, возможно, прожила бы дольше...

– Не назначили же вы день, это не в ваших силах, – снисходительным тоном поспешил утешить молодой человек, которого Карина успела представить как Калюжного, не назвав по имени; но как раз его слова и разволновали Александра Августовича, ни в коем случае не считавшего себя пособником хотя бы чьей-нибудь кончины (не принимать же было всерьез когда-то загубленную кошку) и, несмотря на только что высказанное сомнение, не верившего в способность кого бы то ни было распорядиться, не прибегая к откровенному хирургическому вмешательству, временем плотской жизни, даже и собственной.

– Все оттого, – неожиданно для себя сказал он, – что время и кровь суть одно и то же.

– Ты, Саня, становишься философом, – удивленно заметил Ходатаев.

– Как всякий посетитель кладбища.

– Последние шалости, – по-своему истолковал услышанное Калюжный, тотчас, правда, смутившись.

– Помолчи, – одернула его Карина. – Ты, милый, перегнул палку.

– Это уже травма.

– А это – уже хулиганство. Тебе не кажется, что нас тут слишком много?

– На миру и смерть красна, – важно произнес молодой человек, заставив остальных обернуться к нему с недоумением на лицах.

Александр Августович, вовсе не шокированный репликой, посмотрел на того, однако, внимательнее прочих и, найдя в чертах излишнюю смазливость, почувствовал к нему естественную мужскую неприязнь. «Где она достает всех этих кретинов? – не впервые изумился он выбору внучки. – Я их перевидал, пожалуй, штук уже двадцать да не меньше, наверное, осталось за скобками – и не нашел ни одного приличного».

– Пойди, подожди меня у ворот, – велела Калюжному Карина. – У нас тут свои дела.

– Семейные, – не сдержавшись, раздраженно подчеркнул Ходатаев. Понятливый молодой человек ретировался, и Александр Августович печально заключил:

– Что ж, придется от последних шалостей вернуться ко старческим вздохам.

За время, что он не бывал здесь, пейзаж успел измениться – появились новые памятники, – и отвлекшийся на пустые разговоры Александр Августович запутался; теперь пришлось повторять попытку, начав от входа. Неудачное начало отвлекло от одних дурных мыслей, навевая другие, о плохих приметах; в конце концов он решил, что, хотя и нелепо ждать в таком месте добрых знаков, все же многократное вступление сюда, уподобляясь простой рабочей пробе, отдаляет момент его собственного несамостоятельного переселения в подобные пределы.

Со второго захода они вышли к Майе Борисовне на удивление просто. Карина, оставив своих неповоротливых спутников, поспешила вперед, чтобы, достав из-за надгробия спрятанную в прошлый раз стеклянную банку, умчаться с нею по воду – даже не взглянув по-настоящему на могилу, не помолчав над нею. Александр Августович подумал, что правильно сделал, не настояв на поездке еще и Виктории.

– Молодежь, – понимающе улыбнулся Ходатаев, угадав его мысли.

– У Чехова, кажется, было: когда нечего сказать, сетуют на молодость.

– Надо бы скамейку поставить. Присесть – совсем иначе текло бы время.

Нынче оно текло торопливо: едва убрав осенний мусор и пристроив в банку цветы, Карина отправилась на поиски своего Калюжного; дед простился с нею рассеянно, думая в этот момент о том, что будь Майя Борисовна жива в день, когда ему предложили работу над занавесом, и посоветуйся он с нею, судьба его стала бы иною – но он не узнал бы, сколько потерял.

– Прости, Майя, – сказал он наконец, все еще не переставая думать об этом собственноручном повороте колеса. – Я знал, что делал. Пойдем, Сеня. Наверняка поблизости найдется где посидеть и без помех помянуть покойницу.

Между тем посидеть можно было бы разве только на грязной скамейке у остановки автобуса: даже и самого захудалого буфета не могло найтись возле ворот, вплотную к которым подступал березовый лесок, заслоняющий кладбище от шумной автострады. За последней начина-

лись жилые кварталы Анучина, куда Александру Августовичу совсем не хотелось бы переносить действие.

– Представляю, что скажет какой-нибудь мой работник, – объяснил он, – застав своего главного конструктора в питейном заведении.

– Можно подумать, – ухмыльнулся в ответ Ходатаев, – что зарплата, которую ты платишь своим людям, хватает на посещение кабаков.

– Они получают достаточно.

Довод Ходатаева был все же серьезен, и Александр Августович решил положиться на волю случая, который и устроил ему, приведя в первое же по дороге (и непрезентабельное) кафе, замечательную встречу.

Посетителей в зале оказалось в этот полуденный час совсем немного – только компания школьников, расположившаяся за сдвинутыми столами; кто-то из них читал, кто-то писал в тетради, потягивая «Пепси», – создавалось впечатление, будто они пришли сюда готовить уроки. Пожилая официантка, перехватив наших стариков на пути к уютному темному углу, усадила их на самом ходу, возле окна, из которого была видна только глухая стена панельного дома и ржавый автомобиль; лишь совсем прикинув к стеклу, можно было разглядеть далеко в стороне кусочек улицы.

Заказав два бокала сухого вина и мороженое, Александр Августович, из-за неважного самочувствия совершенно неспособный к выпивке, посетовал на отсутствие в меню подходящей случаю водки. Беда оказалась поправимой: у верного спутника, по советскому обычаю, «с собой было»: он предусмотрел не только четвертинку «Столичной» и два пирожка с капустой, но и стопочку для Майи Борисовны, и кусок ржаного хлеба, чтобы эту стопочку накрыть; собственно, все это предполагалось пустить в ход прямо на кладбище, но там Александр Августович отчего-то заторопился, и Ходатаев не стал предлагать. Здесь же они дерзко нарушали правила, и официантка, тотчас узрев водку под черным ломтем (хотя перед самими клиентами стояли рислинг и бутылка минеральной), надолго многозначительно застыла над столом, с тоскою решая, стоит ли выторговать лишние чаевые или, уважив очевидную причину, оставить порядочных стариков в покое. При ней, пусть и уважившей, разливать, конечно поостереглись, а позже то, что налилось в граненые казенные стаканы, всякий принял бы за нарзан. Так, выдавая вино за воду, они и выпили (Александр Августович лишь смочил губы), имея в виду не Царствие небесное и не упокой души, а только сказочную мягкость анучинской земли – той самой, что сейчас пока носила, но впоследствии должна была бы принять и самого Александра Августовича.

– Опять ты за свое! Не женою же тебе она померла, – резонно напомнил Ходатаев. – То есть это даже было бы против законов.

– Все же мы с нею временами раскаивались, сожалели... А скорее – жалели: один – другого, а другой – себя. Наверное, это была не вся еще жалость, если мы не пошли на попятный. На дворе ли такая пора или дело в возрасте, только нам ничего уже не достается сполна – ни жалости, ни правды.

– Не хватало еще на старости лет заниматься правдоискательством. Достаточно того, что вокруг тебя только и требуют то правды, то свободы. А теперь еще и обещают.

– А что я буду делать с вашей свободой? – с горечью воскликнул Александр Августович. – Уже сейчас ума не приложу, куда от нее деться: за каждым углом подозреваю анархию. Покойная Майя чувствовала бы себя, мягко говоря, неуютно в такой обстановке, ты же знаешь.

– Мир праху ее, – заключил Ходатаев, поднимая недопитый стакан поддельного нарзана. – Как вышло, так, значит, и нужно было, так и назначено.

– Кому – нужно? Послушай, друг мой, уж не становишься ли ты верующим?

– Нет, Саня, этого мне, как видно, не дано. Но я ведь, ты знаешь, что я крещеный? Быть может, это что-то и значит?

Сожаление, которого не пытался скрыть друг, не понравилось Александру Августовичу, но он всегда твердо держался заведенного в доме покойной женою строгого правила не допускать рассуждений об очевидных вещах (о религии либо, допустим, о монархии) как бесполезных и способных только рассорить спорщиков – нет, не супругов между собою, они-то смотрели на упомянутые предметы одинаковыми, приблизительно глазами, но их обоих – с младшими. При этом она считала взаимное непонимание детей и родителей естественным, а он – сущей катастрофой, будучи убежден, что коль скоро те и другие одинаково вышли из сталинской шинели, то и не должны расходиться ни в малом, ни в чем.

– Жаль, что не дано, – повторил Ходатаев, – потому что напоследок хотелось бы найти оправдание... сам не знаю чему.

– Бесконечности?

Всего какой-то час назад Ходатаев, не поняв сделанной будто бы невпазд реплики собеседника, с удивлением и не слишком серьезно причислил его к философам, и вот сейчас случай повторялся, словно и не могло быть иначе в такой день (сказал же тот: «как всякий посетитель кладбища...») и в таком возрасте, когда напоминания о вечности

ли или о небытии непременно напоминают и о близости собственного ухода, и об обидной бесконечности отведенного остающемуся человечеству срока. Как человек сугубо тактического, как и у любого дельного инженера, ума, Александр Августович не пришел в восторг от этого отнесения себя к чуждой категории любомудров – людей, в глубине души почитаемых им за бесполезных (когда бы его поймали на этом слове, он живо заверил бы, что делает само собою разумеющееся исключение для классиков марксизма-ленинизма, которых просто преступно ставить на одну доску с прочими, рядовыми философами – но так и не узнал бы, как на самом деле прав в последнем). При нужде постичь только что упомянутую всуе бесконечность он обратился бы с вопросом скорее к знакомому понаслышке Эйнштейну, чем к досужим мудрецам и краснобаям; нужды между тем не возникало, и он все норовил вернуться мыслью от бесконечности к концу, страшному даже верящим в загробную жизнь.

– Чем дольше я живу, друг мой, тем меньше меня интересуют отвлеченные понятия.

– А вот это, Саня, уже беда. Посмотри на себя...

– Поверь, этим я стал заниматься теперь даже слишком часто. В буквальном смысле: не могу отделаться от идиотской привычки надо, не надо – представлять себя со стороны. Сижу и разглядываю своего двойника.

– Разговариваешь с ним?

– Еще бы! Как в той присказке: приятно поговорить с интересным человеком. На этой работе я растерял собеседников, кроме тебя. В кабинете с утра до вечера толпа, а поговорить не с кем. Невольно вспоминаешь, как славно мы жили в «Протеатре»... А теперь для меня поговорить – значит произнести монолог, который слушают потому лишь, что я плачу деньги – за другое, разумеется, но в действительности еще и за это. Я плачу им, а проблема остается. Ты, Сеня, напрасно улыбаешься, это серьезно: человек почувствовал, что у него осталось что-то за душой... Да какой там осталось! Только недавно и появилось. Старческая болтливость, конечно... Я все знаю: и то, что многословие – порок, и что молчание – золото, только ведь и возможность платить слушателям я получил совсем недавно. В «Протеатре» мы хотя и говорили о многом и без стеснения, я все же зажат был сознанием собственной невысокой цены, сообразной моей покупательной способности. Кто я был такой, чтобы судить сильных? А теперь мне показали, что деньги – это свобода: коли ты не стеснен в средствах, то не стеснен и в мыслях. Даже для себя, в тайных мыслях – не стеснен, да вот беда: и тайные, и

всякие прочие иссякают, оттого что мой двойник сидит словно под стеклянным колпаком, и к нему не смеют обратиться.

– Сию минуту и обратятся, – пообещал Ходатаев, глядя куда-то за спину своего собеседника.

– Да кто же? – еще не понимая, вскричал тот, но вопрос так и остался риторической фигурой; чтобы понять его ненужность, даже не пришлось оборачиваться, оттого что новый посетитель кафе поспешил, обойдя стол, предстать перед Александром Августовичем лицом к лицу.

Этой встречи менее всего хотел бы Александр Августович; он предвидел подобное, но не в такой же степени, когда сегодня, возражая против посещения заведений общепита в Анучине, подумал о том, как неприятно будет, если сотрудники застанут его в непотребном месте среди ничтожного люда, в действительности же вышло так, что место оказалось пусть и убогим, но пристойным, публика – скромной, зато сотрудник овеществился в сильнейшем из вариантов. Узнав черты секретаря парткома научно-производственного объединения «Гром» Пекшева, Александр Августович почувствовал себя нашкодившим школьником. «Непременно настучит», – решил он, еще не понимая, кому и на что тот может настучать, но твердо зная, что может – и сделает. Первым его помыслом было спрятать голову, отвернуться, не узнать, и только после изрядной паузы он сообразил, что и Пекшев наверняка растерян не меньше.

– Вы что же, друг мой, – проскрипел он, брезгливо разглядывая неизменный клетчатый костюм Пекшева, в сочетании с буйными не по возрасту кудрями и веселым лицом делавший того похожим на клоуна, – что же, решили промочить горло?

– Какие люди! – всплеснул руками Пекшев, будто лишь сию секунду узнав сидящих за столом.

Его восклицание заставило молодежь по соседству оторваться от уроков.

– Люди, к счастью, все те же. Меняется одна обстановка, – без улыбки отозвался Александр Августович, с сожалением заключая, что теперь содержанием дня останутся не воспоминания якобы в присутствии супруги, о проведенных с нею безоблачных десятилетиях и не обсуждение с другом забывающихся ее, Майи Борисовны, черт и способностей, а унылые препирательства с надоевшим на службе и ни при каких обстоятельствах не нужным ему человеком. – Какими, однако, вы судьбами?

– Да живу я тут. Говорят, кстати, будто и вы задумали...

– Мы так и ждали, что встретится кто-нибудь из своих, – перебил его Ходатаев.

– Здесь – не мудрено.

– Это закон: чем дальше от дома, тем вероятнее встреча.

Их содержательную беседу прервала официантка, замершая было неподалеку в ожидании, когда определится мизансцена. Пекшеву, заметившему ее вопросительный взгляд, пришлось сесть за стол, не испросив разрешения.

– Водки и бутерброд, – не подумав, брякнул он.

– Мы не подаем, – пожал плечами официантка. – Вы же знаете: никаких крепких напитков.

– Пьют же они, – с таким же пожатием возразил он, указывая на стопку Майи Борисовны, плохо замаскированную ржаною крышечкой.

– Как я принесла им по стакану рислинга, так и стоят нетронутые.

– Кошмар какой-то, – потряс головой Пекшев; жест, при его короткой шее, получился несуразным. – Говоришь – белое, а тебе – черное... Портвейн-то у вас есть?

– У Александра Августовича – печальная годовщина, – наконец счел нужным разъяснить Ходатаев. – Мы остановились здесь по дороге с кладбища, чтоб помянуть доброго человека если и не в семейном кругу, то наедине.

– Вот как? Понимаю, товарищи, понимаю.

Скорбя о пропавшем намеке, Ходатаев выразительно посмотрел на Александра Августовича в поисках поддержки, но тот лишь проронил:

– Ничего, видимо, не поделаешь.

– Видимо? – изумился Пекшев.

– С другой стороны, всегда находятся варианты. Немного решительности – и помехи покажутся несущественными.

– Это вы о чем?

– Да, о чем я хотел сказать? – смешался Александр Августович.

– О вариантах?

– Нет, нет... Скорее, о фигуре оппонента: она неизбежна.

– Как-то я не понимаю связи, – пробормотал Пекшев. – Тем более, что все мы обязаны иметь общую точку зрения.

– Ну, это вы уж слишком.

– Тем более, что вашу точку не всегда можно распознать, – коротко рассмеялся Ходатаев. – Тоже ведь не фунт изюма.

– Вам помогут, – чем-то раздражившись, отрезал Пекшев. – На то и существует партийная организация.

Официантка, принесшая заказанный портвейн, небрежно спросила нового клиента, вздернув брови и не снимая стакана с подноса:

– Вам сюда подать или отдельно сядете?

– Что это здесь творится? – возмущенно выкрикнул Пекшев, и в самом деле вскакивая с места. – Дайте жалобную книгу, наконец. Почему вы меня отсаживаете?

– Мое дело предложить. Вижу, вы один пришли, вот и подумала, что хотели уединиться.

Встретив ее взгляд, Александр Августович покачал головой. В конце концов, он хотел только покоя.

– Ну, земля пухом, – поднял свой стакан Пекшев, так и не спросив, по ком они сегодня скорбят.

– Ах, ты... – спохватился Ходатаев, сообразив, что при госте следовало бы отхлебнуть не фальшивого нарзану, а сухого вина. – Впрочем, согласно обряду... Да и то сказать, довольно скоро, Витольд Петрович, вы и в мой адрес скажете... В конце концов, всем нам дана только лишь отсрочка – и не будем жадничать. Конечно, хорошо бы использовать ее в полную меру, не то обидно будет недооценить собственный след. Случается же так, что человек живет простым ремесленником, а скончается – и полмира начинает гоняться за его поделками. Взять хотя бы наши дела: китайцы строили свою стену как оборонительное сооружение, а сегодня она – настоящее произведение искусства.

– С берлинской стеной такого не случится, – заверил Пекшев.

– При чем тут?.. Впрочем, уже не случилось, – брезгливо проговорил Александр Августович.

– Чем это она вам не нравится?

– Бездарный складской забор. Мы с вами там, увы, не бывали, своими глазами не видели, но не станете же вы утверждать, что для ее постройки, в спешке, нанимали архитекторов? Маршал приказал – солдат поставил. Сегодня, под свежим впечатлением, я бы, честно говоря, представил ее себе подобной ограде анучинского кладбища. И нравится она мне или нет, но если говорить серьезно, – тут он понизил голос почти до шепота, – то наше изделие, возможно, первым делом следовало бы ставить не на границе, длины которой я не в состоянии вообразить, а как раз в Берлине. Победить, так сказать, в отдельно взятом городе, а там... Думаю, что это было бы почище пресловутого воздушного моста.

– О чем вспомнили! – усмехнулся Пекшев. – Это – вчерашняя политика. Из вашего моста давно выкачан воздух и он, свернутый в рулончик, пылится на складе.

– Не став даже достоянием истории СССР, – заметил Ходатаев.

– Еще станет. Но поверите ли, Витольд Петрович, – оживился Александр Августович, – что вы своим художественным образом угодили в

самую точку? Не далее как в пятницу ко мне на прием напросился один пожилой чудака – вы оба его знаете, так что я не назову имени, – именно с идеей сворачивания тоже весьма нематериальной вещи, а именно истории. Аргументация его проста: существуют же гипотезы о сворачивании времени и пространства (все, мол, читали об этом в фантастических романах), а история в этом ряду – это уже частный случай, причем тут уже можно управлять процессом.

– И управлять будет он?

– Разумеется. Но как – вот этого он не смеет объяснить, хотя и владеет секретом. Пришлось одобрить его изыскания: очень будто бы своевременной оказалась идея, ведь в моем возрасте только и думать, как бы свернуть биографию в этакий голубец...

– Александр Августович, вы ведь инженер и материалист... – упрекнул Пекшев.

– ... а иной раз завидую верующим, которые обращаются как раз к тонким материям, то есть и не к материям вовсе, в противоположность нам, чей горизонт – разложение плоти. Для нас ни бытовые страсти, ни высокая философия ничего не могут изменить.

– Это прямо бердяевщина какая-то.

– Вам разве знаком Бердяев? – удивился Александр Августович. – Мне-то, честно говоря – нет, и я не могу вам возразить. Честно говоря, не думаю, чтобы он был доступен, хотя бы и в Ленинской библиотеке.

– Зачем же он должен быть знаком? Я таких вещей не читаю.

– А беретесь осуждать. Но ладно, замнем. Не будем тревожить неведомых теней.

– Поговорим лучше о деле, а?

– Но я вовсе не хочу – о деле! – простодушно воскликнул Александр Августович, который в такой компании не хотел и – ни о чем другом.

– Так ведь надо, надо. В вашем кабинете, при народе...

– Так ведь и тут – при народе?

– Время наступает горячее, строительство на носу, – не унимался Пекшев. – А на фирме ходят слухи о вашем предстоящем переезде. Говорят...

– ...что и мне скоро пора? – поспешно перебил его начавший раздражаться Александр Августович. – Вот мы и вернулись к исходной теме. Извольте-ка ее придерживаться: вечная, как-никак, достойна уважения.

– Особенно в Союзе...

– Здешнее кладбище, – в свою очередь перебил его и заскукавший

было Ходатаев, — не успели открыть, а оно уже за горизонт ушло. Город-то огромен.

— К чему вы клоните? — не понял Пекшев.

— Вы же говорите об особенно высокой смертности в Союзе? Вот я ваш тезис и иллюстрирую. Мы с Александром Августовичем, правда, должители, но, видите ли, исключения только подтверждают правила. И ведь один черт знает, за счет чего мы этого достигли: я-то берегусь, как могу, а вот он, напротив, совсем о себе не думает: то мчится на полигон, в самое пекло, в июле, то... Да что там говорить: одинокий человек, некому удержать дома.

— А супруга что же?

— Хватит! — рявкнул Александр Августович, ударяя ладонью по столу.

— Витольд Петрович, дорогой, — взмолился Ходатаев, — как же вы не поняли? Мы ведь как раз по поводу годовщины ее смерти сюда и пришли, прямо с кладбища.

— Так бы прямо и сказали. Только отчего же — сюда? Не домой?

— Как вам объяснить подходчивее?.. То есть я говорил уже: там — домашние с излишними речами, а мы собирались поговорить вдвоем, с глазу на глаз.

— Вот оно что... А я за упокой как-то без чувства выпил. Придется нам с вами повторить.

— Знаете, как говорят в народе, — не вытерпел Ходатаев, — вы тут посидите, а мы с шефом... Да и время, кажется, вышло.

— Повторите без нас, друг мой, выпейте с душой, соблюдайте чин. Я вам доверяю, — сухо сказал Александр Августович, вставая из-за стола.

Он удалился, опираясь на плечо приятеля, оскорбленный — и уже задумавшийся над тем, как славно было бы приспособить железный занавес для противодействия не одним пошлым лазутчикам и волнам вражеского радио, но и вообще любой мерзости, какую только сможет сочинить, а затем излучать в направлении невинных людей талантливым человеческий разум.

### 13.

Аккорды, как известно музыкантам, делятся на устойчивые и неустойчивые. Последние словно бы не терпят одиночества и, требуя разрешения во что-нибудь надежное, передают слушателям ощущение неудовлетворенности, отчего ими и не принято заканчивать пьесы. Разницу между этими двумя видами звучания слышат все, но не понимает ее никто. Сухие люди физики наверняка способны объяснить феномен неустойчивости какими-нибудь несовпадениями частот, интерференци-

ей волн и Бог знает какими еще умными вещами, в каких не смыслят ни скрипачи, ни трубачи, но даже им, ученым, остается неясным, как все эти премудрости, описанные и рассчитанные ими, действуют на наши неосозаемые души, ищущие покоя. Неясно это и психиатрам и психологам, не знающим нотной грамоте; эти, правда, имеют дело с живою речью, и кому как не им задуматься бы о смысле разрешения иных созвучий в рифму, то есть тяготения (в нашем представлении) всякого звука к опоре.

Слушателям рифмованных стихотворений надобно иметь особую память — изучением каковой пренебрегли ученые (да и открыли ли они ее?): если музыке возможно внимать, забывая уже сыгранные такты и живя лишь мгновением, то для восприятия стихов важно удерживать в памяти звучание первого рифмованного слова, пронося его через несколько строк до искомой находки подобия; ум при этом может и позабыть, о чем говорилось в начале строфы, но звуковая память держит своего хозяина в напряжении до тех пор, пока заявленному слову не сыщется достойной пары.

Полю Валери казалось, будто форма — это лишь сила, согласующая мысли с речью, а речь — с памятью. Но то же разрешение в рифму не говорит ли об обратном, и не память ли — инструмент формы? В самом деле, мы сначала задаемся ритмом или узором и лишь потом используем нечто, сохраняющее до поры голоса, цвета и длительности — чтобы в нужный момент изумиться точности попадания.

Согласие созвучий и соцветий (как и прочие предметы мировых законов) не придумано никем, оно всегда жило в природе, ожидая человека; последний, явившись, усложнил многое, требуя даже и упомянутую только что гармонию непременно довести до какой-нибудь логической точки (разумные физики скажут — до вхождения в резонанс со звуком и светом, мы же решим — до слияния с ними). В неразумном мире те и другие аккорды, а иначе — вопросы и ответы — существовали на равных, не выясняя отношений, пока того не потребовали мы — для успокоения собственных существ.

Состояния души тоже бывают устойчивыми и неустойчивыми. Неустойчивыми — не годится завершать жизни. Если памяти недостает, чтобы дождаться рифмы, выход может найтись только один — в сумасшествии. Жаль, что мало кто понимает необходимость такого исхода для себя; давать же в подобных случаях советы более чем рискованно.

Впрочем, давать советы рискованно всегда.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 1.

Время в рассказах часто движется скачками, словно обгоняя и самого себя, и описываемые события, и хотя наш читатель лишь недавно одолел половину повести, дело, которым занимались действующие в ней лица, наверняка уже видится ему завершенным. Впрочем, на то он и читатель, чтобы заблуждаться относительно обстоятельств и исходов происходящих действий: как разберется в них, так и сказке конец. Люди по ту сторону страницы находятся в лучшем положении, особенно — сам зачинщик описанной затеи: он знал даже сроки; но и при этом исключительном знании все подгонял часы, предвкушая день, когда сможет, положившись на старания наученных им уму-разуму подчиненных, сесть, сложа руки, и только стричь купоны; увы, пока все выходило наоборот. Для присмотра над строительством на границах страны железного занавеса ему пришлось послать туда — и в Уссурийский край, и в Туркмению, и на Кольский полуостров — своих специалистов, сначала — лучших, потом всяких, оставив при себе только заместителей и референта — последнего хотя бы для того, чтобы направлять в нужную сторону ручеек словно бы нечаянных, но и неотвратимых денег. Тот, в свою очередь, попытался оставить в Москве Понипартова, без которого не умел находить ручейку новые притоки, но опоздал с протекцией, и Филипп не без удовольствия отбыл на Дальний Восток.

Полет скоро наскучил ему.

Кресла в самолетах хороши, чтобы подремать в них часок-другой, но для девятичасового перелета скорее, по мнению Филиппа, подошли бы кровати, и он с тоскою гипнотизировал холодное табло, зловредно скрывшее в себе сладкий призыв застегнуть привязные ремни. Взгляд нужного действия не оказывал, и тогда Понипартов обращал его к иллюминатору, за которым, как и на табло, ничего не менялось: под крылом он видел сопки, сопки и сопки с щетиною леса и без следа не только дорог, но, казалось ему, и рек, и с легкостью представлял себе, каково приходилось там, внизу, беглецам из лагерей: если уж самолет, при его

скорости, все не мог долететь до какого-нибудь населенного пункта, то что же говорить о голодном человеке, пешком продирающемся через заросли в сторону заката — то на гору, то со горы? В итоге этих наблюдений он поумнел самое малое на две мысли, вполне государственного масштаба: о том, что незачем тратить деньги на охрану здешних исправительных заведений, так как оттуда все равно некуда бежать, и о том, что глупо огораживать железным занавесом сей нежилой край — разумнее было придвинуть заграждение вплотную к Уралу; он не верил, что в пространстве внизу, которым хотелось так легко пренебречь, в действительности разместились даже крупные города. Разогрев за время пути воображение, Понипартов едва ли не всерьез ожидал по приземлении увидеть радостно встречающих его чукчей на собачьих упряжках, и подлинная картина, открывшаяся с трапа, поразила не костюмами ряженных, а непредвиденной странностью пейзажа: перед ним простиралась совершенно плоская равнина, которую так бы и хотелось, столь же плоско, назвать бескрайнею, когда б не поставленная вдали — невпопад, без предупреждений и предгорий — ненужная гора. Одинокая на ровном месте, она так и просилась в кадр, но аппарат лежал на дне сумки, да, по-видимому, и нельзя было бы снимать при окруживших самолет пограничниках. Подумав, что еще возьмет свое, Понипартов побрел к зданию вокзала, за которым начиналось шоссе, протянутое в утыканые стволами лиственниц сопки — точно такие же, наверное, как и те, что он видел с небес.

Желтый автобус избегал подъемов и спусков, предпочитая петлять по распадкам, и только уже в черте города позволил себе соскользнуть куда-то глубоко, чтобы там, будто от незнания обратного, наверх, пути, освободить наконец пассажиров. Соскальзывал он среди хозяйственного непотребства, вдоль старых дощатых заборов, между бараками, складами и мастерскими, зато продолжением этой унылой дороги, которое теперь предстояло осилить пешим ходом, была чистая улица, снова круто вздымающаяся в гору и аккуратнo застроенная четырехэтажными жилыми домами, от тоски выкрашенными ссыльными малярами в неожиданно яркие цвета — алый, васильковый, изумрудный, канареечный. Перспектива замыкалась в точке, где утвердилось чудо советского зодчества — ящик с портиком о шести колоннах, с золотым гербом на фронте и с красным флагом над крышей — то ли обком партии, то ли гарнизонный клуб. В первых этажах почти каждого из разноцветных зданий размещались рестораны, замечательные своими вывесками — «Вечная мерзлота», «Северная надбавка», «Приют старателя» — и дальше в том же духе, так что Понипартову невольно вспомнилось емкое



название единственного кафе на полигоне – «Родная хата». Между питейными заведениями затерялся книжный магазин, который изголодавшемуся без книг москвичу никак нельзя было бы обойти вниманием; бросив взгляд на его витрину, Филипп вскрикнул от восторга. Скоро он уже засовывал в сумку удачную покупку: том Пруста – для себя и «Справочник зубореза» – в подарок знакомому дантисту.

Ресторанные вывески раздражали его, оттого что и хотелось есть, и жаль было тратить время на долгую трапезу в обществе лауреатов северной надбавки; он предпочел бы перекусить на скорую руку – и как только подумал об этом, так тотчас и нашел нужное место, магазин кулинарии, тоже не безымянный: «Медвежий угол». Потчевали здесь тем же, что и во всех буфетах Союза – плавлеными сырками «Дружба», песочными коржиками по восемь копеек и поддельным кофе; нашлось, однако, и приятное исключение: сухое красное вино. Все четыре позиции и заказал Понипартов, устроившись поближе к прилавку, чтобы при случае перекинуться словом со смазливой молодой буфетчицей.

Кроме него, в кафетерии находились два посетителя, супружеская пара. Жена, при всем явном желании увести мужа домой, не тянула того за рукав и не скандалила; оглядев недавно, видимо, отремонтированное помещение и задержав взгляд на водочных бутылках под столами, она оценила:

– Хорошо вам устроили: и выпить есть где, и закусить.

Муж охотно согласился:

– Хорошо! А то – дрожи за углом на улице.

– Могли б и мне поставить стакан, за встречу, – слышалось за спиной Филиппа.

Вздвигнув и живо обернувшись, он встретился глазами с человеком, которого, кажется, встречал – да не помнил, где. Тот поспешил помочь:

– Помнится, мы и в первый раз видались в забегаловке – смешно, но такова се ля ви. Меня зовут Виктор Деригузов, а познакомил нас Боря Евтропов, мой товарищ по институту.

– Да, да, просто времени прошло порядочно. И все же у меня такое впечатление, будто мы виделись и позже.

– Исключено: позже началось такое... Впрочем, я понимаю, о чем вы...

– Мир, все-таки, располагает ко встречам. Причем, если хочешь неожиданных, нет способа лучше, чем отправиться в дальнейшее путешествие – не за, так на границу.

– В самом деле, что за радость была бы нам сойтись в Анучине?

– Как писал классик, волосы и ногти нам даны для того, чтобы доставить постоянное и приятное занятие. Так же и расстояния придуманы ради удовольствия от встреч.

– Придется перечитать классику, – усмехнулся Деригузов. – Но вы-то – какими путями в наши края?

– Так уж и в ваши? – изумился Филипп. – Недавно мы считались земляками. Вы ведь тоже в командировке?

– Да живу я тут! У вас, я вижу, готов вопрос, так я сразу отвечу, что не завербовался ни на рыбозавод, ни на прииски и не женился на самоедке. Настоящую историю в двух словах не расскажешь, и я отлучусь, тоже возьму двести граммов.

Вернувшись со стаканом вина, он продолжил, гораздо спокойнее, чем раньше:

– Собственно, вся история может вам быть и неинтересна – оставим ее для другого раза. Еще придется к слову. А коротко скажу, что я, практически с тех пор, как мы с вами познакомились, сижу здесь корреспондентом центральной газеты. Так вышло, что мне позарез понадобилась очень долгая и очень далекая командировка. Отсюда и наша встреча на далеком меридиане.

– Сколько же вам приходится писать, чтобы такая поездка окупилась? – простодушно удивился Понипартов.

– Да нисколько, – засмеялся Деригузов. – Она и не должна окупаться. А приходится – материал в неделю, не больше. Здешней экзотики им не надо. Я же от избытка сил совмещаю профессии. Досуг – на службу народному хозяйству. Или: талант расцветает в труде. Могу похвастаться: в моем здешнем послужном списке значится даже такая сногшибательная должность, как изобретатель детских игр.

– И за это платят?

– Платят за любой бред. Вот классический случай: кости и фишки. Помните, в детстве мы играли в «Цирк»? Бросаете кости, и ваша фишка то взлетает под купол, то шмякается в опилки. Не помню, чем все кончалось – неужели буфетом? Так вот, на этой основе сочинена тьма вариантов, вплоть до игр для взрослых дядей, для сети партийного просвещения. Опишу первый попавшийся. Допустим, в начале я младенец. В зависимости от того, сколько очков выбросит кость, я попадаю либо к няне, либо в детский садик, затем меня принимают в пионеры, в комсомол, в партию, выносят строгий выговор. Кидаю кость снова – и меня исключают! А ведь мог бы уже стать завмагом!

– Потрясающе, – хохоча, оценил Филипп. – Вам не предлагали в качестве гонорара за такой аттракцион семь лет отсидки? Тем более, что отсюда и ехать далеко не надо?

– Нет, таким образом кости пока не выпадали. Но мы отвлеклись. Выпьем за встречу.

– Кстати, что это за нектар?

– Каберне, – объяснил Деригузов, рассматривая стакан на свет. – Красивый цвет, черт побери. Каберне ты моя, каберне... Его тут выпито столько, что, пожалуй, все подводные лодки мира могут спокойно размагничиваться в нашей гавани: населению это больше не страшно. Пейте, пейте, пользуйтесь случаем: незаменимая вещь после облучения. На материке, я слышал, тоже были неприятности такого сорта?

– Свою газету, вижу, вы читаете.

– Напрасно вы язвите. Да, читаю, хотя и знаю, как она делается. Кстати, не читайте здесь свежих московских газет: то, что в них написано, случится у нас еще нескоро. Перемены доходят сюда с опозданием на целую эпоху: если вы в Москве ведете счет умершим генсекам и всякий раз после похорон тотчас чувствуете новую метлу, то наш первый секретарь только-только переживает двадцатый съезд.

– Нынешний генсек молод. Не надейтесь.

– О, нет, я-то – читаю, слежу за вашими далекими событиями – оттого, что заинтересован, оттого, что должен уловить момент, когда можно будет вернуться.

– Простите, – озадаченно спросил Понипартов, – вы что же, скрываетесь?

– В некотором роде. Адрес-то мой знают все, искать не надо, да ведь расстояние велико. Я вовремя использовал древний принцип: с глаз долой – из сердца вон. Мне грозил фактически запрет на профессию, но мой стремительный маневр удался, и я, как видите, живу очень, даже слишком спокойно. Правда, есть, конечно, одна вещь, в которой я просчитался. Живя в столице, я в свободное время пописывал просветительские книжки и статьи, и за них иной раз платили приличные гонорары. Понятно, что на подобный доход я рассчитывал и здесь, почти как на единственный источник средств, тем более, что времени стало – хоть отбавляй. И что же? Здесь попросту некому предложить рукопись. Широка страна моя родная... До ближайшего издательства надо лететь на самолете, а общаться при помощи почты в нашем деле не принято. Волка ноги кормят, вот и нам надобно топтать ножками, мозолить глаза редакторам, угощать коньячком. К тому ж ближайшее –

оно, оказывается, совсем по профилю не мое, а мое-то где было, там и осталось: в белокаменной.

– Что же за грех вы совершили, если не секрет? – оборвал его рассуждения Филипп.

Последовавший в ответ рассказ о «прощании с пшенкой» привел его в восторг.

– Расскажи вы это моему шефу, он бы вас расцеловал.

– Пусть поцелует меня в жопу, – машинально пожелал Деригузов и вдруг запнулся, сообразив, что речь идет о его двойнике, к которому он когда-то изобретал подходы и о котором едва не позабыл в своей ссылке. – Постойте, постойте – какому шефу? Лозаннскому? Что ему за дело?

– Тут все просто: его первый заместитель – сын маршала Пшенко. Он, понятно, получил свое место по папиному звонку, но это еще не все: я думаю, что они оба рассчитывали на дряхлость Лозаннского, со смертью которого младший Пшенко мог бы претендовать на его кресло. Фортуна, однако, дама капризная, и умер не наш А. А. (мы зовем его по инициалам), а маршал, и сынок завис в воздухе. Страна, Виктор, до сих пор никак не распрощается с Пшенкой. Но что вы так странно смотрите?

Тот и в самом деле глядел дико, но от вопроса Понипартова встрепенулся и, нехорошо суетясь, предложил:

– Хотите, я попрошу буфетчицу плеснуть нам спиртика? Она держит для своих, это известно. Для вас, труженики края. Правда, я сию минуту не при деньгах, выбежал-то из дому на минутку – не рассчитывал на междусобойчик. Да вы же не последний день в городе, завтра рассчитаемся.

День был как раз и первым и последним, но Понипартов кивнул, соглашаясь.

Буфетчица прошла мимо них, чтобы убрать посуду с дальнего стола.

– Красивая попка, – кивнув ей вслед, проговорил Деригузов – машинально, оттого что одновременно думал о том, что встреча с чело-векем из Анучина вовсе не случайность, а знак. – Да у нее и лицо такое же.

– Вы уж, пожалуйста, не забудьте повторить ей свой комплимент, – улыбаясь, сказал Понипартов. – Доброе слово и кошке приятно.

Спирт им налили, для маскировки, в бутылку из-под воды.

– Не шалим, никого не трогаем, – продолжал веселиться Филипп, – пьем боржомчик.

– Определенно, это некий сигнал к действию.

– Что именно?

– А! Вернемся лучше к общей теме. Видите ли, в бытность мою главным редактором я не мог оставить без внимания появление в районе такой фигуры, как Лозаннский. Можно было б взять интервью или написать очерк – да куда там: секретность, закрытость, черт знает что еще... Но мысль свою я затаил, и вот теперь – не появилось ли зацепочки? Я слышал, какие-то послабления вышли?

– Я не слышал, – холодно ответил Понипартов. – Исключено. К тому же и вы не в районной газете служите.

– Но вот намеки на гласность – за ними что-нибудь стоит?

– Намеки к делу не пришьешь. Будут перемены – будет и разговор. Конечно, варианты надо просчитать заранее. У меня, например, готов план рекламной кампании кое-какой нашей побочной продукции: пока другие опомнятся, я уже раскручу ее вовсю.

– Вот и я мог бы пригодиться в рекламе.

– Вы живете на краю света.

– Не век же тут куковать. Сами говорите, свежие веяния. На полях страны. Давайте-ка, выпьем за Чехова: в Москву, в Москву!

Они чокнулись и выпили не разбавляя.

– Будем считать, скрепили соглашение, – с трудом переведя дух, сказал Деригузов. – Вместе – к единой цели.

– Ну, положим, насчет соглашения вы погорячились. Скажем так: протокол о намерениях. На вашем месте я бы не спешил сворачивать дела.

«Сворачивать!» – усмехнулся Деригузов с горечью, потому что не было ничего легче, чем прекратить свою корреспондентскую деятельность, зато невероятно трудным, если вообще возможным, виделось ему предстоящее объяснение с женщиной, совсем не заслужившей обиды. Он, правда, уже заговаривал с нею о неминуемом отъезде, и она соглашалась с его доводами, но он хорошо знал, что это такое – напоминать женщинам о вчерашних договорах.

– Сворачивать? – переспросил он. – Напротив, самое время. Мне сейчас заказан всего один крупный материал – статья для «савраски» – так я напишу ее хоть в Африке.

Понипартов, помрачневший от выпитого, почему-то решил, что имеется в виду статья о ГУЛАГе, но оказалось – о железном занавесе. Он не поверил своим ушам – и весьма озадачил своего собеседника.

– Да ты с Луны свалился? – воскликнул тот, невольно перейдя на «ты». – Как это – что за диковина? Железный занавес – оружие холод-

ной войны, условная преграда, препятствующая распространению передовых идей за рубежи нашей Родины.

– А что за «савраска»?

– Час от часу не легче. «Советская Россия», что же еще?

В мире только и было разговоров, что о свалившемся на голову разоружении, но заказанная из Москвы статья явно была рассчитана на то, чтобы если не возродить, то хотя бы задержать былое напряжение; за этой мыслью Филиппу пришла в голову и другая, более предметная – о провокации: он допускал, что опальный журналист мог нарочно произнести вслух слова, бывшие для анучинских работников строго запретными, – чтобы посмотреть на его, Понипартова, реакцию.

– Что ж, дерзайте, – произнес он небрежно.

– Дерзну, куда денусь: слово партии – закон. Честно говоря, я решил – в шутку ли, нет ли – спекулировать на заказе: намекнул, что для таких репортажей принято посылать в командировки, хотя бы на родимую Аляску – и что ты думаешь? Редактор не понял моего тонкого юмора.

– Неужели согласился?

– Нет, послал еще дальше.

– Да и то сказать, что за шутки по телефону? Или по телеграфу – как вы там общаетесь? Вернетесь – нашутитесь вдоволь.

– Было бы с кем, – посерьезнел Деригузов. – Я ведь не штатный работник: вернусь – и придется искать работу, начинать с нуля. Тут надо смотреть на два хода вперед. Собственно, для этого мне и нужно было бы повидаться с твоим Лозаннским – чтобы знать, в какую сторону грести дальше. Не то ведь мы-то предполагаем, а Бог располагает, и на каждый из наших планов наверняка уже состряпан – встречный. Давай-ка, выпьем за выполнение – наших, а? Проявление нерушимой дружбы. Впрочем, в Москву, не в Москву, а этой встречи я добьюсь.

– Вы так настойчивы, – засмеялся Понипартов, – будто задумали покушение.

– Если бы! Скорее уж, самоубийство.

## 2.

Теперь не вспомнить, в какие дни, но совсем недавно, перемены, в которые никто не верил, пошли обнаруживаться одна за другою, теряя псевдонимы, хотя еще не перестал смешить грустный анекдот о сырой курице, которую пассажир поезда вез из Москвы в Одессу – и случайный попутчик, иностранец, так и не взяв в толк, зачем везти в душном купе скоропортящийся продукт вместо того, чтобы купить по приезде,

мучился, отыскивая в формуле «курицу – в Одессу» тайный смысл. Людям посторонним не понять было прелестей советского быта, в то время как у нас каждый ребенок знал, что еда водится не в магазинах, а только в домашних холодильниках, и что в чужой местности можно пропасть, не имея собственных припасов. Разъезжая по стране, мало кто мог угадать, отсутствием каких товаров – мыла или мяса, хлеба или ниток – удивит очередной город; на всякий случай с собою брали все, что можно. С другой стороны, поездки всегда были интересны возможностью купить что-то давно забытое, и в пределах Союза сложились два вида туристов: одни ездили за впечатлениями, другие – за вещами. Среди первых оказывалось много таких, что, отягощенные рюкзаками, перебирались по бездорожью от привала до привала, из-за усталости не понимая попутных красот, среди вторых – таких, которые, разъезжая налегке в автобусах, не интересовались даже названиями городов, а только адресами универмагов; в каждом из видов имелся еще и некий привилегированный подвид, представители которого, независимо от своих целей, не тратились на билеты, гостиницы и путевки, а удовлетворяли свои личные потребности за казенный счет, используя деловые командировки. Понипартов относил себя к обоим видам – охотник был до перемены мест, любитель фотографировать виды и сцены, но и не упускал случая с пользой для дела побродить вдоль незнакомых прилавков, – а с недавних пор, начиная с посещения полигона, он попал и в подвид избранных. Теперь, возвращаясь из дальневосточной командировки, он, уже имея билет на прямой рейс, сообразил, что может сделать дорогу более приятной, если не станет усердствовать, поспешая с докладом, а выберет кружной, с ночевками, путь. В итоге первый перелет он сделал не на запад, не в сторону дома, а, чтобы закрасить побольше белых пятен на своей личной карте, почти из них одних и состоявшей, – на юг, в крупный пограничный город; про запас он держал в уме еще и покупку чего-нибудь из японских вещичек, какими, по слухам, баловали здешнее население. Как раз о покупках он едва не позабыл: прогулял полдня по улицам, расстраиваясь оттого, что тут почти нечего было фотографировать, и спохватился только случайно, когда увидел старичка с японским транзистором. Где что покупать, прочесывать ли для этого подряд местные лавочки, начать ли с универмага в центре или всему предпочесть рынок на окраине, Понипартов не знал. Расспрашивать прохожих на улице он не стал, понимая, что на ходу мало кто ответит ему обстоятельно; разговориться легче было бы за едой или питьем – в двух шагах как раз стоял пивной ларек, да только собравшаяся возле него публика вряд ли разбиралась в импортных товарах, – и он, огля-

девшись, обнаружил, кажется, подходящую дверь. Толкнув ее, он попал в кафе, где школьники угощались лимонадом и мороженым; дети могли понимать в нужном ему предмете больше взрослых, но подсесть к ним Филиппу было неловко и, лихо развернувшись на каблучке, он вышел наружу. На другой стороне улицы, видимый в широкой щели между домами, ему открылся дворик с единственной скамейкой, занятой женщиной с детской коляской и, на противоположном конце, неким читателем газеты. Уставший от долгой ходьбы, Понипартов уселся между ними.

– А не скажете ли вы, – начал он после недолгого вежливого молчания, обращаясь будто бы в пространство перед собою, – не объясните ли, чем занимают в вашем городе туристов?

– Непохожи вы на туриста, – с неожиданной готовностью отозвалась молодая мама.

– Разумеется, потому что это не основное мое занятие, – легко согласился Филипп, – а роль на один день: я лечу с севера в Москву, билета на прямой рейс мне не досталось, вот и приходится путешествовать с остановками. Честно говоря, я совсем не жалею об этом: не часто выпадает случай без цели побродить по незнакомым улицам, любясь видами и добрыми женщинами...

– Нет, чтобы сказать: красивыми. Или москвички лучше?

– В столице на них некогда заглядываться.

– Там – столица, здесь – граница.

– А где граница, там и заграничные товары, – поторопился он закинуть удочку.

– Выходит, и они вас интересуют? Слава Богу, этого добра хватает, могу и вам посоветовать, куда вернее пойти – тут секрета нету. Или вам, туристу, больше хочется в музей? У нас ведь краеведческий музей есть.

– В паровозных топках сжигали нас японцы, рот заливали свинцом и оловом, – вспомнил Филипп, пугаясь мысли о том, что его могут затащить на осмотр убогих достопримечательностей. – Но что удивительного можно найти в музее – кедровую шишку величиной с тыкву или кепку дедушки Ленина, подаренную им Сергею Лазо? Или бронепоезд?

– Есть и бронепоезд, – неожиданно сказал мужчина с газетой, не отрываясь все же от страницы. – Не в музее, понятно, а на паровозном кладбище.

– Вот бы прокатиться! – дурачась, воскликнул Филипп. – Подбросить уголька, мелкого да побольше, расчехлить пушку, дать свисток и...

– Напрасно вы смеетесь, – обиделся читатель газеты. – Машина на ходу, хоть домой на ней езжайте. Мы все думаем, может, купит кто: самим-то накладно содержать в порядке. Общественность, конечно, помогает, да вот если б к ее труду еще и деньги приложить... Техника, она тоже кушать просит. Честно говоря, эта волюнка нам поднадоела, и мы бы отдали поезд задешево, лишь бы в хорошие руки.

– Кто ж его купит? Железнодорожная милиция? Или опять-таки музей? Или богатый чудак-коллекционер из Америки?

Филипп спрашивал, не дожидаясь ответов, последний же вопрос задал не только без задней, а и вообще без какой-нибудь мысли, но тотчас некий план стал составляться в его уме.

– Впрочем, случиться может все, – сказал он небрежно. – Антанта ли нагрянет... Но вы что же, продавец паровозов?

– Не продавец, но продать могу.

Филипп тем временем уже понял, что знает покупателя и что тем же путем, каким уходили лишние рельсы, непременно уйдет и бронепоезд, в конце концов оказавшись в руках нечаянно пришедшего сейчас на ум заморского собирателя редкостей.

– Любопытно, любопытно, – проговорил он в задумчивости. – И что же, вы торгуете своими мертвыми душами прямо с кладбища?

– Какие же мертвые?

– Товар-то, прямо скажем, из того же каталога. Хоть садись и пиши второй том. Хотелось бы только знать: вещь казенная, вы спишете, мы оформим, примем на баланс... вам лично что за корысть?

– Это не телефонный разговор.

– Я так и думал. Вы, видно, из городского начальства?

– Из железнодорожного.

– А если из железнодорожного начальства кто или из кондукторов... – улыбнулся Понипартов. – Нет, нет, простите, детские шутки вспомнились. Но ведь и вправду великий соблазн: купить родному заводу – вот уж зашумит, как улей! – купить ему настоящий бронепоезд! Свеженький, прямо с кладбища! Вот вы говорите – мертвые души, а ведь в этой поэме и о птице-тройке было, в школе учили наизусть: и какой же русский не любит быстрой езды? У вас еще не пытались угнать ваш бронепоезд, что-бы прокатиться с гиканьем и свистом, с пальбою?

Радостное возбуждение охватило Понипартова, словно он опять стал мальчишкой и ему и впрямь предложили прокатиться рядом с кочегаром: бог мой, он, кажется, ни разу не ездил в поезде на паровой тяге! По размышлении, никакой разницы, кроме как в звуках, когда бы те достигли вагона, да в количестве летящей в окно сажи, пассажир,

едуший по билету, не заметил бы, зато сам паровоз – живой, как и все, придуманное до двадцатого века, – было бы кощунством сравнить со смрадным дизелем или с вовсе бездушным электрическим локомотивом. Серьезная задуманная Понипартовым сделка теперь представляла замечательной игрою.

– Только что вы интересовались японскими курточками, – напомнила женщина с ребенком, обрывая неинтересный ей разговор.

– И магнитофонами, – дополнил Филипп. – Но ведь с покупками все ясно, осталось адреса записать, а вот поезд может уйти.

– Броне-поезд, – поправил железнодорожник, подавив зевок и свертывая наконец газету. – Если вы и вправду желаете взглянуть на нашу стоянку, то давайте условимся.

– Взглянуть – это просто непременно, в любом случае, независимо от решения, – горячо сказал он, с сожалением прощаясь с мальчишескими фантазиями, только что резвившимися в его воображении. – Надо же руководству доложить. И хотя, как вы понимаете, я затеваю такое дело не для себя, но мне и самому безумно интересно посмотреть на ваше чудо. Второго такого случая может не выдаться никогда.

### 3.

Неожиданно – так, что даже, может быть, и не вовремя, – стали совершенную реальностью ключи от новой квартиры, которую просил для себя Александр Августович (вот ведь и считал себя одним из «отцов района», а просил, потому что по общим правилам ему, и сейчас жившему просторно, не полагалось иного жилья, точнее, не полагалось бы, когда бы партийная власть обращала внимание хотя бы на какие-нибудь законы: стоило одному из знакомых вельмож со Старой площади сказать, по просьбе Александра Августовича, несколько слов в телефонную трубку, как на другом конце провода, в захудалом Ануцине, завертелись невидимые колесики, запорхали, пусть и редкие, бумаги и скоро ли, медленно ли, но дело пошло подвигаться к благополучному для просителя разрешению). Дому, который присмотрел себе Александр Августович, предстояло еще строиться и строиться, когда б не приближение очередной красной даты, к каким всякой конторе надлежало предъявлять миру что-нибудь готовенькое; вот и на эту стройку однажды совершился предпраздничный набег некой сытой комиссии, при виде которой мудрые рабочие тотчас прекратили свою ленивую возню – и не зря, потому что недоделанное здание вдруг оказалось, по всем бумагам, готовым к заселению. По случаю этакой приятной неожиданности был даже сыгран, в узком кругу комиссии,

банкет. Окончательно доводить жильё до ума, то есть устанавливать ванны, унитазы и краны, клеить обои и красить недокрашенное представлялось новоселам, в их же интересах, потому что – по своему вкусу. Делать что-то своими руками на казенной стройке было Александру Августовичу не только недосуг и не по силам, но и зазорно; в то же время и насчет чужих рук никак невозможно было распорядиться открыто: это следовало сделать какому-нибудь перестаравшемуся подчиненному – якобы тайком от него самого, скромного. Никто из его окружения не был готов к такому повороту, отчего нужные маневры оказались довольно громоздкими; для начала пришлось побеспокоить старого друга Сеню, но все, что тот смог, это намекнуть на некоторые обстоятельства начальникам цехов – с коими дотоле не общался. Они оказались: Сеня, конечно – неловким, зато заводчане – понятливыми, так что все необходимые случаи случились в срок; узнав о нечаянной подмоге, снаряженной по естественному порыву добрых рабочих душ, Александр Августович растрогался.

За дальнейшим устройством можно было до поры не следить, однако распорядиться насчет отделки Александру Августовичу нужно было все-таки самому. Прежде всего должно было решить, какую из двух комнат отвести под кабинет, а в какой при надобности могла бы ночевать внучка (он, престарелый, прописывал ее к себе, ссылаясь на нужду в присмотре, а на самом деле для того, чтобы после его смерти квартира не досталась государству, – ни в коем случае не предполагая действительного ее переезда); спрашивать мнения самой Карины он решительно не хотел, и пригласил в советчицы секретаршу.

Посещение квартиры едва не сорвалось, оттого что лифт не работал – Зинаида, во всяком случае, настаивала на возвращении восвояси, – но Александр Августович, поразмыслив и пожалев уже затраченного времени, мужественно полез на свой семнадцатый этаж. Несмотря на четыре долгие остановки он так запыхался, что и с руками не мог совладать и не попадал ключом в скважину. Секретарша к тому же подтрунивала:

– Ах, что же вы мешкаете? Не дай бог, кто выйдет – что соседи скажут?

– Скажут, выпил лишнего.

В этом момент замок наконец открылся, и она зычно продолжила, уже на пороге пустого гулкого помещения:

– Нет, скажут: вот, значит, для какой крали он устраивает гнездышко.

– Вечно вы, Зина, ставите меня в тупик своими шуточками, – сделал страдальческое лицо Александр Августович. – Никогда не знаешь, что вам ответить, тем более, что и равнодушным остаться не удастся.

– Выходит, если б не известка на подоконнике?..

– Зина! – в сердцах окрикнул он, подходя к окну и машинально в самом деле пробуя пальцем чистоту.

– Случись что не так, большие бы хлопоты вам грозили – подыскивать мне женишка. Да я и сейчас не отказалась бы, сосватай вы кого-нибудь попримечнее. Не то, при нашей-то службе, проще простого остаться в девках. Я и так уже пересидела.

– При нашей службе? – изумился он. – Вокруг вас прямо-таки кишат способные молодые люди.

– Инженеришки.

– Я тоже инженеришка.

– Ну и что, были вы довольны судьбой в своем гипростроймонтаж-проекте? Да последняя продавщица получала втрое больше вас! Это теперь вдруг подфартило: и деньги, и машина, и вторая квартира. Отпад!

– Что ж, мой случай нетипичен, – нехотя согласился Александр Августович. – Но у нынешнего поколения больше возможностей. А что касается второй квартиры, то давайте не забывать, зачем мы сюда приехали.

– Я и так гляжу во все глаза.

Между тем будущий жилец полагал, что смотреть тут как раз не на что: от привычки к высоким потолкам своего старого, еще дореволюционной постройки, дома, здесь ему хотелось втянуть голову в плечи; комнаты с голыми стенами, с проросшими из потолка жалкими проводочками, казались ему внутренностями обувных коробок. Он задумался, не зная, которую предпочесть – большую, в два света, где довольно было бы места и для шкафов, и для письменного стола, и для дивана, и для телевизора, или маленькую, обособленную, словно нарочно предназначенную для кабинета.

– Зависит от то, чем вы собираетесь заниматься, – резонно, к его удивлению, рассудила Зинаида, – корпеть над бумагами, наслаждаться жизнью или устраивать совещания. На вашем месте я бы только и делала, что качалась в кресле с журнальчиком. В меньшей вы качалку не поставите, да и для девочки слишком жирно будет – ночевать в такой шикарной зале. Не говоря уж о том, что я вообще не возьму в голову, зачем принимать во внимание Карину? Она и так не бездомная.

В дверь постучали, и Зинаида обрадовалась:

– Вот и гости!

Гостьей оказалась крупная рыжевато-желтая женщина лет пятидесяти, с большим прямым носом и полными, неожиданно красивыми ногами, до того похожая на покойную жену Александра Августовича, что он даже отвернулся. Не спеша войдя и картинно опершись рукой о притолоку, она воскликнула с хитрой улыбкой:

– Так вот что у меня за соседи! Что ж, приятно, приятно. По мне, лучше познакомиться в первую минуту, может быть, и некстати, чем потом месяцами раздумывать, здороваться при встрече или нет.

– В нынешнем моем доме, – нелюбезно проскрипел Александр Августович, – где прожита треть жизни, мне знакома едва ли полудюжина человек.

– Устройте общее, для всего подъезда, новоселье, – предложила Зинаида, – и не будет проблемы.

– Сегодня вы, Зина, прямо-таки разбрызгиваете идеи.

«Вы», предназначенное юной спутнице, так обескуражило соседку, что, обратившись к Зинаиде, она с трудом подбирала слова, точно заговорила на малознакомом языке:

– Кто же вы будете? Я-то считала, что дочка им или внучка.

– Бесспорно, вы торопитесь с заключениями, – смутившись, поспешил внести ясность Александр Августович. – Сия молодая дама присутствует здесь по долгу службы и ни в коем случае не будет иметь честь соседствовать с вами.

– Мне и в голову не могло прийти! Но я вот к чему: мы-то с вами виделись и раньше, в райкоме. Так что не совсем уж чужие. По имени вы меня, конечно, не знаете, так я уж представляюсь: Калерия Степановна. Будем, выходит, знать. Выручим друг друга в случае чего. Да я, собственно, и сейчас-то зашла не без корысти, думала разжиться у вас отверткой. Сами знаете, как на первых порах: то одного не найти, то другое спрятано.

– Рад бы помочь, да весь инструмент вот он: ключ от двери.

– Ах, как же я не догадалась – хотите, принесу табуретку? Пожилой ведь человек, а пешком поднимались на самую верхотуру.

– Не утруждайте себя, друг мой, спасибо. Нам предстоит только походить по комнатам, выяснить, какие предстоят работы.

– Понимаю, понимаю. А табуретку... В следующий раз, как придете, позвоните в соседнюю дверь – я мигом вынесу. А сейчас – что ж, не буду мешать. Только вот еще что: будете въезжать, пустите вперед себя кошечку. Если надо, одолжу свою.

– Никуда не уйти от кошек! – воскликнул он. – Нет, что ни говори, а случайностей на белом свете не бывает.

Распровавшись с новой соседкой, Александр Августович только устало вздохнул, а Зинаида, решив, что в неслужебной обстановке ей дозволено вести себя как угодно (в служебной – ей стало достаточно единственного случая, когда Александр Августович, некстати пребывавший в скверном расположении духа, вдруг вместо того, чтобы оценить остроумие секретарши, указал ей на дверь), вскричала:

– Наконец-то мы одни!

– Зиночка! – схватился он за голову. – Вас слышно минимум на трех этажах.

– Но дом не заселен!

Пожалев, что отказался от табуретки, Александр Августович оперся об оконную раму; внизу, в будущем сквере, торчали из глины кое-как натканные жалкие, обреченные на умирание к весне прутья – но он смотрел на них, не видя: дневной свет вдруг стал для него ярким настолько, что, кроме черного и белого, пропали все цвета. Думал он, однако, не об этом мимолетном (как он надеялся) приступе, а о том, не станет ли Карина водить сюда своих непотребных женихов. Лишь минутой позже он вспомнил, что никакого переезда внучки вовсе не предполагается и что даже нынешняя экспедиция предпринята для отвода глаз.

– Если так пойдет и дальше, – тяжело вздохнув, выговорил он, – мне понадобится то ли прислуга, то ли даже сиделка.

– Могу же я иногда расслабиться?

– Ах, да можете, можете. Только займитесь, пожалуйста, делом.

Дело, между тем, Зинаида знала, и не прошло и четверти часа (все это время Александр Августович простоял у окна, не находя сил или желания распрямиться), как она уже набросала толковый список нужных работ и недостающих принадлежностей.

– Откуда это у вас? – изумился он.

– Вы еще спросите, где я научилась чистить картошку.

Махнув рукой, Александр Августович направился к выходу. Зинаида, вовсе не торопившаяся возвращаться на рабочее место в приемной, тщетно пыталась задержать его вопросами о цвете обоев и сортах краски – он не слушал: ему здесь было нехорошо. Эта квартира – он неожиданно засомневался, нужна ли она ему, подумав, что с удовольствием провел бы ближайшие годы, не выходя с территории фирмы: в своей комнатке за кабинетом. Он и сейчас рвался туда, чтобы прийти в себя после нелегкого восхождения и последующей дурноты, но и там ему не дали отдохнуть; прямо в дверях его настиг телефонный звонок. Стенографистка, еще не успевшая уступить стул Зинаиде, многозначительно

предупредила: «Междугородняя!» — и он, взяв трубку, не мог взять в толк, кто звонит — Понипартов? Но он не знал никакого Понипартова, а когда тот с трудом объяснил свое место на фирме, то Александр Августович ему на это место и указал, сварливо посоветовав впредь соблюдать субординацию. Зачем тот звонил, тоже не было ясно: слышимость была скверная, и немногие долетавшие слова не удавалось соотнести с привычными делами: какой-то бронепоезд, Сергей Лазо, страсть богачей к коллекционированию. Наконец Александр Августович догадался передать трубку вовремя подоспевшему референту, и потом уже тот долго объяснял ему, что да почем. «Настоящее регентство, — подумал он без возмущения. — Впрочем, эти мальчишки и слова-то такого не слышали». Объяснению он, однако, внял.

Упражнение в альпинизме и попытка разобраться в коммерческой сделке с бронепоездом, поспешающем из пункта А в пункт Б, исчерпали силы Александра Августовича: едва дождавшись, когда можно будет распустить подчиненных на обед и сам поев без аппетита, он уснул в своей потайной комнатке.

Сон оказался из тех, что прерываются на самом интересном месте, в последнее мгновение перед положенной по сценарию катастрофой — столкновением машин, выстрелом или падением в пропасть, — прерываются, потому что сами сновидцы по законам природы не погибают в собственных сновидениях; происшедшее после их смерти еще может быть показано им в другой раз и как другая история, но самый момент перехода в новое состояние — никогда. Нынешнее действие происходило в тропиках. Александр Августович в одних плавках бежал вдоль долгой стены русского провинциального кремля, напрочь лишенной ворот или калиток — оставалась лишь жалкая надежда найти их, если успеешь, за углом, но только успеть, скорее всего, было нельзя, потому что за ним гналась огромная, ростом с овчарку, сиамская голубоглазая кошка, и хотя каждый взгляд назад придавал резвости, силы были неравны. Острые камни вонзались в подошвы, но в какой-то момент тело стало, как шерстью, обрастать одеждой — валенками, ушанкой, тулупом. Зверь почти догнал его, запыхавшегося, а спасительный угол все отодвигался; спрыгнуть в ров было нельзя, оттого что внизу ждали китайцы с поднятыми пиками, вскарабкаться же по стене... Александр Августович поднял голову, надеясь увидеть на семнадцатом этаже распахнутое окно своей квартиры, но увидел — вертолет, из люка которого разматывалась спасительная веревка, заканчивающаяся не кольцом, за которое можно было б ухватиться, а, в качестве грузика, мухинской скульптурой «Рабочий и колхозница» в натуральную величину. Тонкая бечевка,

разумеется, не выдержала, и оторвавшийся монумент понесся, крутясь, вниз, на главного конструктора — напрасно тот протягивал в развернутом виде свое удостоверение. Это место и оказалось самым интересным в фильме, потому что лента, не дав случиться катастрофе, оборвалась, и только траурный голос Левитана успел произнести: «Страшнее жизни казни нет». Александр Августович проснулся с онемевшим лицом, и сразу не смог даже подняться за валидомом; пришлось ждать, пока кровь сама не вернется на свои круги.

«Пусть молодые так бегают», — подумал он.

Между тем через час его ждали на открытии неких Чтений, каких — он не разобрался за отсутствием интереса, хотя это было первое в его жизни собрание такого рода: «Протеатр» в подобных действиях не участвовал, а на новой своей высокой должности Александр Августович был слишком засекречен, чтобы гласно появляться на людях; только в самое последнее время, когда в стране вдруг стало можно говорить о чем угодно, разбалтывая секреты, он если и не получил еще разрешения упоминать о предмете своей службы, скрываемом тщательнее, чем атомная бомба, то уже мог публично называть свое имя и даже в газете увидел однажды: «Лозаннский А. А., главный конструктор». То же самое было напечатано и в программе нынешних чтений: ему предстояло сидеть в президиуме — без права, однако, сказать что-либо вслух.

Александр Августович и его первый заместитель были приглашены с дамами, причем об этом было сказано с таким особым нажимом, что он понял — с юными и обольстительными; давно уже не знаясь с такими, он не предпринял в этом отношении никаких шагов, молодо подумав: «Пусть дадут напрокат».

Посмотрев, не смялись ли брюки, и повязав без зеркала галстук, Александр Августович вышел в кабинет. Видеть никого не хотелось, но и манкировать было нельзя, и он вызвал звонком секретаршу. Зинаида удивила (и возмутила) его тем, что зачем-то переделась в вечернее платье — набросив, правда, шаль, чтобы прикрыть голые плечи; понятно было, что едва за ним закроется дверь, как умчится на гулянку и она. Ничего, вопреки обыкновению, не сказав Зинаиде по поводу неуместного туалета, он лишь хмуро попросил разыскать Пшенку и заварить чаю покрепче.

Заместитель тоже озадачил его своим нарядом — во всяком случае, одной деталью: платочком в нагрудном кармане.

— Гвоздики в петличке не хватает, друг мой, — едко заметил Александр Августович. — Можно подумать, что мы едем на бал.



– Но и не на партсобрание, – смущенно отозвался Пшенко, не трогая платочка.

– Тогда и явка не обязательна? А и в самом деле, не пренебречь ли? То есть, не съездили бы вы, Владимир Никитович, один? На собраниях меня непременно в сон клонит: позор будет, если засну в президиуме.

– Что вы, что вы, и думать не смейте, – испугался чего-то Пшенко. – Вам непременно надо присутствовать, иначе и никому можно не собираться. Туда нужные люди приедут.

Но Александру Августовичу, кажется, больше никто не был нужен – для чего бы, когда нужным переставал быть он сам: дело его было сделано, железный занавес разработан, а для второго такого уже не нашлось бы места на земле; с другой стороны, он получил от государства все, что только догадался попросить, и теперь мог больше не искать ни одарителей, ни дарителей, оттого что уже никому не было смысла ни одаривать его, ни радеть. Сидя потом на сцене за столом, покрытым плюшевой зеленой скатертью, Александр Августович все вытягивал и выворачивал шею, пытаясь угадать, кого из соседей имел в виду его заместитель, и с удивлением убеждаясь, что все они выходят на одно, сытое лицо (такое уже было с ним когда-то давно). Изю всего же партера взгляд выхватывал одного лишь Пшенко, во внешности которого теперь уже нельзя было не найти точно тех же черт – расплывающихся и двоящихся в глазах: сидеть перед полутемным залом, как и предвидел Александр Августович, было совсем непросто. К счастью, церемония открытия оказалась недолгой, а прочтение вслух умных докладов предусматривалось после перерыва, устраиваемого, быть может, с единственной целью освободить сидевших на сцене. Честно отработав свое на публике, он теперь собирался поискать укромного местечка в задних рядах, но вежливый распорядитель направил его, как и весь президиум с набежавшими дамами, в скрытую в глубине коридоров ампирную гостиную. Александр Августович приготовился к совещанию, чтению секретных сообщений или ко встрече там с каким-нибудь из членов Политбюро, но ни того, ни другого, ни третьего не произошло, все решилось проще: в комнате был накрыт стол. Среди суетливо рассаживающейся публики он заметил и Пшенко с миловидной девушкой (не супругой – с тою Александр Августович был знаком). Приглядевшись, он нашел и остальных женщин весьма недурными; они просто блистали, – но не жены же были так хороши. И едва он, одинокий, почувствовал себя ущемленным, как увидел невесть откуда взявшуюся Зинаиду – без шали. Все присутствующие мужчины, забыв о своих дамах, уставились на нее.

– Что вы здесь делаете? – спросил он, грубо из-за растерянности.

– Вас опекаю – что же еще? – ответила она еще грубее.

В девятнадцатом веке русские писатели умели и любили описывать угощения, в двадцатом же словно бы напрочь утратили это умение – за отсутствием не таланта, но самих угощений: не слышать стало не то что о фазанах, поросятах с кашей, рябчиках, французских соусах, гусарской печени и прочих старорежимных изысках, а часто и вообще о мясе и масле. При прочном советском режиме пустовали и кошельки и магазины, и только власть предрержащим привозили продовольствие с тайных баз; когда же устои поколебались, то, разбогатев в одночасье, бросилась отъедаться и кое-какая чернь. И те и другие, не подозревая о достоинствах старинных кушаний, наедались одинаково бездарно, оттого и нынешний банкет, на который гости собрались, как повелось в России, для услаждения не умов беседую, а желудков – пищей, но призванный удивить не вкусом, а лишь количеством еды, можно оставить безо всякого описания. Поначалу Александр Августович, обманувшийся относительно беседы, наивно старался уловить в застольном шуме речи, как-то связанные с причиной собрания, то бишь с чтениями, но извлек, отрывками, только вот что:

– У нас не поймешь, то сухой закон, то несухой закон.

– А ты старайся, старайся, гни спину – вообще никто доверять не будет.

– Осетр или осетрина – я в этом не разбираюсь.

– Вот водочка отличная: «Седьмая вода навеселе». А «Три креста» я и дома попою.

– Раз тебя посадили на такую скромную должность, значит, ты еще много знаешь.

– Передайте-ка сюда рыбы яйца. Да нет, красные, красные.

– Ну, процесс пошел.

На все это Александр Августович после первой рюмки заметил философически, обращаясь к Зинаиде:

– И у свиньи бывают именины.

«Как бы сон не оказался в руку», – вдруг вспомнил он.

– А не пора ли, товарищ, нам выпить за успех ваших позднейших начинаний? – обратился к нему сосед справа и, увидев растерянность собеседника, разъяснил: – Мы же не раз встречались в Кремле и на Старой площади. Зазнаётся, зазнаётся.

– Простите великодушно, – смутился Александр Августович, решительно не помня былых встреч. – Просто не ожидал: с вами – и в

такой мизансцене. Согласитесь, куда натуральнее – при подписании бумаг, в протокольной форме...

– Есть, однако, поприща, где старые формы непригодны. Да вы сами же это и доказали. Позвольте-ка, я плесну вам водочки.

– Нет, нет, сегодня исключительно – коньяк.

– Что ж, уважаю вкус и привычки. Одно слово – старая интеллигенция. Куда нам, простонародью, рабочей кости до вас. А все же, смотрите-ка, то и дело сходимся – то за одним столом, то за другим.

– Хорошо бы – не за карточным: игрок я плохой – не ровен час, по миру пустите.

– Знаем мы вас, как вы плохо играете в шашки, – довольный случаем щегольнуть цитатой, засмеялся сосед. – А пустить по миру – нет ничего легче. Смотрите, испытания вы закончили, средства теперь пойдут не разработчику, а строителям. Конечно, с голоду помереть не дадим, но все же... Извините, извините, я понимаю, что вопрос так не стоит – при вашей предприимчивости. Теперь ведь не мы, а вы нас кормите. Да и то сказать, на одних рельсах далеко не уедешь.

«Откуда он знает? – опешил Александр Августович. – Не провокация ли это?»

– О них давно речи нет, друг мой: ездим на резиновых шинах. Не мне вам говорить.

Обращение «друг мой» чем-то не понравилось чиновнику, и он запоздало представился: Глеб Петрович. За знакомство следовало, по его понятиям, выпить, и он налил еще по рюмке, одновременно отослав и свою спутницу, и Зинаиду «подкрасить реснички».

– Очень разумно, что мы с вами общаемся через третьих лиц, – задумчиво пробормотал он, ища, чем бы закусить еще не попробованным, и Александр Августович, до сих пор не ведавший о своем с ним общении, невесело посмеялся про себя тому, что в действительности сам и являлся третьим лицом, общались же они – через четвертых.

– Все равно не обойтись без личных встреч. За хорошим столом мировые проблемы решать можно. Так что повторяю тост: за знакомство и чтобы нам встретиться еще не раз.

И, с аппетитом заедая чем-то заливным, продолжил:

– Сегодня речь пойдет не о рельсах. Мы встретились для другого. Суть в том, что у нас есть, скажем так, на примете неплохой пассажирский самолет. Есть и покупатель. При этом ни он купить, ни мы продать не имеем права...

Изо всей его долгой речи Александр Августович понял только, что тот прекрасно осведомлен не только о состоянии работ над же-

лезным занавесом, но и о деятельности, как ни странно, Евтропова, организовавшего при основной фирме для ведения побочных и подсобных дел непонятную незасекреченную контору, невпопад назвав ее «Кинематика», зато весьма удачно сделав ее сопредседателем (зипредседателем, как шутили оба) самого Лозаннского; к удивлению последнего, отказавшегося подписывать в этой должности какие бы то ни было бумаги, странное учреждение быстро стало приносить неплохой доход, в котором никто, кажется, не требовал отчета. Ясно было также и то, что Глеб Петрович каким-то образом тоже кормится от той же «Кинематики» и тем более не обойдется без нее в сделке с самолетом, но зачем при этом перебрасывать какие-то срочные заказы с одного завода на другой да еще самим же срочно платить деньги, Александр Августович не мог себе уяснить; положившись в делах малого предприятия целиком на Евтропова, он оказался не в курсе доброй половины его операций и теперь попросту не представлял, не войдут ли в противоречие между собою старый и новый заказы, и тем более не знал, как поступить со свалившимся с неба бронепоездом, за который тоже следовало платить и о котором он ни за что не мог бы рассказать Глебу Петровичу; хорошо, что тот и не настаивал на откровениях. Понятна была и заключительная фраза монолога:

– Кредит вы получите, – после того, как Александр Августович охрипшим голосом выдал согласие на сделку, твердо пообещал чиновник. – Что же до самой высокой поддержки, это как бы само собой разумеется. Я гарантирую.

Разговор на этом будто бы закончился, хотя Александру Августовичу так и не стало ясно, до чего же они договорились и выиграл ли он хоть что-нибудь, коли не было названо ни одной цифры: инженерский его ум протестовал против такой формы.

С трудом дождавшись девушек, он и сам вышел из-за стола – будто бы на минутку, а на самом деле с намерением немедленно улизнуть по-английски, не сказавшись даже Зинаиде; этот номер у него не прошел: стоило ему подняться с места, как его поспешил перехватить Пшенко.

– Ну как, Сан Густыч? – нетерпеливо зашептал тот ему в спину, чуть ли не выталкивая в коридор. – Удалось?

Думая в этот момент совсем о другом, а именно о роли Зинаиды в нынешних сценах, то есть вычисляя, должно ли иметь место какое-то продолжение с исполнением женской арии или же вся прелестная компания приглашена лишь для украшения стола, Александр Августович далеко не сразу сумел услышать своего заместителя.

– Что удалось? – не понял он. – Разве в этом и вы участвовали? Сервировка была на высоте, да и повар, кажется, неплох.

– Хе-хе. Да-да. Но вы – поговорили?

– У нас, друг мой, с Зиночкой давным-давно все темы исчерпаны. В том смысле, что нечего и приступать к вычерпыванию.

– Вот горе-то! Да не с этой дурой, а с соседом вашим! Ради чего же все было затеяно?

– Разве вы тоже теперь?.. – затруднился Александр Августович.

– Да неужели вы думаете, что этот ваш Емеля-на-печи способен один всем ворочать? Ну да, конечно, ворочает, только без моих – вернее, старых отцовских – связей мы бы ни одного крупного дела не провернули. Не имей сто рублей – на этом весь Союз держится.

– То есть во всем Союзе ни у кого этих ста рублей не имеется? Сомнительно. Да, и вот что еще, друг мой, – Александр Августович начал понемногу расплятаться, – раз уж вы полностью были в курсе, что же вы меня не предупредили? Представили все так, будто я на бал-маскарад приглашен – гвоздика в петлице, подумать только! – и поставили меня в дурацкое положение. Знай я вашу программу заранее, непременно проконсультировался бы. Вышло же, что я вообще не знаю, о чем речь, о каких суммах. Все – расплывчато, все – в общих чертах...

– В общих, конечно, в общих, – принялся успокаивать его Пшенко. – Даже и хорошо, что вы ничего не знали. Да и кто же контракты под водку подписывает? Но он предложил что-нибудь, в чертах-то?

– Мир и дружбу, – усмехнулся Александр Августович, – да самолетик на перепродажу. И помощь пообещал неизвестно в чем.

– Уф, отлегло. Значит, будет, как сказал вождь, и на нашей улице праздник. Спасибо, Сан Густыч, дорогой, только не исчезайте сейчас, я уж по лицу вижу, что вы на выход нацелились, но потерпите, не то и мне придется...

Когда Александр Августович вернулся в комнату, заиграла музыка, и седовласые чиновные и ученые мужи, с неожиданной резвостью оторвавшись от вин и закусок, принялись приглашать своих и чужих дам на танго. Он поспешил было к удобному для наблюдения угловому диванчику, но его догнала Зинаида.

– Зиночка, – пятясь от нее, взмолился Александр Августович, – в ваши обязанности входит, помимо прочего, и точное знание моего года рождения.

– Не бойтесь, я не дам упасть, – пообещала девушка и, с силой обхватив старика за талию, провозгласила басом: – Смертельный номер!

#### 4.

Поэты и художники тонко понимают разницу между работой и службой; для прочих либо неважно, как назвать то, что их кормит, либо невозможно ни отделить одно от другого, ни одно в другое (службу – в работу) превратить. Из этих последних некоторые, неразумные неудачники, принимают судьбу как должное, разумные – видят вину государственного строя, супругов или воспитания; со стороны неразумные сливаются в массу, а среди разумных различаются лица – но и те и другие живут в тоске.

Мыслящему человеку служба не довлеет; он может относиться к ней честно и цинично, либо нечестно и цинично, либо просто наплевать, но никогда – как мастер к своему делу. Мастера не служат, а работают, да только в советском хозяйстве извели мастеров; оставшиеся наперечет, те будто бы не принимают участия в обыденной жизни.

Понипартов – служил. Оканчивая институт, он мечтал заняться любезной его душе наукою, то есть как раз – работать; судьба, однако, распорядилась иначе, и он получил назначение в заводское конструкторское бюро. Вытерпев на этом месте положенные молодому специалисту три года, Филипп принялся стучаться в двери академических институтов, но тщетно; видимо, ему суждено было вечно заниматься тем, к чему не лежала душа.

Для души оставалось некое домашнее занятие, не приносящее дохода, а, напротив, требовавшее вложений; называлось оно фотографией, Понипартов надеялся – художественной. В ней он превзошел многое: умел и продумать композицию, и уловить жест, был в ладах с химией, знал толк в сменной оптике и пробовал силы в таких мудреных вещах, как изогелия и бромойль. Видя через видоискатель больше и лучше, нежели простым глазом, он на прогулках чувствовал себя в своей тарелке лишь имея при себе камеру; но тогда ему становилось непросто держаться вместе со своими праздными спутниками, не знающими нужды забегать вперед или отставать от группы, ожидая, например, пока переместятся облака на небе, и оттого он предпочитал прогуливаться в одиночестве.

Стены монастыря, выбранного им для нынешней съемки, накопили немало ран, пострадав сначала от бесхозности, когда власти увели в небытие монахов, затем – от войны, а после одной – от дикости новых обитателей: как повелось в Союзе, там устроили тюрьму. Издали они выглядели все же достойно, и Понипартов долго простоял на дороге, думая о том, как хорошо умели в старину выбирать места для храмов.

Солнце должно было бы весело играть на позолоте луковиц, но никакой позолоты не осталось и в помине, и бывшая святая обитель выглядела печальной; стоявшая на дворе тишина была тишиной запустения. Черные против света, птицы, спугнутые приближением человека, и те взлетели бесшумно. Порадовавшись безлюдью, Понипартов подумал, что любые слова вслух были бы сейчас неестественны, словно сдавленный древними стенами воздух слишком загустел для любого звука, кроме единственного, — но звонница стояла без колоколов, многозначительная, как часы без стрелок; надо было надеяться, что время молчания не проходило зря, постепенно растворяя в себе страшные вещи, не так давно в изобилии наговоренные здесь малолетними преступниками.

«На такой же стене, — сказал он себе, — причитала когда-то Ярославна. Причитатив Ярославны — как это Бородин не додумался?» Ее плач — не был ли последнею разрешенною близ этих камней речью? Понипартов не помнил, чтобы ему при входе попала на глаза какая-нибудь надвратная надпись — ни стих из Писания, ни позднейший лозунг «Труд делает свободным», — и все же ему мнилось, будто он прочел: «Оденься в черное и молчи», — и обязан был соблюдать это. Он, кажется, понял необходимость принятия монахами обета молчания: это делало невозможным ведение двойной жизни. Сам он, увы, даже и замолчав, не собрал бы свои жизни воедино, а продолжал бы в одной из них, зарабатывая на хлеб, строить и ближним, и самому себе клетку, и казнить — в другой. Не ему одному выпала такая доля: разве и Наташа, даже и в большей мере, не жила недавно такую же двойною жизнью, то равнодушно малюя плакаты, то урывками обращаясь к своему ремеслу? И не остались ли у нее об этом времени самые добрые воспоминания? Теперь ей больше не приходилось раздваиваться: выданная неведомым доносчиком, она потеряла место, а преданная им, Понипартовым, могла б остаться матерью-одиночкой, когда бы (он теперь цинично думал — к счастью) не родила мертвого ребенка. Преданный ею Понипартов все еще не простил ее.

Время здесь пролетело незаметно.

Внутри помещений он не входил, зная, что там загажено, а устроился отдохнуть на каменных ступенях в углу двора, в узкой щели между строениями, откуда неожиданно открылся замечательный вид на дорогу, реку и холмы. «Случись что, — вдруг подумал он, — меня не найдут». Теперь здешнее безлюдье в выходной день показалось ему уже не только странным, но и недобрим, но не успел он решить, что в связи с этим нужно предпринять, не уйти ли вовремя подобру-поздорову, как увидел

сквозь проем ворот, в страшном отдалении пешие фигурки и приготовился фотографировать птиц, которых тем предстояло поднять. Встретаться потом с новыми посетителями не хотелось, и он уступал им место с великим сожалением, противясь возвращению во вчерашний мир.

На обратной дороге мысли его пошли вразнобой. Недавней отрешенности будто и не бывало, он теперь думал о практических вещах — о том, что неприлично запылились ботинки, о том, что надо помочь брату с курсовой работой и о невозможности завтра вернуться в эти места, к монастырю, оттого что он не вольный художник, как теперь Наташа или как ее «великий» Рыдаев, а служащий, обреченный проводить в присутствии пять полных дней в неделю — обреченный тянуть эту лямку пожизненно: возраст безумных решений прошел вместе с многочисленными рубежами и сроками, вместе с чертою, за которою следовало бы иметь учеников; но последних не могло быть у Понипартова потому лишь, что он занимался не своим делом. Вместе с тем близилась еще одна многозначительная черта, у которой подводили итоги многие великие поэты — но и только поэты; то, что век обрывался на определенном числе у одних стихотворцев, дарило человеку точных наук некоторую надежду — во всяком случае, известные ученые жили обычно подолгу; другими словами, учителя учили до тридцати с чем-то, а бомбу придумали отъявленные долгожители, и выходило, что Понипартову, опускающему перед просвещением железный занавес, еще жить да жить; это был очевидный подарок, и как-то не хотелось выяснять, чей. Здесь существовала незаманчивая тайна; стань Понипартов ученым — и то не приблизился бы к разгадке, хотя его еще на студенческой скамье знакомили с частицами, каждая из которых являлась первообразом мира или вообще — мысли. Впрочем, о прообразе мысли в лекциях ничего не говорилось, это было уже его собственное озорство, упражнение в остроумии: так эффектно бывало вдруг заявлять, красуясь перед девушками, что, например, не только астрономам надобно изучить орбиты электронов, но и анатомам — законы движения планет: иначе тем будто бы не понять жизнь ни клетки, ни мозга. Те и другие, в сущности, исследуют один и тот же предмет, и бессилие объяснить то малое, из чего состоят живые тела, не позволяет представить ни бесконечность Вселенной, ни ее Начало (вернее — то, что было до него). Многих тут сбивает с толку невозможность соорудить из подручных средств действующую модельку, прочие же соображают, что если было Начало, то был и Бог. Такими соображениями следует делиться с ближними, да не всякий готов выслушивать подобное. «Потому-то, — думал Понипартов, — люди и уходили в скиты, что там легко находился терпе-

ливый собеседник. Там сколько угодно бывало времени для рассуждений, и там столько случалось рассуждений, что на них не хватало жизни. Так что оставь, Филипп, свои попытки, оденься в черное и молчи».

В электричке напротив него сидела женщина в черном, не по погоде, платье – и молчала, разумеется. Она так улыбалась, глядя на охапку трав и полевых цветов в своих руках, что Филипп быстро отверг догадку о трауре. Сидевший подле нее пьяненький паренек все пытался завязать разговор, но что-то у него заедало, и он отворачивался с обидой. Понипартов мысленно заклинал ее не отзываться, если того все-таки прорвет, вообще не раскрывать рта, чтобы ни ей не попасть в положение горьковской красавицы на пароходе, ни ему самому не стать разочарованным свидетелем. Милая и благозвучная, вполне отвечающая внешности ее речь вовсе бы не тронула нашего очевидца, оттого что только разочарование – это событие, но не наоборот: движение в добром порядке, от низкого – вверх, воспринимается всего лишь как должное. Так и обретение лица делается не вдруг и узнается не сразу, зато потеря его – удар для всех окружающих, происходящий в ничтожное мгновение, когда человек, споткнувшись на бегу, с размаху падает ничком; его поднимают набежавшие санитары, а лицо, алой изнанкою кверху, остается на асфальте.

Была только середина дня – час, ранний для возвращения в город дачников и туристов, и поезд шел полупустым. На очередной остановке в вагоне прибавился всего лишь один пассажир – некрасивая девушка в белом сарафане, где-то уже встречавшаяся Филиппу однажды; еще не вспомнив, кто это, он машинально поклонился. Тоже сначала не узнав его, она все же села рядом; по тому, как она особенно склонила голову, Понипартов вспомнил: Карина.

– Если не ошибаюсь, – с непонятной для самого себя резкостью сказал он, – мы в свое время познакомились в дворницкой.

– Кажется, и впрямь познакомились, – согласилась она, – только вот беда: с дворниками-то я не знаюсь.

– Бог с вами, не торопитесь. Теперь ведь такое время: что ни дворник или кочегар, то поэт или еще какой сочинитель. Вот и художник, у которого мы виделись, машет по тротуару метлой – тоже своего рода кистью.

– По-настоящему я знакома всего с одним художником, он и водил меня по мастерским своих друзей, куда, когда – не припомнить. Это Алеша Рыдаев.

– А Наташа Шалиско? Это же ваша протеже: вы ее рекомендовали своему деду.

– Ах, так вот откуда... Кстати, я давно не видела их обоих. Как там Наташа?

– Там – никак, – усмехнулся Филипп. – Теперь я тоже с ней не вижусь. Наташу уволили. Она познакомилась с иностранцем, на нее донесли, и ей пришлось уйти с работы. Это случилось одновременно с ее серьезным романом, а возможно, это и был сам роман, но так или иначе, а участвовать в дальнейших событиях я не посмел.

В камере еще оставалась пленка, и Понипартов оценивающе оглядел Карину. В фотомодели она явно не годилась: остренькое личико, тонкие, как веревочки, ручки, маленькие грудки, похожие на спрятанные под платьем треугольные пакетики сливок – то есть, на его взгляд, резкие тени в ненужных местах и отсутствие оных там, где надо.

– Известно, кто на нее настучал? – в голосе Карины впервые прозвучал интерес.

– Конечно нет. Вряд ли это был наш коллега, потому что на фирме, кажется, никто не знал о ее частной жизни. Одного «товарища» я все-таки подозреваю, но, видимо, и он тут ни при чем. Скорее всего, доносчика надо искать в другой, в свободной ее жизни.

– Вы так серьезно делите – свободная и несвободная?

– Я так живу, – вздохнул он. – И лишение и обретение свободы каждый понимает по-своему. Кстати, у вас вид беглянки. Будто сию секунду вырвались из неволи и – откуда вы? Вдали от города, одна?

– Вы страшный человек: все угадали. Я и вправду сбежала, бросив деду и репку. Здесь у нас садовый участок с хаткой. Родители стараются не оставлять меня одну в городе, вот я по выходным и отбываю невинность на даче.

– Не так же ли и вы будете воспитывать своих детей? Наверняка ведь не придумаете ничего такого, чего не было до вас. В Библии сказано: что было, то и будет, и нет ничего нового.

– Вы что, в Бога верите? – фыркнула она. – Кого только дед у себя ни держит!

– Верую. Только ведь и неверующему надобно знать Писание – всякому культурному человеку. Без этого не прочесть ни Достоевского, ни даже Толстого...

– Какая скука – в выходной день рассуждать о таких вещах!

– А о чем же?

– Да про любовь.

Но об этом он вспоминал уже, – разбудив изгнанную было тоску. Филипп старался научиться жить без Наташи, заводил новые знакомства (но все искал похожих на нее – с мягкими чертами лица, мягки-

ми руками и с мягкими именами) или звонил по забытым, старинным номерам, и все же где-то внутри, видимо, накапливалось какое-то вредное вещество либо, наоборот, иссякало – полезное, и тогда он начинал отчаянно скучать по Наташе. Теперь, даже в виду какого-нибудь флирта, он вовсе не надеялся заменить ее, а лишь оттенить воспоминания, и даже невзрачная Карина возбудила в нем ту же надежду. «Тоже ведь женщина, – снисходительно подумал Филипп о ней. – Нашел же в ней что-то этот эстет, Алеша. Что-то трогательное, пожалуй, жалость, что ли».

– Грустная тема, – сказал он о любви.

– Э, да вы, я вижу, из ушибленных. Какая же грусть в том, к чему все стремятся? Вот и вы – неужели вы сегодня совсем об этом не мечтали?

– О чем – не знаю, но не мечтал, – засмеялся Филипп. – Меня отвлекали краски, запахи. Я в монастыре был, в развалинах. А потом достаточно было войти в рощицу молодых сосенок – представляете, как пахнет горячая от солнца хвоя?..

– В детстве, – вспомнила Карина, – я с трудом дожидалась уроков английского: мне нравилось, как пахнет учительница.

Филипп едва не сказал, что ему нравится, как пахнет – от нее.

– Это могло направить вашу судьбу, – заметил он.

– Могло, только дедушка распорядился по-своему.

– Если вы так от него зависите, как же вышло, что взяли и сбежали?

– Сильно захотела. Нарочно, чтобы с вами встретиться.

– Тут-то я и поймал вас на слове, – твердо сказал Филипп.

## 5.

Ступив на твердую землю, он дрогнул, вдруг решив, что, взвешивая доводы за и против возвращения, воспользовался негодными гириями – и пушинки в итоге обернулись кирпичами. Прибыв незваным гостем, он буквально кожей почувствовал враждебность среды, в которой ему предстояло одолевать долгую дорогу до центра города и затем от центра в Анучино; уже в здании аэропорта стала очевидна перемена в людях, встречных и попутных, произошедшая за время его отсутствия: ему мнилось, будто они дружно глядят на него всего лишь как на провинциала, обреченного затеряться в столице. Отчасти они оказались правы, угадав настроение – не лучшее, оттого что никто не ждал, не встречал его и обшарпанная квартирка с умершими без хозяина тараканами на пыльном полу совсем не казалась родным домом – ни в какое сравнение не шла с оставленным вчера гостиничным номером, где он, старожил,

чувствовал себя незаурядной личностью на фоне проходившей рядом безалаберной жизни временных постояльцев – курьеров и просителей. Из гостиницы во всякий час можно было пойти к верной женщине, к Гале, чтобы вкусить разом и домашнего и женского тепла, теперь, как казалось, недоступного больше никогда. Сейчас он почти готов был биться об заклад, что жизнь возможна только в рассыпанных по сопкам хрущевских коробочках, перетянутых для защиты от землетрясений ржавыми рельсами, а заманивший его в свою глубину огромный добротный город – не что иное как потемкинская деревня, сколоченная для обмана туристов, как некогда – сельскохозяйственная выставка.

Примирило его с действительностью только убожество вида из окна квартиры. Скосив глаза направо, можно было увидеть ряды гаражей, налево – линейный флаг над кирпичным безрадостным зданием; именно этот флажок разбудил кое-какие осевшие на дно воспоминания, первым делом – о столовой и о платиновой блондинке, и хотя последняя, секретарь хозяина этого дома, была не по карману простому журналисту, он все же воспрянул духом. Не так уж плохо могла начаться для него московская жизнь, если первое, что следовало сделать по приезде, – это выяснить, на месте ли любезная его сердцу девушка. Все остальное можно было (вернее, хотелось) отложить, прежде всего – явку в редакцию с отчетом, за чем почти наверняка пришлось бы искать работу вместо утраченной – притом, что он еще не решил для себя, нужно ли теперь требовать возвращения прежнего редакторского кресла, пуститься ли в какую-нибудь рискованную авантюру, используя неизбежную при всяких реформах неразбериху, или отважиться засесть дома за пишущей машинкой, сочиняя уже не популярную брошюру, как раньше, а путевые очерки. Живя на Дальнем Востоке, он постоянно примеривал к себе сладкую формулу «вольные хлеба», в действительности относившуюся к области чистой фантастики, оттого что жатва этих самых хлебов требовала изрядного таланта, а не одного писательского зуда, пусть и вкуче с несколькими подсмотренными или подслушанными им историями – например, о крысе на тонущем корабле, уступающей дорогу капитану. Кто-нибудь другой даже из такого сюжета сделал бы конфетку – он же вынужден был признать, что не продвинется дальше исходной (приведенной выше) строчки. Надежда на то, что дважды произведенная перемена мест переменяла что-то в нем самом, была ничтожной, оттого что здесь не существует общего правила. Поэт, слетавший в Космос, возвращается оттуда прозаиком, прозаик – начинает писать плохие стихи; о художниках нечего и го-

ворить, но нечего говорить и о космических летчиках: космонавт возвращается из Космоса всего лишь космонавтом.

Смелость последних сравнений была не к лицу Деригузову (в прямом смысле: глядясь в зеркало, он постеснялся бы сравнить себя не только со звездоплавателем, но и с пилотом местных линий), но он все же сопоставил свое положение с тем, в какое попадают в романах о будущем космические путешественники, когда по возвращении, отстав в возрасте от земных сверстников, с изумлением взирают на происшедшие без них перемены (к своему счастью, Деригузов не подозревал, что и для писателей время течет иначе, чем для тех, кто читает их книги, и что известно даже, кто из них старится быстрее). То, что он увидел в своем городе, смутило его чрезвычайно: он ждал изменений, но не таких. Он думал, что знает обстановку из газет, но газеты писали не обо всем; как стало ясно из первых же телефонных звонков коллегам, многое в столице перевернулось с ног на голову, и если он правильно понял, теперь почти везде в редакциях сидели враги.

Убедиться в достоверности этих сведений хорошо было бы воочию, но прежде всего следовало позаботиться о собственном пропитании. Вылазка в магазин мало что дала, но Деригузов, человек опытный, иного и не ожидал; вдобавок сейчас же поесть дома было бы затруднительно: вся посуда оказалась в каком-то песке и, главное, в плесени. На наведение порядка ушла бы уйма времени, а желудок торопил, да и посмотреть на свою платиновую мечту хотелось поскорее, так что райкомовской трапезной было не миновать. Час же был как раз обеденный.

Между тем затея едва не сорвалась. Перед ведущей в столовую лестницей его остановила пухлая милиционерша. Подобное и прежде случалось время от времени, когда кто-нибудь из отцов района вдруг решал, что слишком много смертных пользуется скидкой, но Деригузову всегда удавалось проходить, сделав важную мину и тем сходя за своего; сегодня его, пропитанного провинциальным духом, остановили с грубостью:

– Куда это вы так разогнались?

Куда – оба знали твердо, и все же крыть было нечем, разве только – ответить на обратный вопрос, и он, запоздало сдобривая взгляд холодом, а тон – железом, веско обронил:

– Я – с Дальнего Востока.

Какую силу имело названное обстоятельство, сержанту было не рассудить; оставалось уступить дорогу.

У вожденной раздачи стояла вожденная блондинка – словно и не уходила никуда с незапамятных дней. Прежде не носившая украше-

ний, она была отягощена белым металлом – платиной, по определению. «Хватает же у кого-то зарплаты, – грустно удивился Деригузов. – Северная надбавка тут разойдется в одну минуту». Тем не менее он постарался поймать взгляд девушки, и когда это получилось, кивнул, как старой знакомой; она наморщила лоб, вспоминая. Память ее оказалась коротка, что и требовалось на сей раз, и Деригузов, смелый приезжий, подсел к ней.

– Давненько я здесь не был, – развязно начал он, расставляя на столе свои тарелки, – не брал в руки шашек.

– Знакомое лицо, – неуверенно отозвалась она.

– Забытое, – с нажимом поправил он, чтобы не навести ее на мысль о двойнике, и запнулся, вдруг сообразив, что где-то должна быть вторая такая же, с платиновыми волосами, и что не мешало бы выяснить, как вообще появляются подобия, нет ли тут некой закономерности. – Столько воды утекло в пролив! Помните песню: «А я кидаю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза»? Но нет, нет, не подумайте: в лагере я не сидел.

– Где же тогда?

– Какой замечательный вопрос! – обрадовался он. – Ну где же мне там можно было отсиживаться, если не в лагере, чем заняться, если не валить лес, отбывая срок по уголовной статье? Есть, правда, еще один вариант: творческая командировка.

Не попросив объяснить многозначительный эпитет, она взглянула чуть добрее.

– Успешно съездил, – продолжил он без спросу. – Кое-что приобрел, да здесь, боюсь, не растерять бы: новый курс, все зыбко...

– Секретарь чувствует себя уверенно, – сухо возразила девушка.

– Еще бы: семи пятен во лбу, – брякнул Деригузов.

– Я имею в виду нашего. Первого.

В конце концов он остался доволен собой: разговорил, а быть может, и заинтриговал девушку, не дав вспомнить прошлой встречи, и, при всей нынешней растерянности, не только не заплакался, но сыграл некоего бодрячка, поставив точку в нужном месте – как раз там, где обычно ждут продолжения.

Было бы совсем славно, когда бы и его настоящие дела достигли сейчас того же самого места. Беда заключалась в том, что, придумав сдать позиции, он не узнал расстановки сил; столичный корреспондент – это много значило на краю света, но в столице он оказался одним из толпы, собравшейся на зыбкой почве. Пока он вспомнил лишь единственный способ выделиться – это устроить скандал, демонстрацию

протеста, неважно, против чего, но так, чтобы попасть в хронику, — только таким манером он мог бы стать одним, а не одним из. Он хорошо помнил, что не так давно инакомыслящие непременно становились героями дня, хотя бы и судного, но тогда для того, чтобы мыслить инако, требовалось мыслить, сегодня же, как он полагал, довольно было бы отстаивать какие-нибудь прошлогодние позиции — он-то делал бы это искренне. «И все же, — решительно сказал он себе, глядя вослед уходящей секретарше, — перемена имени это перемена участи — и наоборот. Что же говорить о перемене внешности? Совпадение внешностей — как отзывается в судьбах? Нет, надо любой ценой прибиться к Лозаннскому. Вместе — к единой цели. Эта красавица могла бы помочь, да момент упущен, она уже спит со своим Первым. Надо было б проводить до кабинета — черт с ним, с компотом, — да я всегда поздно соображаю».

— У вас тут — второй раз спрашиваю — свободно? — наконец услышал он чужой голос.

— Занято, занято, здесь же сидит эта... — недовольно ответил он, тотчас, впрочем, спохватившись: — Ах, нет, ушла же... Садитесь, садитесь, скоро и я уйду.

Возле него стояла сменившаяся с поста милиционерша; не обратив внимания на поднос в ее руках, Деригузов едва не начал оправдываться. Она же, получив разрешение сесть, начала с места в карьер:

— Как там Дальний Восток?

— Далеко, — с чувством отозвался он.

— Вы сами-то кто будете?

Уже собравшись возмутиться вопросом, он вдруг выпалил:

— Двойник Лозаннского. Младший.

— Неужто до сих пор... Я думала, тогда только... И что же, хорошо за это платят? Вы уж извините, я впервые вижу...

— Смотря по обстоятельствам, — пробормотал он, собирая свою посуду. — А уж смотреть — так на обоих сразу.

— Но по-нашему-то ваша должность как считается?

— По вашему — майор. Приятного аппетита, — поспешно откланялся он, досадуя на дотошную тетку, испортившую славный обед, и без воодушевления, но со злостью думая о том, что еще придет сюда хозяином или, во всяком случае, — имея на то законное право.

## 6.

Со своим планом поставить сеть во всю ширину пролива и потом только выбирать из нее рыбку, что покрупнее, Деригузов погорячился. В столице в самом деле возникло множество кормушек, но к ним успе-

ло припасть уже достаточно народу; кое-кто из подоспевших первыми, быть может, и сумел занять теплые места без боя, зато следующим уже пришлось поработать локтями, а серьезно опоздавшим оставалось лишь либо готовиться к серьезной драке, либо набраться терпения и уповать на случай. Дым отечества, из-за горизонта казавшийся сладким и приятным, при погружении в него ел глаза.

Пейзажи, писанные маслом, особенно фальшивые, лучше рассматривать, отступив на несколько шагов. Иные нынешние, умудренные новейшим опытом зрители обнаруживают огрехи и неподлинные места даже невооруженным глазом; впрочем, вооруженному здесь неоткуда было бы взяться: одни не видят в оружии нужды, другие не в состоянии его приобрести, а третьи — находят бесполезным, столь могущественною выглядит противная, виновная в подделках сторона: с нею будто бы не справиться ни ловкостью, ни умом, да и всего лишь разузнать о ее намерениях кажется невозможным — ни подсмотреть, ни подслушать, ни разнюхать, а только удовольствоваться той малостью, которою по утрам одаривают выходящие к народу глашатаи. До сих пор, правда, еще кое-что выносилось наружу кухарками, но это бывали ничтожные мелочи (к тому же часто вскоре выяснялось, что и те не просочились нечаянно, а выпущены на волю с недобрый умыслом), так что главные тайны кухни не только оставались нераскрытыми, но и насчет их существования иной раз заблуждались даже повара, варившие соусы каждый в своей кастрюле. Глашатаи, кстати, выходили из ворот тоже не как бог на душу положит, а один — к толпе, второй — к званым, а третий — к избранным, которым только и можно было доверить отмеренное знание; этот третий говорил пространнее своих товарищей ровно настолько, сколько требовалось, чтобы его непростые слушатели прониклись чувством причастности к тайным государственным делам; между тем говорено бывало много, а сказано — ничего.

Деригузов был из тех глашатаев, что вещали толпе; отъехав однажды от крепостных ворот, он и сам легко смешался с нею. Выбраться потом из людской гущи оказалось куда труднее. По возвращении к крепости он обнаружил текущие то ли из-под ворот, то ли из-под некоего занавеса (в давке было не разобрать) те самые тайны, о которых теперь мальчишки кричали, будто это и не тайны вовсе, а скопившаяся под ногами постыдная жижа; странно было, что многие обманывались ее видом.

Изменений в обстановке своим умом было не постичь, лучше следовало бы опросить очевидцев и пострадавших, но ни встречи, ни звонки не слишком получались у Деригузова; если они и происходили, то



впопыхах, когда приходилось ограничиться двумя-тремя вежливыми вопросами — о семье, о делах на службе, о достатке. О политике гораздо больше можно было наслышаться в трамваях и очередях; там, не стесняясь, говорили такие вещи, за которые еще недавно и рассказчики и слушатели угодили бы за решетку. Деригузов ужасался этим толкам, хотя и верил им лишь наполовину: как-никак, это были всего лишь речи пролетариев; узнать мнение коллег можно было бы, видимо, только одним верным способом — собрав их за столом.

Для того чтобы разговор вышел подробным и серьезным, решено было собраться без женщин, ресторан же он хотел выбрать из дорогих, считая, что гулять так гулять — как и положено вернувшемуся на материк, — но коллеги неожиданно воспротивились, не пожелав ни излишних церемоний, ни музыки. Пришлось согласиться на простую шашлычную — и потом Деригузов ругал себя за слабость, думая, что именно поэтому из пяти приглашенных явились только двое, как раз те, которых он знал не слишком близко: Олег Химаныч и Миша Солослов. (Фамилию первого все знакомые и знакомящиеся люди норовили использовать как отчество, сбиваясь с Олега Ивановича на Олега Химаныча — так постепенно и укоренилось; у другого приятеля с фамилией тоже случались неудобства, оттого что многих подмывало перенести ударение со второго, как было задумано, на последний слог — возможно, чтобы подчеркнуть лингвистические наклонности ее носителя, — но и на этом останавливались не все, отчего с дальнейшими преобразованиями в конце концов установилось: Суеслов.)

В заведении, куда они попали, сесть было негде — так, во всяком случае, им показалось в первую минуту, пока глаза не привыкли после солнечной улицы к полумраку. Поначалу можно было различить только сидевших за первыми столами и ражего бородача, сражавшегося со своим плащом, вешалка которого, многократно перекрутившись, никак не снималась с крючка.

— И ведь что удивительно, — обратился тот ко вновь вошедшим, но так зычно, что и другие повернулись к нему, — пальто мое, а снять не могу!

Всезнающий Химаныч шепнул спутникам, что это известный художник; тот, некстати расслышав, махнул рукой:

— Неважно, что художник. Но вот кто закрутил?

Солослов, смеясь, помог ему справиться с одеждой — и заслужил мокрый поцелуй. Уже отворивши дверь, художник вдруг снова — резко, едва не упав, — обернулся к нему и, погрозив пальцем, изрек:

— Заруби: идею убить можно, мысль — нельзя!

— Ну вот, а ты в ресторан звал, — сказал Химаныч Деригузову. — Каков колорит! В народ надо ходить, в народ.

Место среди народа они, к своему удивлению, нашли сразу: заметив, что в темном углу расплываются две пары, они быстрым броском опередили соперников. Но едва они сели, довольные победой, как над самыми их головами загремел динамик.

— Меньше шансов, что подслушают, — нашел в этом светлую сторону Химаныч.

— Неужто это до сих пор практикуется? — удивился Деригузов. — Почитать газеты, так слезка быльем поросла.

— В известном учреждении штаты не сокращались. За что люди получали зарплату, за то и продолжают получать.

— На свободу — с чистой совестью, — скороговоркой заключил Деригузов и обернулся к подошедшему официанту.

Приняв заказ, тот заметил словно бы ненароком, для себя:

— Скучновато вам без дам.

— Эко ты, братец, на стихи горазд, — удивился Солослов. — Но за нас не беспокойся, мы всю жизнь сами себя развлекаем да и чужих успеваем утешать.

— Неужели это теперь практикуется? — повторил свой недоуменный вопрос Деригузов, кивнув в сторону удаляющегося официанта. — Впрочем, я читал в «Огоньке».

— Нет, этого у нас нет, — съязвил Химаныч (именно так еще недавно отвечала на вопросы о пороках советская пресса). — Это не присуще здоровому социалистическому обществу. Неужто твое перо ни разу не вывело данную максиму? Что касается меня, то — рука устала.

— Увы, этого у нас есть, — кисло засмеялся Солослов. — Газеты, милый мой, читать надо, а не только их делать.

— Чукча не читатель, чукча — писатель. Так ведь, Виктор, ты же у нас теперь знаток чукчей?

— Сам на утро чукчей стал, — пропел Солослов.

— Запрещенный прием, — остановил Химаныч. — Мало ли с кем человек спал. Другое дело, что теперь трудно стало разбирать, кто, чего и от кого набрался. Еще Шекспир сказал, что весь мир — бордель.

— А мы в нем — актеры.

— Но актеры в борделе — сколько же это шума!

— Если актеры нищи, то — много шума из ничего. Нищи же они по определению: при наших-то трех копейках на культуру.

— При трех или нет, — заметил Деригузов, — но на гонорары мы не жалуемся.

– А ты считаешь себя работником культуры? – едко спросил Химаныч. – Вспомни, что Владимир Ильич говорил о газете: пропагандист, агитатор, организатор – и ни слова о культуре. Нас держат для того лишь, чтобы мы доказывали: государство сильно только если народ нищ. И для того, чтобы народ не знал, что он нищ.

– С каких это пор он стал нищ? – вскинулся Деригузов.

– С тех самых – года этак с семнадцатого.

– Ты забываешь, сколько мы построили!

– Все познается в сравнении. Ты вот не был за бугром, а я сподобился. Ну, схема известна: сначала – Болгария, потом – ГДР, а там уже выпустили и в капстрану. Боже, как же богато они живут! Нам невозможно представить это богатство простого человека, у которого есть все – настолько, что больше ничего не нужно: не нужно думать о своих потребностях.

– Потом он потеряет работу – и ни дома, ни машины, ни еды, одни старые тряпки, – не унимался Деригузов.

– Что-то, братец, твоя Аляска тебя не вдохновила, – прищурился Солослов. – Не одичал ли ты среди своих оленеводов и лососелов?

– Где, к слову, наша лососина? – спохватился Химаныч. – Мы сделали большую ошибку: начали серьезный разговор всухую.

– С первой минуты о бабах не говорят. Да вот он идет, наш кормилец.

Заказано было много чего, только не напрасно упомянутая рыба, а кавказские блюда: лобио, непременно шашлык, неведомая трава, хачапури – блюда едва уместились на столе, и Солослов не преминул поддеть:

– Смотри, Виктор Степанович, пшенка-то в Москве есть еще.

– Одно слово – суеслов, – ухмыльнулся Деригузов. – В Москве много чего есть.

– Одно слово? Вот за одно слово ты и пострадал однажды. Оно, как известно, вылетит – не поймаешь, да выпускать-то его надо, зная новые наши обстоятельства.

– Обстоятельства – вот они, как на ладони, только отчего ж их никто из вас не объясняет? Что-то с вами, товарищи, случилось. Один о протитутках очерки пишет, другой – выходит из партии. Слыханное ли дело? Дичь какая-то.

– Куда силой загоняли, оттуда и выходят, – невозмутимо объяснил Химаныч, наполняя рюмки – не вином, уже стоявшим на столе, а коньяком из бутылки, которую достал из своего портфеля. – Сила нынче иссиякла, вот и пошел натуральный процесс.

– Чтобы сохранить партбилет, я чуть ли не в ссылку подался! – со слезой в голосе выкрикнул Деригузов. – Я же – наш человек!

– Вот и выпьем за благополучное возвращение из ссылки, – поторопился предложить Солослов. – Сколько же можно терпеть? Пардон, я не о лишении свободы, а о том, что вино стынет и хлеб черствеет. Посмотрите, из каких только далеких краев ни возвращались наши ссыльные – наши, подчеркиваю, люди: из Шушенского, из Туруханского края и даже, как сумел наш Виктор Степанович, из Разлива Лаперуза, где он в шалаше скучал по партсобраниям.

Вовсе не по собраниям соскучился Деригузов, хотя они и были важной частью его бытия, но промолчал, поняв, что, возражая, сдаст какие-то позиции. Тут же ему совсем не к месту вспомнилось досадное происшествие, случившееся на последнем перед отъездом из Москвы партийном собрании. Перед его окончанием собравшиеся, как и обычно, запели стоя «Интернационал». Деригузов, отродясь не знавший наизусть слов партийного гимна, выводил, как и всегда: «Зима!.. Крестьянин торжествуя на дровнях обновляет путь; его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь...» Поначалу он старался петь потише, чтобы кто-нибудь, тоже не знающий текста, не попросил потом списать слова, но постепенно, залюбовавшись собственным голосом, увлекся так, что один из соседей, к счастью – незнакомый, услышал все. Увидев его дикий взгляд, Деригузов покрылся холодным потом и онемел – весьма кстати.

– Но чтобы своими руками подать заявление о выходе... Это же предательство! – не мог успокоиться Деригузов.

– Ты вот выпил, а не закусил, – попенял Химаныч и, обводя рукой полный еды стол, провозгласил с набитым ртом: – Партия была, есть и будет есть.

– Да ведь у вас возьмет верх анархия!

– И у вас, дорогой товарищ.

– У нас, у нас. У нас люди будто с цепи сорвались. Вы хотя бы понимаете, что творите?

– Что творим – да, что творится – не очень, – признался Химаныч. – В принципе то, чего мы добились, могло бы совершиться в одночасье, декретом, а сделалось, как и все у нас, через задницу, самообманом. Едва в конце пресловутого тоннеля забрезжило нечто определенное, как тотчас это определенное перестали называть своим именем (а если называли, то для того лишь, чтобы откреститься); когда же в одно прекрасное утро мы все-таки докатились до вожделенного конца трубы, как раздались вопли: «Мы влипли во что-то определенное!» Заметьте, нашу цель в

экономике вообще никаким именем не называют, чтобы не вызвать скандала, хотя вот-вот в речах начнет проскальзывать некий термин с непременной оговоркою, что это не наш путь, а к слову пришлось, — но через пару лет окажется, что мы в этом термине стоим уже по уши.

— Это все — отвлеченные материи — остановил его Деригузов. — Важно не то, какие термины в ходу, а то лишь, кто и каким термином пользуется. Здесь новичку или провинциалу нужен путеводитель. Я прихожу в редакции и не знаю, на каком языке нужно говорить, да больше того — вообще не могу приходить без разведки: не ровен час, попадешь к врагам.

— В родной «Пульс труда» ты не заглядывал?

— Зачем? Мое кресло занято — так не пойду же я рядовым корреспондентом в собственную газету.

— Не пойдешь, беспспорно. К тому же листок стал таким, что... В общем, сейчас не в моде прежняя варварская целеустремленность.

— Целеустремленность, между прочим, предполагает наличие цели, — отчеканил Деригузов, подумав, что на нынешней компании свет клином не сошелся и что не зря у него припасены некоторые независимые секреты. — Вместе — к единой цели.

— Наша единая цель, — напомнил Солослов, — в портфеле у Олега.

— Единая? — горько засмеялся Деригузов, делая вид, что не понимает шутки. — Я вижу вокруг только разброд и шатание. Причем, заметьте, на окраинах страны партийная власть сохранилась в первозданной форме.

— Не все сразу, — успокоил его Солослов. — Дойдет свежий ветерок и туда. Мы-то здесь уже и за четвертую, то есть за нашу с вами власть ратуем: пусть все будет, как у людей. Правда, в Советском Союзе пока ни третьей нету, ни второй — но это уже, как говорится, другая история. А четвертую — надо брать. За это и выпьем.

— Брать мосты, вокзалы, телеграф... — засмеялся Химаныч; музыка в этот момент смолкла, и его услышали. Ему пришлось громко сказать на публику: — Ленинская тактика себя оправдала.

— Все же вернемся к четвертой... — уже негромко, для своих, продолжил Солослов. — Там, у них, об этом можно говорить серьезно: вспомните, какие трудные вопросы задают журналисты американскому президенту. Фактически он вынужден перед ними отчитываться. Чистые наши души к такому, конечно, не привыкли. Представь... хорошо, живых трогать не будем — представьте, как несколько лет назад явился бы кто-нибудь из нас к Михаилу Андреевичу Суслову с микрофоном и спросил: скажи-ка, брат Суслов, что ты там натворил с лауреатом всех

премий Сахаровым? И дальше — вопрос за вопросом, до инфаркта. Мы ведь даже такую мелочь не решаемся спросить (у Лигачева), во что обошелся стране сухой закон. А ведь он — обошелся!

— Срочно выпьем, — предложил Химаныч. — Один толковый американец заметил, что при сухом законе самое трудное — это оставаться трезвым.

— Есть трудности, перед которыми неизбежно пасуешь.

— Ну что, товарищи, вы так кричите? — взмолился Деригузов, которого беспокоило внимание молодежи за соседним столом.

Но он и сам сказал это совсем не тихо, потому что снова включилась музыка. Из-за нее, возможно, оттого что не всякое слово можно выкрикнуть, не изменив этим его смысла, задуманный мужской разговор наших приятелей никак не становился рассудительным, а все более походил на ссору. Вокруг них кричали не меньше и не тише; не было слышно, пожалуй, только ближайших соседей — студенческой компании, в которой девушки составляли явное большинство и которая видимо, пришла сюда не поесть, а потанцевать — хотя в шашлычной для этого вовсе не было места. Молодые люди все же как-то ухитрялись двигаться в тесных проходах, мешая официантам; глядя на них, выходили потоптаться под музыку и более солидные (но менее трезвые) люди. Когда Деригузов, устав надрываться и раздражившись на приятелей, отвернулся от них и увидел за своей спиной девушку, оставшуюся без кавалера, то и сам решил тряхнуть стариной. Он не был уверен в своем умении, пережившем многолетний перерыв, но такового и не потребовалось, чтобы постоять немного в тесноте, обнявшись и поочередно подгибая в такт колени. От девушки пахло хорошими духами, и тепло ее щеки ощущалось на расстоянии так отчетливо, что хотелось немедленно прикоснуться — своею, и что-то стало мешать Деригузову в белье (терла неожиданная складочка), так что от всего этого он возбудился чрезвычайно. Чтобы сдвинуть складочку, он, будто нечаянно поплотнее прижавшись к своей даме, дрыгнул расставленными ногами, но и она в ответ надавила животом, так что результат получился обратный ожидаемому. Распалившись безо всякой надежды на разрядку (которой неизбежно предшествовало бы выяснение отношений с мужской частью компании), Деригузов к месту вспомнил читанную когда-то подпольно в книге русского мыслителя историю о некоем кавалере, который, покинув в похожем виде бальную залу, вдруг обнаружил в ближайшей пустой комнате миску с водой — и каким блаженством было охладить свой пыл погружением! Так же к месту оборвалась наконец музыка, и Деригузов раскланялся с девушкой столь поспешно, словно

впрямь имел возможность утешиться подобным образом; он нервно засмеялся, представив себе, какой переполох поднялся бы, если б для этого удалось на глазах у публики приспособить стакан с нарзаном. Увы, пьян он был для такой акции недостаточно.

– Шашлык стынет, – попенял ему Солослов.

– Шашлык! – вдруг обозлился Деригузов. – А по России мяса нет нигде! На Камчатке хотя бы оленину едят, а в Хабаровске – попробуй, найди кусочек хотя бы какой убоины. Все ваши перемены – пустые слова. Перестройка! Ускорение! Что толку-то?

– До перестройки разве было мясо? – удивился Химаныч.

В ход пошли и кулаки по столу, и особая русская речь, емкая и красочная, но вне текстов теряющая своеобразие, что позволяет нам не воспроизводить реплики – они известны; что же касается предмета разговора, то первоначальный быстро наскучил – тем более, что было чем его заменить. Сколько бы ни горячились журналисты, пока полоскали имена вождей, они, стоило им нечаянно коснуться другой темы, непременно в мужских беседах, а именно – женщин, вмиг снова стали добрыми приятелями, внимательными один к другому.

– Ты сговорился с ней? Пойдешь провожать? – показывая глазами на девушку, с которой танцевал Деригузов, поинтересовался Химаныч.

– Нужна она мне! – с напускной грубостью ответил тот и, неожиданно почувствовав потребность высказаться, принялся описывать тех, что бывали нужны. Начав издали, он затем похвастался, пользуясь сложными аллегориями, оставленной в дальних краях Галей и уже решал, не стоит ли рассказать еще и о райкомовской секретарше, как вдруг в зале погасла половина ламп, замолкли динамики и наша компания с удивлением обнаружила, что заведение, вроде бы только недавно ее приютившее, уже закрывается.

– Казалось бы, ничто не предвещало, – растерянно проговорил Деригузов; время пролетело незаметно, а он так и не выяснил ничего из того, что было ему нужно: беседа вертелась вокруг да около, но коллеги так и не догадались дать ему дельных советов, а он сам – так и не успел попросить.

Кто-то опоздавший ломился в шашлычную, не слушая бубнежа вышибалы, и всякий раз, когда открывалась дверь, вопрошал одно и то же: «Понимаю, что закрыто, но покушать-то найдется что-нибудь?» Солослов в развитие последней темы предложил было якобы в шутку: «А теперь – по бабам», – но это так шуткою и осталось, оттого что никто не знал, как претворить лозунг в жизнь; они пожалели, что опрометчиво отказались от предложения официанта. Выйдя на позднюю

улицу и прогулявшись с четверть часа в неосознанных поисках то ли еще одной бутылки, то ли приключений, все одновременно с досадой обнаружили, что, покидая заведение, напрасно пренебрегли туалетом; искать его в центре города в такой час было бессмысленно, не предвиделось и подходящих подворотен, а сколько видел глаз, тянулись ровные, без выступов и ниш, облицованные понизу гранитом стены. Приятелям ничего не оставалось, как выстроиться вдоль одной такой стены, – и в ту же минуту из тьмы сгустился милицейский патруль. Положение была отчаянное, но Химаныч, видимо, наиболее трезвый изо всех, не прерывая дела, свободной рукой споро вытащил из кармана аккуратно свернутую ассигнацию; деловито удостоверившись под фонарем в ее достоинстве, милиционеры без слова удалились своим путем.

– Что ты им выдал? – живо поинтересовался Солослов.

– Красненькую.

– За то, что отлили? – ахнул Деригузов.

– За это – неужто не стоит? Когда еще сподобишься – в таком месте! Теперь будет, что рассказать детишкам. Кстати, при проклятом старом режиме, при царе-батюшке – не возбранялось. Даже считалось замечательным событием. В Ленинграде, например, на одном мосту навеки высечена надпись: «Отливал барон Клодт».

– С моста – особенное удовольствие, – заметил Солослов.

– Язык у вас без костей, – с новой злостью процедил Деригузов.

– Профессиональное, – разъярил Химаныч. – Но ты что, не веришь? Держу пари на сотню, хочешь – на две. Сию минуту сядем на «Стрелу» и поедем, проверим. В поезде выспимся, утречком прогуляемся по Невскому, опохмелимся (в Питере проблем с этим нет) и вернемся дневным поездом.

Денег у них, однако, не хватило.

## 7.

Один в доме с младшим братом, Понипартов не знал, чем заняться. Книгу пришлось отложить, оттого что всякая прочитанная фраза тотчас обрастала в воображении дюжиной других, и к середине страницы он уже не помнил начала, работа по дому была переделана, о том, чтобы просто вздремнуть, нечего было и думать (Филипп не привык и не умел засыпать днем), и поэтому сейчас он просто лежал на диване без дела, воображая себя Ильей Ильичем, а брата, корпевшего над учебниками, – Штольцем, готовым вот-вот разразиться упреками в праздности. Петя, однако, никак не отвлекался от занятий, и Филиппу, предостав-

ленному самому себе, оставалось лишь размышлять о своем будущем, строя бесполезные планы — как и месяц, и полгода назад. За оградой славного завода «Золотое дно» давно стало скучно из-за того, что железный занавес, мало-помалу доведенный до ума, уже строился, а новой работы не предвиделось; уставшие от безделья инженеры роптали, но, пока прежняя зарплата еще поступала, не разбегались, хотя и присматривались к возможным путям отхода, а лишь убивали время, решая кроссворды или шахматные задачи. Получение заказа на второй вариант занавеса было невозможно по той простой причине, что все деньги в стране ушли на строительство первого, и народ был уже оборан до нитки. Быть может, один только престарелый главный конструктор, он же директор фирмы, не терял надежды. Филипп понимал, что дай тому волю, и он огорчит не только Советский Союз, а все без исключения страны на планете. Собственно, это и было конечной целью заказчика — превратить земной шар в «зону» (при этом способ был несуществен); пока же мир оставался всего лишь сумасшедшим домом. Преимущества последнего доказывать не стоило; правда, Лозаннскому не стоило доказывать вообще ничего: он слушал одного себя, не желая на старости лет ни новых забот, ни лишних трудностей. Напрасно приближенные предлагали ему с трудом добытые заказы на разработку самых замечательных вещей; он отвергал их все, какие — потому, что не были престижны, какие — из-за несоответствия традиционному характеру предприятия. «Мы непременно добьемся финансирования, — убежденно говорил он. — Я веду переговоры в правительстве, и уже достиг определенных успехов. Мне пообещали». Мало кто разделял его оптимизм, понимая, что времена дармовых кормушек проходят и что хочешь жить — умеи вертеться, — и Понипартов потому и думал чаще прежнего о новом поприще, что предвидел скорый крах всего дела.

Выбор теперь был не так велик, как в юности, когда Филипп мечтал стать и физиком-ядерщиком, и геологом, чтобы пешком обойти всю страну, и фотокорреспондентом — для того же. Он мечтал и о зимовке в Антарктиде, еще считавшейся тогда не меньшим геройством, чем высадка на Луне; но пока он закончил учение и набрал нужный для экспедиции опыт, все предприятие потускнело настолько, что уже далеко не всякий читатель газет знал о самом существовании антарктических станций, зато появились новые соблазны вроде плавания на «Витязе», научном судне, свободно блуждающем по мировому океану с заходами в райские места, или кропотливой (но не исключавшей непременно катания на горных лыжах) работы в лабораториях на горе Арагац или в Приэльбрусье. Былые эти намерения сейчас вспоминались Филиппом

с улыбкой: согласившись однажды с сомнительным назначением, он отрезал себе многие пути, а в последние месяцы перекрылись и остальные: стало почти невозможно перейти даже в другой «почтовый ящик», оттого что из-за разговоров о нависшей опасности всеобщего разоружения прием в них был закрыт. Единственным местом, где он мог применить — и применял — свои способности, была организованная Евтроповым «Кинематика»: без советов Понипартова она давно захирела бы; видя успех своих консультаций, Филипп говаривал, что как только разрешат частное предпринимательство, он живо откроет на паях с братом «Эрудическую консультацию».

Вопрос о семейном предприятии казался куда более простым, чем — о семье. Не так давно все виды на будущее Понипартов связывал с Наташей, и они нисколько не выходили за пределы обычных представлений; разойдясь с нею, он обнаружил полную ненужность (в смысле присутствия подле) кого-нибудь другого — вообще никого. Как и всякому мужчине, ему прежде всего хотелось заниматься каким-нибудь достойным делом; с женщинами или без — не имело значения. Теперь он стал смотреть на девушек иными глазами, не ища идеала, — отчего число их, порхающих вокруг, возросло. В это число, несмотря на изрядную разницу в возрасте, попала и случайно встреченная Карина. В первый раз, при Наташе, Филипп попросту не посмотрел на нее, но часа, проведенного вместе в электричке, хватило, чтобы увидеть, что эта тщедушная, совсем не в его вкусе, девочка может вызывать не одну жалость, но и нечто вроде снисходительной нежности; поэтому, когда Карина, выведая, что они живут довольно близко друг от друга, попросила его помочь донести от вокзала сумку, а там уже, когда он проводил, предложила и чашечку кофе, события тотчас развернулись по самому обыкновенному сценарию, безо всяких неожиданностей или изысков. Это была его первая измена Наташе, и он, оправдываясь перед собою, придумал якобы прочитанное где-то, когда-то утверждение, что никто еще убедительно не доказал, будто невозможно любить одновременно двух женщин — большую и маленькую. Вместе с тем ему не хотелось, чтобы у тех нашлось бы что-нибудь общее, и Карина, по неведению заговорив в тот вечер об общей знакомой, смутила его чрезвычайно; мигом сообразив, что к чему, девочка попыталась его успокоить:

— Чувство долга и «чувство долго» — разные вещи.

Сегодня воспоминание об этом вызвало у Понипартова усмешку: нелепо думать о долге, пролеживая диван. Довольный тем, что Штольц так и не обернулся, он, взяв со стола сигареты, вышел в коридор к телефону.

- Заходи, – довольно равнодушно пригласила его Карина.
- Ты будто опасаясь, не встретишь ли я с начальством?
- Только с челядью.
- В лице?..
- У меня Зиночка.

Филипп с трудом сообразил, что речь идет о секретарше Каринино-го деда; известие его не вдохновило, но, поразмыслив, он решил, что та все же не доносит шефу на его домашних.

В Карининой комнатке Зинаида, сидевшая закинув ногу на ногу так, что нельзя было отвести взгляд от ее сверкающих колен, выглядела иначе, нежели в директорской приемной: просто доступной девицей.

– Налей себе, – кивнула Карина на далеко не полную бутылку водки на открытом секретере. – Мы-то уже в порядке.

– Так вот, слушай, обернули вокруг меня эту простынку, – продолжила Зинаида прерванный приходом Филиппа рассказ, – и закололи шикарной клипсой размером с блюдце. Смотрюсь в зеркало – хороша, как куколка. Долго смотреться, правда, не дали, а чуть ли не коленом под зад выпихнули в комнату, где собралась вся их тусовка: администраторы, спонсоры, еще какие-то бабники. Но коленом-то коленом, а между собою не договорились: те, в комнате, о чем-то, наверное, секретничали – и как зашикали на меня, как замахали ручонками... Бабка, которая меня одевала и только что подталкивала, теперь решила удерживать за плечико, а ей это было несподручно – она на голову ниже, – да и взялась не за то место. Я не поняла, в чем дело, только прикиду сразу пришел полный... полный конец: прищепочка моя загремела на пол, за ней, понятно, и весь шелковый лоскут – скользкий же, – и я встала, как дура, во всей своей красе. Слава богу, на мне больше не было никаких тряпок. Это был, я скажу, эпогей!

– Эко ты, подружка, обосрачилась, – засмеялась Карина.

– Да нет же, все – к добру. Говорят, это мне и помогло.

– Впереди еще два тура, а такой трюк второй раз не повторишь. Я тебе только одно посоветую: если можешь, не ори на жури таким басом.

– Не в певицы же я нанимаюсь.

Встав, она оправила перед зеркалом платье, бывшее в некотором беспорядке.

– Наша Зиночка, – объяснила Карина, – участвует в конкурсе красоты.

– Неужели и у нас в совке завелись такие аттракционы? – искренне удивился Понипартов; припомнив, что на подобных конкурсах участ-

ницы помимо показа стати еще и публично отвечают на кое-какие замысловатые вопросы, он подумал, что не прочь был бы послушать Зинаиду во время такого испытания. – Приятный, однако, будет сюрприз Александру Августовичу.

– Не дай бог, маменька узнает, что я курю, – вспомнила старый анекдот Карина.

– Она знает, – пожала плечами Зинаида. – Сама у меня сигареты таскает.

Понипартов, которого иной раз развлекали невообразимые суждения Зинаиды, сейчас заскучал; ему захотелось уйти куда-нибудь на волю, на свет, к людям, понимающим его с полуслова. Словно угадав его настроение, Зинаида заторопилась и стала как-то особенно долго прощаться с подругой. Уже выйдя в коридор, она спохватилась и, широкими шагами вернувшись к кушетке, вытащила («Ой, пардон!») откуда-то из-под Филиппа пеструю тряпочку; близоруко прищурившись, он так и не разобрал – носовой платок или трусики.

Второй раз она вернулась уже с лестницы, теперь – за видеокассетой.

– Интересный фильм? – небрежно поинтересовался Понипартов.

– Фирма купила два видика, вот я и добываю Володе Пшенко порнуху. Он по вечерам запирается у себя в кабинете и крутит ленты.

– Секретаршу-то хоть приглашает?

– Когда как. Ну, чао.

На этот раз она уже не возвращалась.

– Насколько же так лучше, – вздохнул он, оставшись с Кариной вдвоем.

– Скоро отец придет. Звонил только что.

– Час от часу не легче. Но ты что, не хочешь, чтобы он меня видел? Рано или поздно это все равно случится.

– Почему это не хочу? Просто призываю к бдительности. Не понимаю твоей привычки все усложнять. Я люблю короткие фильмы, где уже через полчаса все ясно и понятно, а тебя так и тянет на сериалы. Придумай, куда нам скрыться.

– Есть интересная выставка, – не раздумывая, выложил Понипартов только что вычитанную в газете новость, про себя невесело посмеявшись над тем, что посторонние, подслушав его реплику, заподозрили бы в нем человека с широкими интересами, в то время как он всего лишь повторял Наташины уроки.

– Ну за что мне такое наказание? – воздела руки девушка. – Вот уж нашли любительницу живописи! Да она занимала меня даже при

Рыдаеве лишь настолько, чтобы устроить для художников публичный дом – не более.

– Постой! – оторопело воскликнул он. – Как – публичный дом? В прямом смысле?

– Нет, в переносном – из одной квартиры в другую. Но что, интересно стало? Если хочешь, устрою протекцию.

– Похоже, что это – твоя специальность.

– Содержание борделя?

– Господь с тобой! Я имею в виду устройство протекций.

Все-таки они поехали на выставку – с надеждой придумать другой вариант по дороге. Современная неудобная езда, однако, не располагает ни к размышлениям, ни к спокойным обсуждениям вслух, сегодня же им пришлось особенно туго, оттого что долго не приходил троллейбус, а пришедши – оказался набит битком. Они все ж постарались втиснуться. Филиппу удалось одолеть от дверей всего лишь одну ступеньку, но и на той он стоял на носочках (тот, кто дышал в спину, подпирал, не давая упасть); не видя своей подруги, внесенной толпою дальше его, он все же прохрипел ей:

– Сейчас из меня выдавят раба.

Нечитающая публика не отозвалась ни смехом, ни бранью, а Карина не расслышала, но минутой позже, при резком торможении, воскликнула, в свою очередь:

– Господи, как жить хочется!

Народ не откликнулся и на это.

Печальное суждение о всеобщей нынешней угрюмости оказалось единственным, посетившим Филиппа в этой поездке; с ним, вязко обочившимся разными сторонами, он и вышел на нужной остановке из машины. Выпавшая следом на подставленные им руки Карина, похоже было, обошлась и без такой, и безо всякой мысли, и ей понадобилось заметное время, чтобы сначала обратить внимание на свое изрядно потревоженное платье, а затем уж осознать самое себя хотя бы в пространстве.

– Куда же мы в таком помятом виде? – виновато пробормотал Понипартов, вытирая пот со лба.

– Тебе лучше знать, – огрызнулась девушка, ожесточенная давкой в троллейбусе. – Или ты уже забыл, куда тащил меня из дома?

– Сходим в другой раз, – на всякий случай отступил он. – Не обязаны же мы... Мы же никому ничего не обязаны. Мы – свободные люди, а?

– Свободные, – хрипло засмеялась она, – а весь выбор – то ль рыбку съесть, то ль на ... сесть.

– Странно вести такую беседу со внучкой своего главного конструктора. Правда, – главного, от которого пора уходить. Я от бабушки ушел и от бабушки ушел, а от...

– В чем проблема? Земля кругла. И ты прав: даже мне заметно, что дед собирается залечь в спячку. Крысам пора бежать с корабля.

– Спасибо за сравнение, – криво улыбнулся он, думая, что в тяжелые времена крысам, наверное, пристало смотреть на капитанов свысока.

В выставочном зале произошла неожиданная для обоих встреча (какой-то встречи Понипартов ожидал, но не этой: он, оттого что был с девушкой, опасался – и хотел бы – столкнуться с Наташей). Карина, болтая с ним посреди зала, вдруг осеклась, глядя поверх его плеча, и, живо обернувшись, он увидел проходящего мимо – и мимо глядящего – Алешу в сопровождении незнакомых людей; Филипп не только не узнал никого в этой группе и, конечно, не увидел Наташу, но едва узнал и самого Рыдаева, по-прежнему убранного во все черное, но – по-новому: рассыпанные по плечам волосы сменил панический ежик, кожаный пиджак уступил место кожаной же куртке, щедро сдобренной ненужными железками, а лакированные туфли – офицерским сапогам.

То, что здесь выставлены Алешины вещи, было полной неожиданностью; он вдруг понял, что вовсе не хочет увидеть их: крамола, какую он слышал прежде от патлатого щеголя, настолько не пристала нынешнему подтянутому молодчику, что от холстов последнего можно было бы ожидать только выпада против нее же, крамолы.

– Что с ним произошло? – обернулся он к Карине. – Ты ведь в курсе.

Но Карина давно не встречалась ни с Рыдаевым, ни со знавшими его.

– А заведение, о котором ты говорила? – через силу спросил он.

– Что тебе нужно от Алеши?

От Алеши ему не нужно было решительно ничего, просто перемена, произошедшая с тем, натолкнула Понипартова на очень нехорошую догадку.

## 8.

Помощники, видимо, посчитали, что хозяину дома лучше не знать, как они обставили дело; он и не знал. Ему, например, невдомек было, что машину заказали не заводскую, а наняли, во избежание пересудов, на стороне – и переплатили. Отметив, что грузчики приехали трезвые и работают аккуратно, Александр Августович с грустью следил, как оголяется комната, служившая ему добром не один десяток лет. С немень-

шей грустью он затем распорядился расстановкой мебели на новом месте, а оставшись наконец один, бессильно развалился в кресле, глядя прямо перед собою — в окно, за которым видел не стены обжитого города, а пустое небо окраины. Здесь, даже и подойдя вплотную к стеклу, даже и выйдя на балкон, он не увидел бы ничего лучшего, чем обреченные прутья мифического бульвара да одинаковые плоские крыши панельных девятиэтажек. В его жизни никакой вид уже не мог бы сыграть своей роли, но он подумал: «Счастье, что Карюша выросла не здесь». Мысль же о том, что отныне этот унылый пейзаж ему придется не просто наблюдать ежедневно, но наблюдать в одиночестве, он постарался отогнать и удерживать в отдалении по крайней мере до тех пор, пока не придут Виктория с Кариной, обещавшие разложить его вещи и повесить шторы. Самое большее, что Александр Августович сейчас разрешил себе, это думать о том, каким честным станет это его одиночество: не среди членов семьи, которым нет до него дела (разве только — до его денег), а в своих четырех стенах, где и не должно быть других людей. Тем не менее и то, гонимое, не выходило из головы, вспоминал ли он о пресловутом стакане воды, который не подадут ему хворому, или сожалел, что между строчками негласного договора об обеспечении жильем внучки прочитывается желание скорейшей его, Александра Августовича, кончины, и тогда сокрушался: «Все будто сговорились: ну ладно — Пшенко, посторонний, но ведь и свои туда же! Маршала я, прямо скажем, обошел: где он и где я, — а вот что касается моих девочек, то теперь видно, что лучше бы я купил Карюше кооперативную квартиру. Поздно я понял, что цена совсем не страшна. Правда, что бы ей дали — всего лишь однокомнатную? Вот и дачи я не добился».

С кряхтением поднявшись, Александр Августович пошел было на кухню, но, остановившись перед дверью ванной, в месте, откуда были видны обе комнаты, надолго застыл, решая, хорошо ли встала в них обстановка. Она — встала, и ему пришлось сказать себе, что дом не так уж плох, тем более, что давние сомнения удалось обойти довольно остроумным манером: не зная, какую из комнат отвести под кабинет, он придумал приспособить обе. Свой старый письменный стол, способный по нынешним временам украсить любую квартиру, он поставил в большой комнате, назначенной служить еще и гостиной, для меньшей же, будто бы спальни, а по другой версии — комнаты внучки, был приобретен еще один, совсем скромный (будто бы — потому что Александр Августович воспротивился покупке кровати, ужаснувшись необходимости ежедневно аккуратно ее застеливать, и вознамерился спать так, как привык: на диване); в итоге всякий сказал бы, что здесь

живет человек постоянного умственного труда, хотя в действительности этому самому человеку не нужен был ни один из столов: изобретать было уже нечего да и не хотелось — и не собирался же он писать мемуары.

Дочь и внучка с естественным запозданием привезли на его машине остатки багажа и кое-какую снедь. Разбирая на кухне коробки и обнаружив бутылки, Карина не преминула заметить, что грешно было бы не отпраздновать знаменательное событие прямо сейчас, поскольку дорого яичко — к Христову дню, да и все равно же они собирались перекусить. Возразить Александру Августовичу было нечего, и он согласился устроить будто бы репетицию новоселья.

Накрыть на кухне стол было делом нехитрым, однако мест на всех не хватало: здесь стояли всего две табуретки, а принести из комнат и втиснуть куда-нибудь кресло не было никакой возможности. Внучка будто само собою разумеющееся предложила попросить стул у соседки, и Александр Августович вспомнил, что ему предлагали как раз такую услугу.

— Тогда придется пригласить и их, — нерешительно проговорил он.

— А это приличные люди? — усомнилась Виктория. — Не лучше ль — потом, вместе со всеми?

— Вот вместе и может оказаться неудобно. Иди гадай, кто кому понравится.

Соседка, открывшая ему, была в строгом костюме и в туфлях на каблучке.

— Вы, наверное, не первый раз звоните? Я пришла полминуты назад. Проходите, проходите, не стойте в дверях. Что, въезжаете наконец?

— Думаю, что въехал. Днем перевезли мебель, а сейчас девочки — дочь и внучка — хотят разобрать тряпки.

Калерия Степановна поинтересовалась, должным ли образом вошел он в новое жилище, пустил ли туда вперед себя кошку — этот момент казался ей особенно важным.

— Пренебрег, — махнул он рукой. — Мы приехали каждый сам по себе, и не мог же я пускать несуществующих котов под ноги грузчикам.

— Надо немедленно все переиграть, — решила соседка, — иначе в доме не будет ни тепла, ни уюта. То, что вы с дочерью приехали порознь, даже хорошо: это не переезд, а только подготовка. А теперь надо вам всем вместе войти в дом, чтобы там жить. Давайте, устроим официальный вход... вхождение... В общем, вам понятно. Вселение в квартиру.



– Раз уж так, то из уважения к ритуалу, – к месту вставил Александр Августович, – хорошо бы, друг мой, и бутылку шампанского разбить о борт. Честно говоря, я для того и пришел, чтобы пригласить вас с мужем на – как бы поточнее выразиться? – на этакое походное, экспромтом, пред-новоселье.

– С мужем будет сложно, – улыбнулась она. – Не имеется такового, вот в чем дело.

– Ах, вот как, – промямлил Александр Августович, сокрушаясь о том, что попал в неудобное положение.

Испытывая неловкость, он все же не оставил без внимания чужой интерьер. Из дверей вся квартирка была, как на ладони, и выглядела так, будто хозяйка жила там давным-давно: шторы, ковер, лампы, картинки на стенах – все было на своих местах, и мебель стояла не случайная и где надо, без пустот или нагромождений. Поняв его взгляд, Калерия Степановна с охотой объяснила, что переехала почти из такой же квартиры – в плохоньком, хрущевском доме, – и здесь ничего не пришлось прибавлять, ни убавлять, а лишь повторить.

– Просто перебрались из худшего в лучший, – с непонятым соседке сожалением повторил за нею Александр Августович.

– Не наоборот же, – засмеялась Калерия Степановна, не подозревая, что наоборот поступил как раз он.

– Прямо скажем, не дворцы строят.

– Зато света, света сколько, смотрите! – повела она рукой. – И окно во всю стену, и небо – во все окно.

– Столько, что я уже не чувствую себя москвичом.

Плох был новый дом или нет, а чин въезда в него пришлось соблюсти, то есть всем выйти на лестничную площадку и терпеливо ждать, пока новосел отопрет дверь и Карина вбросит в открывшуюся щель чужую кошку. Та, нелюбопытная, однако, рвалась домой.

– О, я ее понимаю, – проговорил Александр Августович в момент последней, шестой или седьмой по счету попытки, когда всей компании удалось наконец ворваться в переднюю.

Карина тотчас повела гостью в экскурсию по жилищу, не думая, впрочем, ничем ее удивить: почти все двухкомнатные новые квартиры походили одна на другую, и мало какой москвич мог заплутать в чужом доме. Вдруг остановившись, Калерия Степановна постучала по стене.

– Вот так мы можем общаться с вашим дедушкой, – засмеявшись, объяснила она.

– Здесь вам не тюрьма: можете и перекрикиваться. Знаете анекдот? Два приятеля получили квартиры – вот так же, через стенку. Один

постучал и спрашивает: «Ты меня слышишь?» Второй отвечает: «Я тебя вижу».

Мать позвала Карину, чтобы та помогла накрыть стол, и Калерия Степановна сразу предложила свои услуги, хотя и ясно было, что третий человек станет в тесной кухоньке только помехой; остановившись в дверях, она издали оценила выбор напитков и закусок и решительно сказала:

– Хотя для экспромта снеди у вас даже многовато – поберегли бы для настоящих гостей, – а все же кое чего самого простого не хватает: соленых огурчиков, грибов... Погодите минутку, я принесу из своих запасов. Да и кошечке хватит тут разгуливать: как бы она на нервной почве не стала коготки точить.

Сесть вчетвером за маленький стол в маленькой кухоньке оказалось непросто, но Карина напомнила, что в мире отмечены и не такие рекорды: даже в телефонную будку набивалось куда больше взрослых людей.

– Ну-с, уважаемые дамы...

– И господин, – добавила Виктория.

– Уважаемые дамы и господин, – согласился Александр Августович, поднимая рюмку, – позвольте мне как хозяину приветствовать вас в этом до сих пор нежилом помещении. Пусть... Пусть этот дом всегда будет теплым и для меня, и для вас.

Он едва не сказал: «Пусть земля ему будет пухом».

– Горько! – выкрикнула Карина, и все выпили.

– С некоторых пор, Карюша, – заметил дед, закусывая соседским грибочком, – ты научилась произносить весьма уместные вещи – умно и впопад.

– Скучно же.

– Но мы и не Новый год празднуем. Вообще, друзья мои, если вдуматься, всякое новоселье – событие довольно печальное: слишком многое из прошлого остается в старых домах.

– Дедуль, ты стал философом, – изумилась Карина.

– Но и в самом деле, возьми хотя бы эту квартиру: это дом без воспоминаний. А в той – сколько произошло важного для нас! Вместе с тем, ты права: я, кажется, приобрел иное сознание. Видишь ли, бытие переменялось, и...

– После первой рюмки – это еще не философия, – возразила Виктория и обернулась к гостье: – Скажите, неужели вы тоже печалились, как въезжали?

– Мне-то как раз не терпелось многое начать заново и стереть кое-какие воспоминания. Но ваш папа прав, я вполне понимаю, что он имел в виду.

– Не терпелось... А вы, видимо, неплохо устроены.

В ответ Калерия Степановна с охотой рассказала, что вот уже несколько лет приятно председательствует в профкоме швейной фабрики – настолько приятно, что с легкостью отказывается от любых заманчивых предложений, невесть откуда появляющихся в последнее время.

– Не знаю, права ли я, – неуверенно заключила она. – Сейчас не поймешь, что лучше – пускаться ли в авантюры или затаиться в насыщенном гнезде.

– Пускаться, – посоветовала Карина.

– Как у тебя все скоро и просто, – покачал головой Александр Августович. – Тебе дай волю... Есть, однако, третий вариант: предпринять авантюру, не покидая этого самого, насыщенного.

– Откуда у тебя такое? – поразила дочь.

– Видишь ли, друг мой, происшедшее в последние годы – и со мной, и в Союзе – научило тому, что и в самом тихом омуте могут случиться грандиозные непредвиденные перемены. Чтобы тебя не застали врасплох, нужно постоянно следить за обстановкой, заниматься анализом и никакие предупреждения не считать фантастическими. В молодости я думал, что со мной ничего не может произойти, теперь – что может произойти все. Такая вот эволюция. Впрочем, это общее правило. Молодежь делает одни и те же ошибки. А ведь какие были возможности! Помню, я узнал, что меня зачислили в институт и спешу, счастливый, домой, сажусь в трамвай... Ну, сажусь – это не буквально. Остановка была в стороне, студенты обычно вскакивали на ходу, вот и я побежал, догнал, да вагон был битком, на подножке ногу не поставит – я и сорвался. Вишу на руках, но почему-то не вертикально, а так, что ноги тянутся под трамвай, то есть, упав я, не на мостовой оказался бы, а на рельсах, под колесами. К счастью, кто-то оглянулся и подтянул меня вверх. Теперь мне страшно подумать, что могло случиться, а тогда я совсем не испугался, потому что все дурное доселе происходило с другими, а у меня самого накопилось достаточно случаев, грозивших весьма прискорбными последствиями, но сошедшими с рук.

– Я имела в виду совсем не такой риск, – улыбнулась Калерия Степановна. – Мы ведь говорим всего лишь о перемене должности (пусть даже – профессии), и я ставлю на кон не голову, а деньги, которых, кстати, нет. Конечно, если перестраиваются основы, может случиться всякое, но все равно всегда находятся такие места, где невозможны дурные перемены. Одним из них должна стать эта квартира. Что бы ни случилось в мире, здесь всегда должны быть покой и уют. Вот за это давайте и выпьем.

– Какая вы мастерица говорить тосты, – изумился Александр Августович.

– Случайно вырвалось, – рассмеялась она. – Вообще-то не дамское это дело. Я и не претендую...

Ослабившись, Александр Августович поднял свою стопку.

– Что же до женских занятий, – продолжила она после изрядной паузы, – то позвольте задать деликатный вопрос: не думаете ли вы сами, в одиночку вести хозяйство? Кто-то ведь должен смотреть за вами? В этом свете ваш переезд мне не очень понятен.

– Кстати об аванюре? Но тут все просто: я найму экономку, а вернее – прислугу.

– Это же безумно дорого!

– Мы подсчитали, – заверила Виктория.

– Они подсчитали, что я выдую, – пояснил Александр Августович. – Но иного выхода и в самом деле не существует: не могут же девочки бывать здесь постоянно. Каждый день сюда не наездишься, концы не близкие.

В действительности предложение дочери нанять прислугу не нравилось ему с самого начала: постоянно терпеть в доме чужого человека, даже отдать тому ключи, чтобы являлся без приглашения, было ему не по нутру, тем более, что это беспокоящее присутствие все равно полностью не решало проблемы: тот самый стакан воды не выходил из головы. На здоровье Александр Августович жаловался не слишком, но и похвалиться не мог; вот и сегодня переезд, как в его возрасте и всякий переход в новое состояние, оказался неожиданно болезненным. Ему нелегко было б объяснить что с ним, просто накануне он всю ночь почти не сомкнул глаз, и теперь мысли в не отдохнувшей голове мешались в клубок, рвались или вспыхивали на миг, чтобы пропасть незамеченными. С трудом задержав одну особенно верткую, он вдруг осознал, что боится предстоящей ночи и пробуждения в пустом доме. «Ах, да, перестукиваться», – вспомнил он.

Безо всякого перехода Калерия Степановна поинтересовалась любимыми его развлечениями. Он не знал, что ответить:

– Досуг? Но у меня нет досуга.

– Как же так: вы не смотрите телевизор, не гуляете, не ходите в театр, не играете в карты?

– Телевизор? – задумался он. – Я и в самом деле смотрю программу «Время», но, скажите на милость, какое это имеет отношение к развлечениям? Вообще же в свободное время я либо думаю, либо читаю. Сами понимаете, друг мой: для дискотеки я стар, в гольф играть негде...

– Ваши почтовые ящики висят рядом, – напомнила Карина. – Вы с Калерией Степановной можете играть в шахматы по переписке.

– Верный путь к почтовому роману.

– И все же ты напрасно переехал, – не к месту выпалила Виктория. – Лучше бы сюда вселилась Рина.

– И об этом тотчас бы узнали вся фирма, райком, пресса, – резко ответил он. – Сколько можно объяснять? Нет уж, милые мои, потерпите.

– Кстате о терпении, – быстро сказала Калерия Степановна. – Не пора ли нам поднять бокалы? Мой новый сосед посчитал новоселье событием печальным, так не выпить ли нам за то, чтобы печальней его не случилось здесь?

– Придется мне, друг мой, просить вас быть тамадой всегда, как только у меня соберутся гости, – с поклоном произнес Александр Августович, думая в то же время, что Викины гости – неухоженные бабы, с которыми он не умел разговаривать, – не будут больше досаждают ему. Тех слишком волновало его чудесное вознесение к вершинам, к которому он сам теперь относился не как к баснословному выигрышу в лотерею, а всего лишь как, например, к отдаче уже забытого долга или возвращению через милицию украденного кошелька. Ему претило отвечать этим разным женщинам на одинаковые вопросы.

Да и то сказать, что бы они делали без него? Нет, теперь он подумал уже не о подругах дочери и не только о ней самой, не о внучке и зяте, не только о своих собственных знакомых, особенно тех, кого он пригласил в свою фирму, – нет, теперь он мыслил другими категориями: затеяв спасение страны и придумав для этого остроумное средство, он почувствовал близость к каждому из трехсот миллионов человек ее населения, независимо от того, как этот каждый относился к нему – любил, нет ли, а то и был виноват. Сам он больше не знал вины ни перед кем, ни за что. Правда, эти триста миллионов не могли ни любить, ни ненавидеть его по той простой причине, что не подозревали о его, Александра Августовича, существовании; для них он был всего лишь единицей, поделенной на тройку с восемью нулями, то есть величиной исчезающе малой и потому неузнаваемой (ах, если бы они знали, с какими большими людьми он встречался теперь, будучи не исчезающе малой, а как раз величиной!) Конечно, было удовольствием ходить среди простого люда таким Гарун-аль-Рашидом, но Александр Августович имел все основания думать, что много теряет из-за этого. Даже домашние толком не знали о роде его деятельности – полагали, наверное, что он по-прежнему чертит поворотные сцены для театра, хотя бы и военных действий; что ж, в каком-то смысле они были недалеко от истины.

Новая соседка тем более была обречена на прозябание в неведении, но именно перед нею вдруг захотелось похвастаться своей победой, так тяжело носимой в себе. Перед нею – потому что она стала первой, кому он предъявил один из свежих трофеев – аккуратный (пока) скворечник на ненатурально высоком этаже. Эта высота над землей представлялась ему одним из самых крупных недостатков квартиры. Еще не освоившись, Александр Августович с опаской подходил к окнам, по новой моде почти лишенным подоконников, отчего ясно было видно, какая тонкая, в ладонь, какая ненадежная стенка отделяет стоящего подле человека от пропасти. До сих пор он считал, что не боится высоты, да так оно и было, потому что где только не приходилось лазать в строящихся театрах и он не испытывал головокружения, да и здесь без робости выходил на балкон, и только при взгляде из комнаты ненастоящая стена обещала верную катастрофу. Железный занавес, честно говоря, был не толще, но его изготавливали из достойного материала, должным образом сваривая, склепывая и свинчивая, а здешняя загородочка была всего лишь слеплена из песка и воды: не ровен час, ударишь коленкой и ...

Он рухнул очень удачно: не на пол, а, словно заправский пьяница, лицом в блюдо.

## 9.

Много раз он видел, как это делают женщины, но на нем самом такого никогда не пробовали – наносить на лицо полужидкую маску; нынешняя, незнамо из чего изготовленная, да еще и холодная, казалась премерзкой. Вдобавок, глаза не разлеплялись, и приходилось вслепую увертываться от назойливой тряпки, которою кто-то хотел то ли стереть замазку, то ли, наоборот, нанести новый слой. Через секунду-другую он понял, что его раздражают еще и звуки – и не сразу сумел свести их вместе: истерический хохот Карины, причитания незнакомой женщины и скороговорку дочери, сетовавшей на то, что во всем доме нет еще ни одного телефона, а до ближайшего автомата надо ехать на троллейбусе, так что для вызова «скорой» хорошо бы иметь соседа с машиной. «Надо сказать Евтропову – пусть займется», – спокойно подумал Александр Августович. Движения салфетки (или полотенца, он еще не знал) наконец замедлились и, оттого что липкая масса уже сошла, даже стали доставлять удовольствие; теперь можно было открыть глаза – и он увидел Калерию Степановну с перемазанной простыней в руках.

– Что это было? – воскликнули они в один голос.

– Где у тебя болит? – быстро спросила Виктория.

– Нос. Пожалуй, я его где-то легонько стукнул.

– Не сердце?

– Нет, сердца я даже не ощущаю, как молодой. Знаете, друзья мои, мне почудилось, будто я стою на карнизе. Оттуда и упал. Не подумайте только, что я перепил.

– Ну, конечно, деда, – еще не перестав смеяться, сказала Карина. – ты же просил двадцать капель, а тебе налили двадцать одну. Прости, но посмотрел бы ты на себя минуту назад: такое я видела только в немом кино, когда швырялись тортами.

– Ты потерял сознание? – допытывалась Виктория.

Он задумался и ответил все-таки нерешительно:

– Скорее, нет. Во всяком случае, мне кажется, что я все помню. Я, видимо, был так удивлен своей внезапной слабостью и падением, что просто-напросто забыл об окружающем. А потом какое-то время ушло на то, чтобы собрать воедино дух, слух, нюх и зрение.

Он умолчал о том, что теперь, снова осознав себя в пространстве, думал, волнуясь, не о самом падении без чувств – должном, кстати, служить серьезным ему предупреждением, – а о том лишь, что вся сцена разыгралась на глазах у других, да и еще в такой унижительной постановке, с героем, ударившим лицом не то в салат, не то в паштет, он не распробовал.

– Голова не болит? Не кружится? – продолжала Виктория (а он все отрицал). – Хорошо же начинается твоя самостоятельная жизнь! Как теперь оставить тебя одного?

– Но я же рядом, – словно удивляясь, что о ней забыли, воскликнула Калерия Степановна. – Стоит постучать в стену...

– Может быть, тогда вы возьмете ключ? – помедлив, спросила Виктория, и та согласилась.

## 10.

Бытие определяет сознание – это утверждение не вызывает вопросов лишь у людей неначитанных и потому слепо верящих всякой печатной букве, человеку же просвещенному и дотошному не взять в толк, что тут чем определяется, бытие ли сознанием или наоборот. За подобные конструкции в школе ставили двойки, однако теоретиков революции проблемы стиля никогда не волновали, и дурной перевод простой в общем мысли одного из них смущает умы уже многих поколений; до сих пор не нашлось редактора, который осмелился бы примирить его с русской грамматикой.

У нас всяк волен толковать эту обоюдовыпуклую формулу по-своему. Александр Августович, например, понимал ее так, что новейшими своими вещественными достижениями обязан исключительно ясности собственного творческого сознания, подарившего миру удивительный способ отделения сцены от зала; когда бы театры и впредь оснащались по старинке, не видать ему было бы ни авто с шофером, ни продуктов с базы «Закрома Родины», ни новой квартиры – все это он считал не безумием судьбы, а воздаянием по заслугам. Кое-что, однако, осталось недоданным, и Александр Августович по-прежнему недоуменно сетовал на отсутствие своей фамилии в списке академиков, особенно огорчительное теперь, когда ему грозила отставка. Давно поняв непреложность закона, согласно которому добрым временам свойственно изменяться лишь в худшую сторону, Александр Августович только теперь задумался о том, что же считается у времени стороною и как оно вообще ухитряется на ходу поворачиваться к наблюдателю разными боками; понятно, что такую заумь придумал не он сам, а чем-то ему неприятный инженер из теоретического отдела, занимавший там ничтожную должность, но тем не менее вхожий в его кабинет (до недавнего времени Александр Августович даже не знал его фамилии) – Понипартов. Несколько раз на совещаниях тот выручал толковыми подсказками словно бы невзначай, а тут, наедине, вдруг вздумал поумничать; после первого своего – тоже невзначай и в воздух – вопроса, не дав своему шефу и минуты, чтобы обкатать в уме шероховатую мысль о позах, какие принимает перед нами время, он мигом перескочил дальше, предлагая учредить награду для нашедшего ответ – медаль Мебиуса, которая не только подвешивалась бы на ленте Мебиуса, имеющей, как известно, только одну сторону, но и сама тоже не имела бы оборотной стороны. Пока Александр Августович раздраженно пытался представить себе такой невозможный предмет, Понипартов успел разочаровать и его и себя, растерянно пробормотав:

– Да ведь это шар всего лишь.

Как бы там ни было, но что-то и в самом деле менялось не к лучшему, каждое утро приносило неожиданности, газеты стало неприятно читать, и нахальный референт, непонятно чему радуясь, не раз замечал, что вся работа, проделанная фирмой, может оказаться ненужной; такого не могло быть, но Александру Августовичу не удавалось пропустить его замечания мимо ушей. Евтропов при этом чего-то не договаривал, а додумать его мысль самому не удавалось, возможно, из-за некоей защитной реакции организма, отторгающего до поры неприятности – от болезней до разорения и смерти. Он так ни разу и не связал в уме

приближение пресловутой свободы слова (о чем говорили все, кому не лень) с грядущей ненадобностью в железном занавесе (которую он просто не мог предположить). Вместе с тем работать стало труднее: нынешние обстоятельства бытия в стране заставляли его в одиночку справляться с предметами, которых не проходили в советских школах — и с хозрасчетом, суть которого он понимал как положение, когда самому продать нечего, а за покупки надо платить немедленно, и с совсем уже диковинными новообразованиями вроде бирж. Заместители и помощники оказались не в силах помочь — напротив, сами по себе стали производить самые нелепые движения, так что их пришлось опекать пуще прежнего. От референта Евтропова тут и подавно не было пользы: он с головой ушел в дела одной только «Кинематики» — для того, в частности, чтобы обеспечить Александру Августовичу соответствующее его сознанию бытие.

— Гласность грядет, — в очередной раз напомнил он своему шефу прямо с порога, нахально тарача светлые глаза.

— Чрезвычайно свежая новость, — сухо оценил Александр Августович. — Без вас, юноша, я бы прозябал в позорном невежестве.

— Юноше давно идет четвертый десяток, но не в этом дело, а в том, что изо всякой перемены следует извлекать максимум пользы.

— Тоже, знаете, не открытие. Правда, как я понимаю, это у вас лишь предисловие, притча, а сказка будет впереди. Так располагайтесь поудобнее и... и я вас слушаю.

Поколебавшись, Евтропов сел не в указанное ему кресло, откуда, утонув, ему пришлось бы смотреть, запрокинув голову, а на стул в отдалении.

— Сажусь на отшибе, чтобы начать издали, — объяснил он.

— Вечно вы с фокусами, — поморщился Александр Августович. — И вы, и друг ваш.

Евтропов засмеялся, не отвечая.

— У вас такой вид, будто вы пришли просить денег.

— Это я-то в роли просителя? — снова засмеялся Евтропов. — Интересно, кто кого кормит. Нет, я вас приятно разочарую: не только не попрошу денег, но и выплачивать вашу долю буду по-прежнему. Вы правы, однако, в том, что мой новый проект явного дохода не принесет.

— Это вы называете «начать издали»?

— Нет, издали — это от летописи.

Он имел в виду затеянную Александром Августовичем летопись фирмы, составляющуюся из снимков строительства новых корпусов, а затем и самого занавеса.

— Закончен труд, завещанный от Бога, — продекламировал Евтропов. — Еще несколько страниц — и пополнять альбомы будет нечем. Вдобавок, все это — мертвый груз.

— Часть несекретных материалов я намерен передать нашему музею трудовой славы.

— В музей будут ходить полтора человека в месяц, из числа наших сотрудников, да и то в рабочее время. Трудовая слава внутри ограды немногого стоит.

— Вам нужна — мировая.

— Только! И не мне, а вам. Надо ухватить момент. Представьте себе: апогей гласности, открываются великие тайны, председатель КГБ стреляется, публика требует: «Открой личико, Гюльчатая!» — и с чем вы к ней выйдете? С фотографиями какого-то котлована? А между тем это будет такой великолепный момент для рекламы!

— Помилуйте, какой рекламы? — устало махнул рукой Александр Августович, совершенно не понимавший нужды рекламировать железный занавес, второй экземпляр которого не мог бы понадобиться никому на свете, кроме противника. — Знаете, что будет за нашим занавесом? Загробная жизнь.

Евтропов даже вскочил с места.

— Что с вами, Александр Августович? Вот уж не знал... А впрочем, что получается: построили занавес — и заговорили о бессмертии души? Неспроста. Очень кстати заговорили, потому что способы позаботиться о душе известны, но есть и способы обессмертить хотя бы имя. Представьте, о вас пишут книгу (или вы пишете сами) — и вы живете, как говорится, в памяти многих поколений.

— Это вы ее написали?

— Схватываете на лету, — нахально ухмыльнулся Евтропов. — Да умею я связать два слова, я бы загребал миллионы. Нет, книги еще нет, а она нужна — не альбом со снимками из летописи (кто его купит?), а настоящая книга с рассказом об истории фирмы, с вашей биографией и так далее.

— Помнится, до войны начинали такую серию: «История фабрик и заводов».

— Нам больше подходит серия «ЖЗЛ».

Александр Августович до сих пор заставлял взрослую внучку прочитывать все новинки «Жизни замечательных людей»... но нет, референт не льстил так грубо, и ЖЗЛ у него расшифровалось как «Железный занавес Лозаннского».

— Ловко, — изумился Александр Августович.

– То же относится и к «Жизели».

– Неужели вы думаете, что о нас когда-нибудь можно будет говорить вслух?

– Во всяком случае, надо быть к этому готовым. Да и построенный занавес не скроешь – о нем все равно понадобится сказать какие-то слова. Причем, учтите, Александр Августович: если в самом деле начнутся послабления, то рассказать о себе захочет каждый. Тут важно оказаться на рынке первыми – опередить всяких там атомщиков, ракетчиков, разведчиков. То есть, хорошо бы иметь на складе готовый товар.

Это было, наверное, то, о чем мечтал Александр Августович (удивляясь долголетию собственной способности мечтать), хотя у него самого не хватало смелости вообразить, что тома с его портретами и жизнеописаниями будут стоять на книжных полках в тридцати или пятидесяти тысячах домов, и в любое время – через год или через десятилетия – тридцать или пятьдесят тысяч человек смогут взять их в руки, чтобы прочесть, какой след оставил на земле Александр Лозаннский (с течением времени интерес к нему мог бы только возрасти: в конце концов, Китайская стена, утратив за много веков свое стратегическое значение, постепенно стала восприниматься как произведение искусства и памятник культуры; то же самое могло бы или непременно даже должно было произойти и с железным занавесом, только в меньшие сроки). Александру Августовичу, однако, не верилось, что нечто подобное когда-нибудь будет разрешено в Союзе; в планах Евтропова он и вовсе подозревал подвох. Тот между тем продолжал (Александр Августович, отвлекшись, упустил несколько фраз):

– ... до отъезда был главным редактором газеты и написал несколько научно-популярных книжек: о трудовых починах, о Циолковском, о диете...

– Он диетолог? – оживился Александр Августович. – Интересно бы порасспросить.

– Да нет, журналист, и после возвращения нигде не работает. Пока он не увяз в старых делах, самое время поговорить с ним о новых.

– Простите, Борис Антонович, но я что-то упустил, видимо. О ком мы говорим?

– Об авторе нашей книги. Хорошо бы вам с ним встретиться: он бы рассказал о своих замыслах, вы ему – о себе...

– О себе? Да меня посадят! Нет, друг мой, эти вещи так не делаются. Сначала оформите ему допуск, а потом уж посмотрим, стоит ли с ним разговаривать. Он ведь наверняка будет что-нибудь записывать при

беседе – и не дома же он будет держать запись, а только в первом отделе – не так ли? Значит, пусть он в нашем штате и работает.

– Но как же так сразу? – растерялся Евтропов. – У нас даже должности подходящей нету. Библиотекари – и те оформлены инженерами.

– Оформите ведущим инженером, чтобы не жаловался на бедность.

– Что-то не видел я богачей среди ведущих, – с невеселым смешком проговорил Евтропов. – Но хорошо, я все-таки сведу вас для начала.

– Вы же рекомендуете его?

– Скажем по-другому: выступаю посредником. И, заметьте, не несу ответственности. Книга задумана – о вас, вот и подберите перо по вкусу. Попросите почитать его книжки: я-то слог оценить не берусь.

– Ну, я тоже не Белинский.

Александру Августовичу не терпелось приказать: «Давай сюда своего писателишку», – но он и без того допустил промах, обнаружив свою заинтересованность, и теперь ворчливо, как бы с неудовольствием уступая натиску, выдал разрешение поступать как угодно, только своря каждый шаг с отделом режима. Тем не менее, как ни загорелся он новой идеей и как ни торопился референт свести его с «писателишкой» пока не забылся уговор, только как раз так, что позабылся, и вышло. Потом Евтропову пришлось начинать все объяснения сначала – с той лишь разницей, что теперь нужный человек ждал едва ли не в приемной (а через день и был введен в оную, а оттуда и в кабинет).

С усмешкой (как он считал – доброй) уставившись на входящего Деригузова, Александр Августович подумал, что внешность приличного литератора могла бы быть и приятнее; впрочем, подробно рассмотреть черты посетителя было нелегко, оттого что тот странно крутил перед собою руками – настолько странно, что впору было усомниться в его душевном спокойствии. Между тем ему пришло в голову, что в этом деле лучше обойтись без посредников, а самому засесть за мемуары; в крайнем случае, по окончании работы наняв человека, чтобы тот устранил кое-какие шероховатости.

– Референт доложил мне о вашем деле, – неуклюже начал Александр Августович, и, заметив, как собеседник вздернул бровь, еще более неуклюже поправился: – Вы были репортером на Колыме. Так что вам и карты в руки.

– Смотря во что мы играем, – отозвался Деригузов. – Впрочем, мой ход.

– О чем это вы? Думаю, друг мой, вам бы сначала надо вникнуть в суть.

– Скорее – изложить ее.

– Беда, что время летит слишком быстро. Давно ли организовалось наше предприятие, а я... Легко догадаться, что я пережил достаточно юбилеев – и своих и чужих, – но не знаю более жалких спектаклей, чем юбилеи казенных заведений, будь то институты или паровозные депо. Обычно там потерявшие память ветераны вспоминают, с чего все началось – с оловянных солдатиков или с бумажных корабликов, – непременно путаясь в датах и в фактах, оттого что ни одного такого кораблика, естественно, не сохранилось. За свой век я много раз переезжал с места на место и растерял много вещей, но думаю, что, случись однажды обнаружить в кладовке свою старую игрушку, безделку... К чему я это?... Простите друг мой, я отвлекся. Пожалуй, я хотел сказать только одно: память – инструмент неверный, и историю нужно писать вовремя.

– С думой о будущем урожае, – согласился Деригузов.

– Собственно, это и должно быть вашей задачей. Помните, у Пушкина: «свидетелем Господь меня поставил»?

– Какой же я свидетель? Говорят, вся ваша работа уже позади?

– Найдется новая. Да и откуда вам знать, что у нас позади, что – где? Поступите в штат, тогда и станете свидетельствовать. Ну а до того хотелось бы узнать, с кем я имею дело.

«Знакомое, все ж, лицо, – подумал Александр Августович, мучительно напрягая память. – Ведь начнет, подлец, о босоногом детстве рассказывать, а о том, где мы с ним встречались, не найдет ни единого слова. Возможно, он просто похож на какую-нибудь известную личность – но не листать же из-за него энциклопедию. Поэт Блок? Но нет, до того, пожалуй, будет далеко».

– Итак, я вас слушаю внимательно, – продолжил он. – Не считите за труд, не мудрствуя лукаво, пробежаться по типовым вопросам анкеты: образование, трудовая деятельность, сведения о близких родственниках и так далее. И, надеюсь, у вас найдутся... э-э... образчики вашей продукции?

Бегло рассказав и о своих двух профессиях, и о жалком семейном положении, Деригузов неожиданно повел себя самым нелепым образом: пренебрежительно махнув рукой в сторону возможного начальника, принялся излагать свои условия; выходило так, что он мог писать лишь дома, да и то нерегулярно, и Александр Августович отчаялся объяснить ему азы секретной работы.

– Зачем же делать вещи, которые нельзя не только никому показать, но и самому перечесать, когда захочется? – не хотел понимать Деригузов.

– Вы же и сейчас не показываете сделанного, друг мой. Я прошу образчики, а вы рукой машете.

– Нету у меня образчиков.

– Разве товарищ Евтропов не велел вам принести книги?

– Книги? Книги-то у меня с собой.

Александр Августович подумал, что напрасно разговаривает с этим журналистом пренебрежительным тоном: возможно, тот понимает в своем деле толк и хилые брошюры, выложенные им на стол, являются в действительности маленькими шедеврами. Ему вспомнилось, как он читал где-то, будто в каждой типографской кассе, хранящей великое множество буковок, на самом деле содержатся великие произведения: будучи высыпаны на стол, эти буквы вполне могут сложиться в текст поэмы или романа – вопрос в том лишь, насколько велика вероятность этого.

– Вопрос в том, насколько велика вероятность этого, – задумчиво проговорил он, и Деригузов снова его не понял, так что смущенному Александру Августовичу пришлось едва ли не оправдываться: – Ах, нет, просто пришла в голову интересная идея. Голова, знаете, уже не отдыхает: работает и работает в одном направлении. Чего и вам желаю.

И они наконец принялись обсуждать будущие обязанности Деригузова; тот, однако, слушал плохо, говорил, по мнению Александра Августовича, страшную ерунду и вдобавок так раздражал его нелепыми пассажами перед своим лицом, что пришлось скомкать беседу. В ход была пущена дежурная ссылка на общую занятость, нынешнюю усталость и внезапную сердечную боль, и посетитель ушел явно неудовлетворенным.

Александр Августович немедленно взялся за его сочинения. Со вздохом отложив, не просматривая, «На посту» и «Час пик», оттого что проблемы милиции и транспорта сейчас его не трогали, он с любопытством раскрыл брошюру с интригующим названием «Снова девушка». Через несколько минут ему захотелось тихонько заскулить, и он не сделал этого только потому, что заснул, где сидел: за письменным столом.

## 11.

Доведение до абсурда – впечатляющий прием в споре, однако в обычной жизни оно иной раз оказывается всего лишь способом заинтересовать посторонних, особенно свидетелей или, на худой конец, врачей или адвокатов. Диковинка для приезжих, в России абсурд давно стал непременным обстоятельством бытия, то есть вещью, изрядно надоевшей; то, что нами, из-за частого употребления внутрь, не замечается,

гости воспринимают как глупые шутки и недоумевают, отчего это сами шутники скорбят. В итоге наши местные летописцы, поэты и сочинители романов часто манкируют своими обязанностями, даже и терпя из-за этого лишения; извлечь из положения пользу сумели одни драматурги, придумавшие театр как раз абсурда, в котором представляют нынче что хотят: расставят на сцене стулья, поднимут железный занавес — и бросят персонажей на произвол судьбы в ожидании пришествия незнамо кого. Прозаикам, увы, приходится труднее из-за невозможности в одиночку, без помощи зрителей, понять, какая из сторон действительности более абсурдна; опасаясь сказать, что — любая, они оказываются в положении печально известного премьер-министра, который хотел поступать как лучше, а получалось — как всегда. Если же и этим авторам соорудить хотя бы какое-нибудь подобие занавеса, то читателям, севшим по одну его сторону рядом с ними, придется худо: на их долю выпадет с тоскою узнавать приметы собственной жизни; окажись они по недоступную сторону — смеялись бы над собою.

Постылый абсурд российской действительности не имеет ничего общего с высокой нескладницею, например, притчи о курочке-рябе, утешавшей нечаянно обиженных стариков, обещая им вместо разбитого драгоценного яичка снести — настоящее. Да ведь и правда, можно будет и яйцо съесть, и осколки золота собрать венчиком для переплавки, ничего не пропадет — вот логика человека на пороге третьего тысячелетия.

В иных землях от абсурда легко укрыться дома, где многое знакомо так, что и ночью можно пройти, избегнув острых углов: как бы сложно ни устроился быт, какие бы странные отношения ни сложились в семье, все — объяснимо, оттого что соделано волею одного из домочадцев; более того, какие бы недостатки ни видел один супруг в другом, они в свое время были выбраны и одобрены им самим. Между тем в России даже и в своих стенах мало от чего спасешься: там и замки вешают на воротах такие, что только от честных людей, и пускают на порог кого попало, лишь бы принес бутылку, так что заявляются иной раз и вовсе посторонние, но при этом неведомым образом как-то все еще соблюдается старинное правило, согласно которому в чужой монастырь со своим уставом не ходят, и в некоторых домах можно и по сей день застать порядок. Другое же почтенное правило, не велящее выносить сор из избы, стало не то чтобы оборачиваться против хозяев дома, но — перевертываться постояльцами. Дико было бы, когда бы жена обвинила мужа в предательстве потому только, что он в гостях шепотком предупредил ее о подтеке туши под глазом (или, что то же самое, похвалила бы за

любовь, буде он о том же промолчал); так же дико было бы и родителю, увидев настроенные дитятею дворцы из песка и кубиков, наехать на них каким-нибудь колесом. Между тем снаружи дома, в пределах горячо любимого жителями советского государства, такое считалось в порядке вещей, так что никак невозможно было бы из добрых побуждений посоветовать Родине-матери поправить, чтобы не торчала, нижнюю юбку: всякий подобный совет непременно назывался изменою или, самое малое, игрою на руку врагу. О наездах же разными колесами нечего и говорить. Отсюда даже и нам, в нашем нынешнем далеке, легко объяснить и отсутствие настоящих новостей в советских газетах, и отсутствие интереса к последним у людей думающих либо печальных.

Понипартов не читал газет и не глядел ради известий на экраны — это было бы ему безмерно скучно; когда же его однажды попросили объяснить столь странное свое поведение, то он, выдумывая причину, вслух рассудил, что если при нынешней спешке и суете удастся читать только что-то одно — либо газеты, либо книги, — то понятно, какой выбор сделает просвещенный человек, что же до необходимости все-таки знать о творящемся на свете, то о всяком значительном событии, рассудил он также, все равно без промедления услышишь если не в трамвае, то в очереди, а если не в очереди, то по телефону, и тем незначительным, о чем изо дня в день твердят дикторы, не стоит засорять голову.

— Я сберегаю себе массу времени, — посмеиваясь, разъяснил он, — и теперь имею право поразмыслить, что такое есть масса времени, вернее, есть ли у времени масса, а если нет (по определению), то как это его бывает больше или меньше и как замечают его потерю.

Сказать вслух об абсурде, коим наполнялись газетные страницы, он, разумеется, не мог; эта тема годилась разве что для семейных неспешных бесед за чаем.

Семья Понипартова была невелика. Жениться ему не удавалось, и он, как и младший брат, студент Петя, жил с родителями. Отец его служил директором школы, мать — научным сотрудником в академическом институте. Других родственников или не образовалось, или не сохранилось, и вторжения в дом на постой всякого сорта гостей случались крайне редко, но если случались, то обыкновенно и не вовремя (оттого что домочадцы не знали перерывов, кто — в зубрежке старого, кто — в придумывании нового, а кто и в проверке того, как удастся учение чужим потомкам), и не к месту (буквально, потому что поставить для нового человека раскладушку в тесной квартире, где у каждого из четырех жильцов стоял свой письменный стол, удавалось лишь перекрыв вся-



кое по ней хождение). С первым обстоятельством справиться и смириться было невозможно за неувовимостью самого времени, что же до второго, то Филипп предлагал выход: на половине большой комнаты построить антресоли, благо потолки в доме были четырехметровой высоты; ему самому уютно было бы заниматься на таком балконе, и он всерьез обиделся, когда Петя посмеялся над его проектом.

Все же, когда к ним нагрянул ходок, хозяева расстроились не тотчас.

Явился он, конечно, в синем шевиотовом костюме, голубой рубашке, коричневом галстуке и сливочного цвета сандалетах, отчего имел весьма безобидный вид; незнакомца впустили бы и не спрашивая, кто таков, когда бы не изрядный чемодан, выдававший его намерения. «Вокзалы от нас далеко, – сокрушенно подумал открывший ему Филипп, – а с таким сундуком не станешь слоняться без верной цели».

– Мне бы Александра Николаевича, – попросил пришелец, вдруг попятившись.

Вместе с Александром Николаевичем в переднюю вышла и любопытная Людмила Федоровна, и какое-то время все четверо разглядывали друг друга, выискивая особые приметы; гость таковыми не располагал, и хозяева дома не замечали его средних роста и возраста, средней величины носа, неопределенного цвета глаз и неожиданного, при его сером лице, отсутствия татуировок.

– Изотов, Павел, – представился он. – Вы не робейте, я вам не родня даже. Дед Константин женат был на сестре вашей тетки Марии.

– Сестре вашей тетки... – непонимающе повторил Александр Николаевич. – Что же это за родство?

– Вот у Зои Сергеевны, дочери Марии Ивановны, мы и виделись – помните, в Новосибирске? Вы тогда звали приехать, если что.

– Как же, помню, помню, очень приятно, – заулыбался Александр Николаевич, безуспешно роясь в памяти. – Только вы все же телеграммку бы дали – риск, как-никак: что, если б мы в отпуск уехали? Правда, видите, обошлось. И с какими же вы намерениями пожаловали?

– Намерения, уважаемый, серьезные: я спастись приехал.

– Не от милиции ли?

– Душу спасать.

– Стало быть, в Загорский монастырь, – с надеждой предположил Александр Николаевич.

– Опомнитесь, бог с вами: я работник исполкома и атеист. Просто видя вокруг попустительства и того хуже, решил доложить – и тем облегчить испоганенную душу. Промолчу – дети не простят.

– Ходок! – тихонько хихикнул за спиной Филиппа вышедший на голоса младший брат (вся семья еще стояла перед открытой дверью) и, передразнивая ленинскую картавость, скороговоркою зачастил тому на ухо: «Что, Наденька, за люди опять в передней толкуются?» – «Это, Вовочка, ходоки пришли». «Сколько тебе, Наденька, говорить: придут эти ходоки – гони их к такой-то матери!»

– Вы – непьющий, – догадался Александр Николаевич.

– Почему это? Принимаю – однако в меру.

– Странно, но заходите.

– Спасибо вам. Не подумайте, я в гостинице поселюсь. Лишь бы чемодан пристроить.

– Куда вам такому в гостиницу, – безнадежно махнула рукой Людмила Федоровна. – Заходите, у нас обед скоро.

– У меня как раз грибочки соленые, алтайские, – весело зачастил Изотов, – и мед, и еще там...

В рассуждениях о грибах, рябине, погоде и природе прошла половина обеда, и приезжий вывел, что благодать в России повсеместна, только вот столица шумна и бестолкова, да люди по эту сторону Урала не имеют понятия, какие ставить избы: подводят их под дурацкие двухскатные крыши, тогда как и ребенку понятны удобства и красота четырехскатных.

– Эх, господин учитель, – вздохнул Александр Николаевич, – когда бы дело стало за одним этим, как счастливо бы мы жили!

– Хлеб насущный был бы каждый день, – вставил Филипп.

– Ну, сибирский-то хлебушек весь СССР кушает, – важно вставил ходок. – Поля у нас бескрайние, обрабатываем на «Кировцах» – слоны, а не тракторы.

– Все топчут, что ли? – понял по-своему Петя.

– А что, в городах ваших, – с нажимом спросил Филипп, – есть ли в магазинах мясо – свиное, хотя бы?

Гость замылся.

– Колбасу, стало быть, повезете из столицы, – понимающе улыбнулся Александр Николаевич.

– Ну, – подтвердил Изотов. – Правда, колбасу-то мы и у себя доставим, в аэропорту: закажешь в ресторане три-четыре порции – и домой, чтобы детишки тоже покушали.

– Зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, – процитировал Петя.

– Уже перекрыли, – поправил Изотов. – Перекрыли, а теперь шумят: мол, напрасно. До чего дошло: газетчики совсем распоясались,

поливают грязью все, что попадет под руку – и совхозы, и колхозы, и армию, – критикуют под руку, когда простые люди борются за урожай, чтоб не пропал. Да вы с самокритики начните, как Владимир Ильич учил. А то все, горбом нажитое, норовят сломать одним махом. Дудки! Легко ли было нам развитой социализм построить? Семьдесят лет – этими вот трудовыми руками...

– Я думал, мы с вами ровесники, – ахнул Филипп.

– Что вы, то и мы, – согласился ходок.

– Я к тому веду, что сложить наши годы вместе – и то еле-еле за семьдесят перевалит. А что до развитого строительства, то, думаю, не случись революции, то не боролись бы наши крестьяне за урожай, а собирали его.

– Почему вы знаете?

– Есть, с чем сравнить. Помните, добрый дедушка Ленин пренебрег самой убогой окраиной России – Финляндией? Не до нее было, и поэтому нищие чухонцы, прожив те же семьдесят лет прежним манером, теперь по уровню жизни занимают четвертое место в мире – против нашего восьмидесятого с чем-то. Хлебушка они, между прочим, на своем холодном песочке собирают вчетверо больше, чем вы на алтайских черноземах.

– Ишь, лектор какой, – удивился ходок и вдруг нашелся: – А безработица?

– И негров линчуют, – подсказал Петя.

– Горячая пища полезна, зато горячность вредит пищеварению, – перебил их Александр Николаевич, зная, что следующим примером Филиппа будут две Германии, и догадываясь о том, что последует дальше. – Поэтому в нашем доме редко говорят о политике, а за столом и подавно. Неблагодарное это дело и, по правде сказать, скучное: по всей стране сейчас спорят об одном и том же, так что доводы противников известны заранее и не убеждают. Займемся-ка лучше жарким.

Петя не преминул вспомнить классика:

– Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу.

– Вот случай доказать свой патриотизм.

– Патриотизм – последнее прибежище негодяя, – нашлась цитата и на это.

Гость посмотрел на Петю со злостью, но не придумал ответа, и тишина больше не нарушалась до самого конца трапезы, когда хозяин дома решил наконец выяснить, за несуществующим десертом, чем грозит его семье вторжение алтайского родственника.

– Сытые и довольные, – сказал он, – поговорим теперь о возвышенном. Вы, Павел, давеча обмолвились, будто явились в Москву спасать душу, имея в распоряжении два-три дня, не так ли?

– Три? – изумился Изотов. – Извините-подвиньтесь, я так не говорил.

– На это у других уходят годы, а то и вся жизнь, – невозмутимо продолжал Александр Николаевич. – Не знаю, чувствуете ли в себе подъем и особенные силы...

– Тут одно из двух, – помог ему Филипп. – Или Павлу видение было, или он, помню, назвавшийся человеком неверующим, под спасением души понимает не то, что принято.

– Душа – это жизнь, – охотно объяснил ходок. – Отдал душу – значит, помер. Если будет продолжаться, как сейчас, то, чувствую – отдам. Поэтому я и решил помочь навести порядок, в своих же интересах, а для того – попасть в столицу нашей Родины Москву, в которой находится вся власть.

– А не подсказывает ли вам классовое чутье, что как раз из Москвы и идут опасные мысли?

– Тем более, надо задавить их в зародыше, – рассудил Изотов. – Верно вы говорите: все началось с центральной печати. При крепкой власти всех этих писателей давно поставили бы к стенке. Народу же надо рассказать правду – жизнь, как она есть.

– Стало быть, вы – от имени народа... Весьма оригинально. Но если допустить, уважаемый Павел, что вы в чем-то ошибетесь – от его имени действуя, – то народ, знаете, таких вещей не прощает. Счастье, что никто не узнает о ваших заблуждениях.

– Почему не узнает? Вы что же, убить меня хотите? – воскликнул Изотов, осеняя себя партийным знаменем, то есть проверяя правой рукой, цел ли партбилет в левом внутреннем, напротив сердца, кармане и бумажник – в правом; проверить, застегнуты ли брюки, у него не хватило духу. – Если даже что и случится, то доклад же останется. А он основан на единственно верном марксистско-ленинском учении.

– Так вы и доклад подготовили! – воскликнул Александр Николаевич. – Где же вы изволите его читать?

– Подготовил, в двух частях: о политике и о экономике. Под текстом собраны подписи граждан города. Я вам зачитаю.

– Подписи?

– Доклад.

– Не надо, – твердо сказал Филипп.

– Спасибо за доверие, – всполошился Александр Николаевич, – только я бы посоветовал вам не тратить времени зря, а приняться за ваше святое дело. За те два дня, которые вы для этого ответили, вам не просто будет осуществить задуманное. Вам, я понимаю, хотелось бы попасть в некоторые присутственные места – дерзайте. Позвольте узнать, если не секрет, где в первую очередь вы намереваетесь найти правду?

– Под номером один в моем списке значится Центральный комитет КПСС, под номером два – газеты «Правда» и «Советская Россия», три – телебашня.

– Правильной дорогой идете, товарищ, – снова закартавил Петя. – Из ресторана телебашни, с высоты, говорят, границы Союза видны. Но правды нет и выше.

– Что ж, ЦК отсюда ближе всего, идите прямо туда, – посоветовал Александр Николаевич. – За четверть часа пешочком дойдете. Вы неудачно приехали, под выходной, сегодня везде короткий день – иначе бы вы и нас не застали, – но в приемную ЦК вы попадете и в такой час. Добрый старый партийный стиль, знаете ли... В общем, желаю удачи. Да, я вам на бумажке наш телефон напишу – на случай, если заблудитесь или придете в недоумение.

Едва за ходок закрылась дверь, как Филипп бросился к отцу, протягивая руку.

– Ты, папа, великий актер, – воскликнул он с искренним восхищением. – При твоих взглядах (я думал, вы найдете общий язык), при таких-то взглядах – так уверенно прекратить его извержения!

– Но он же сумасшедший, – оправдываясь, проговорил Александр Николаевич.

– Берегись, он вернется.

– Надеюсь, его проводят в желтый дом, и санитары позвонят нам, чтобы обрадовать.

– Своих они не сажают. Но если что, в дурдоме наш ходок непременно сам дослужился бы до санитаря.

Филиппу тем не менее трудно было судить, сажали ли прежде также и своих или только наших; все равно те и другие оказывались равны между собою: здоровые бывали равны в одной больнице, больные – в другой. При этом для них не исчезала реальность, потому что ее не существовало и раньше: ее заменяла фантазмагория, наблюдаемая изнутри; способное исчезнуть имело место лишь при старом режиме, в царской России, а теперь, по слухам, сосредоточилось в неведомом зарубежье, которого, возможно, и самого нет на белом свете. Наружные

зрители, сидящие, как в ложе, в этом самом зарубежье, которого нет, тоже не считали, будто видят на подмостках действительную жизнь, но на то они и зрители, чтобы думать, будто в театре абсурда все делается понарошку и будто лысая певица в пенсне – всего лишь комический персонаж.

## 12.

Ничто долгожданное не случается в удобное время, более того – случившись, иной раз оказывается некстати. Отсюда можно было бы вывести даже и неудобство вообще всякого времени, когда бы не свято хранимая нами память о светлых днях, у каждого – своих. Известный нам журналист, правда, затруднился бы назвать достаточное число таких в прошлом, зато в самом близком будущем обрисовывался по крайней мере один, верный: поманил, посяял, почти уже позволил дотронуться – и в этот момент домогавшийся его оказался в таком состоянии, что впору было отказаться от всего.

Оба знакомя, обещавшие свести его с Лозаннским, не давали о себе знать, и Деригузов, думая, что напоминать им о данных обещаниях бесполезно, уже решил махнуть рукой на всю затею, когда вдруг однажды ему позвонил Евтропов и в непонятной спешке оповестил о назначенной на завтра аудиенции. Настроение Деригузова, и без того приподнятое в предвкушении назначенного на вечер ужина с коллегами, стало и вовсе праздничным; это-то его едва и не погубило. Назавтра, проснувшись после славной пирушки, он понял, что никоим образом не способен предстать перед своим высокопоставленным двойником (да и ни перед каким государственным лицом не предстал бы), оттого что голова раскалывалась после вчерашнего, да и запах, наверное, исходил не слабый. С первой напастью Деригузов еще кое-как справился с помощью мудро припасенной бутылки пива, вторую же этой бутылкою только усугубил. Не надеясь ни на что, он все же позвонил Евтропову и, стараясь не дышать в трубку, завел было разговор издалека, с подходом, но его товарищ, перебивая, обрадованно закричал, что и сам хотел позвонить, чтобы перенести встречу на конец дня, да забыл дома записную книжку. «Или Бог есть, – облегченно вздохнул Деригузов, – или это нечистая сила помогает, только мне-то все равно. Важен результат. Славные итоги года. В желудке, однако, что-то непонятное. Была б хозяйка – сварила бы крепкого бульончику. Что и говорить, мир без женщин нелеп – даже при том неоспоримом факте, что все они лгуньи, а добродетельны из них только чужие жены». До сих пор он утешался либо воспоминаниями о близких из них, либо мечтами о лучших, но

сегодня, расслабленному, ему хотелось немедленного их осознания, ради которого он готов был согласиться даже на жизнь парюю; все равно, решил он, равно как нельзя долго жить с одной женщиной, нельзя долго жить и одними умственными представлениями.

Обнаружив, что думает не о райкомовской блондинке, чей профиль (в варианте с париком) годился бы даже для камеи, а о вчерашней студентке из шашлычной, ни в каких ракурсах не соблазнительной даже для фото в районной газете, Деригузов осерчал на себя: возраст обязывал наконец остепениться, да и не до романов было сейчас, когда впереди наконец забрезжили какие-то светлые дали. «Источник вдохновения», — придумал он заголовок для их описания, вовсе не подошедший бы тусклым от непогоды далям, видимым сию минуту за окном (с райкомом партии в центре композиции) и недостойным вообще никакого текста; в нем потихоньку разыгрывалась знакомая зависть к тем, кто и такой вид, и видимые из какого-нибудь другого окна сарай, котельную, собаку на снегу или на сене умели сделать обстоятельствами отменного повествования. Впрочем, ничего подобного от него будто бы не требовалось, чтобы справиться с результатами завтрашнего вождельного посещения владений старца Лозаннского; тут его если что и смущало, то отнюдь не вялость своего воображения или незнание того, чем предосудительным занимаются в оных владениях — не бомбы же отливают, не растят же чумных микробов, — а робость перед повторившим его собственные черты человеком. Удвоение черт грозило, видимо, чем-то недобрым, хотя и не потерей лица. Накануне, в момент нежданного хмельного прозрения, он понял, что берется писать о седоке, будучи сам пешеходом (из тех, кому мелькающие подметки попутчиков видны лучше прочего). Уровни того и другого были, увы, несопоставимы, а значит, и не мог Деригузов, глядя снизу вверх, судить о партнере, о противнике ли; поменяйся они местами — тогда он имел бы право описывать состарившегося себя: хотя и сказано, что не судите и не судимы будете, но сказано — о равных.

Равный ему восседал на обжитом хозяйском месте, до которого пришлось идти ходом пешки через весь кабинет; нашего посетителя смущала еще и необходимость как-то прикрываться, чтобы не быть узнанным. В этом он, видимо, не преуспел, оттого что слишком заметно было, как Лозаннский, тараща глаза и замедляя речь, силился что-то вспомнить, что именно — можно было не объяснять. Устроившись в унижающем во всех смыслах кресле, Деригузов понял, что воля его утрачена, и не нашелся, что ответить, услышав о заведенном на него деле; но проговорившийся собеседник и сам заговорил о другом:

— Вы были репортером на Колыме — вам и карты в руки.  
Обидевшийся на «репортера» Деригузов нечаянно сообразил:  
— Мой ход.

Но как раз верного хода он и не знал, позабыв, для чего ему так понадобилась встреча с двойником: не шантажировать же он его собрался, не убивать ради подмены (Деригузов изучил множество литературных примеров), хотя уже сию секунду и ненавидел — как только можно ненавидеть предсказанное кривым зеркалом «комнаты смеха» жалкое будущее своего цветущего лица, — и мысленно оправдал это чувство, выведя, что, достаточно любя свое обличье, к подобию должно испытывать лишь нечто противоположное. С языка едва не сорвалось именно так: «Ваше подобие», — но он вовремя понял, что старик чужд всякого юмора; впрочем, жалкий слух собеседника наверняка преобразовал бы обращение в «Ваше преподобие», погубив весь эффект.

Отвлечшись, он пропустил мимо ушей какой-то монолог, уловив только вывод о необходимости писать историю по свежим следам. Поставив точку, Лозаннский выжидающе улыбался. «Неужели я буду так же скалить зубы?» — ужаснулся Деригузов, на всякий случай отвечая безотказным газетным заголовком:

— С думой о будущем урожае.

— Это и будет вашей задачей, — ошеломил его Лозаннский. — Ведение летописи.

Из дальнейшего Деригузов понял лишь то, что его приглашают на постоянную работу, о чем раньше, в переговорах со знакомыми, не было и речи. Лозаннский же, не давая опомниться, приступил к настоящему допросу: фамилия, имя, год рождения, год смерти... О последнем, правда, подумал лишь сам кандидат, в ходе разговора сообразив, что, приобретая устойчивую и, видимо, приличную зарплату, потеряет свободу.

— Писать-то, Александр Августович, у меня выходит только дома, — со смирением в голосе и с дерзостью во взгляде выговорил Деригузов. — Так, знаете, чтобы и как бы огонек в камине, и собачка у ног. Да и то: сегодня пишется с утра, а завтра — на ночь. Причуда, конечно, да ведь без причуд ничего путного не наработаешь. Как же при этом еще и табельный номерок перевертывать в конторе?

— Так ведь не водится у нас, друг мой, номерков, — неуверенно возразил Лозаннский.

— Это я образно говорю. Суть-то вы поняли?

— Поймите и вы, каков порядок: вы заведете в первом отделе тетрадь — пронумерованную, прошнурованную и сургучной печатью скрепленную — и только туда и будете записывать все, что относится к нашей

тематике да и к самому этому обычному порядку. Тетрадочку же, всякий раз, уходя домой, будете сдавать на хранение.

– С ума сойти! До меня, наверно, доходит плохо: мы же с вами хотим книгу делать – и как же такую тетрадочку в издательство нести?

– Ни тетрадочку, друг мой, ни записочку, – сладострастно выговорил Лозаннский, – вы никуда, согласно данной вами подписке, не отнесете. Вполне вероятно, что это сделают только ваши внуки. Не нам с вами решать, когда можно будет открыть карты.

«Любит, я вижу, старик расписать пулечку, – решил Деригузов. – Второй раз заговаривает о картах. Хорошо бы с ним сойтись на этой почве. А всеми этими первыми отделами наверняка можно пренебречь: завести для отвода глаз эту чудовищную напрасную тетрадку, а дома кропать – в своей, от них секретной. Вот и сегодняшние наблюдения – надо же будет куда-то записать. А книжку, кстати, хорошо бы назвать “Напрасный труд – на службу миру”».

– Что ж, порядок есть порядок, – согласился он. – А как быть с огоньком в камине?

– Это уже в моей власти. Грейтесь себе на здоровье: вряд ли есть смысл подчинять вас общему режиму.

По тому, с каким трудом это было сказано, Деригузов понял, что одержал важную победу: главный конструктор явно преступал какие-то строгие правила. Возможно, это была первая и последняя поблажка, и ее нужно было ценить; со временем очень полезно будет напомнить шефу о его благоденствии. Для себя он уже решил, что примет предложение – других возможностей сближения с двойником видно не было, – но все же, чтобы набить себе цену, вернулся к своему:

– Зачем делать вещи, которые никому нельзя показать?

Для него самого это прозвучало иначе: зачем делать вещи, которые погубят? Он безрассудно делал шаг за шагом навстречу неведомой беде, хотя и помнил разговоры о том, что встреча с двойником, даже случайная, приносит несчастье.

«Кто не рискует, тот не проигрывает», – оправдывая свое решение, подумал он.

### 13.

Свое положение он пока находил занятным, хотя неожиданные неудобства, какими оказалась чревата секретная служба, начали надоедать. Проведший жизнь вольным человеком, Деригузов с неприятным удивлением обнаружил, например, что не смеет среди рабочего дня

выйти в город даже на минуту, а должен подписывать для этого у начальника увольнительную записку (в действительности он никому не подчинялся, а если и был приписан к какому-то отделу, то единственно для того, чтобы иметь постоянную строчку в ведомости выплаты жалованья; но именно у чужого начальника и не хотелось выпрашивать поблажки). Вынужденный сидеть на месте, Деригузов без помех мог бы изготавливать свои брошюры одну за другой, на любые темы (рабочие часы были бы оплачены сполна) – и как раз теперь нужное настроение не приходило, он не писал вовсе. Но ему платили и за это. Наскучив мечтать в одиночестве, он решил еще раз обсудить будущее сочинение с его героем – наедине, разумеется, – но секретарша, отказывая в аудиенции, пробормотала что-то о конце месяца – тогда как едва началось начало. «Что ж, солдат спит – служба идет», – сказал сам себе Деригузов, соблазняясь долгим бездельем, но все же поделился своими задачами с Евтроповым.

– Что ж ты молчал? – удивился тот. – Надо шевелиться, пока А. А. не забыл о своих обещаниях. Я напомню ему, и он вызовет, да ты впредь и сам можешь связываться – вот номер прямого телефона, для избранных. А Зинаиде я скажу сейчас же, чтобы оформила тебе свободные вход и выход.

– Еще такой вопрос...

Оставалась одна деликатная вещь, которую следовало бы выяснить в первый же день, но Деригузов не только ленился, но и опасался заговаривать о ней с незнакомыми, хотя бы и с соседями по рабочей комнате: не ровен час, приняли бы за ненормального или провокатора; суть была в том, что он оставался в полном неведении относительно назначения фирмы – внимание к разговорам между собою сотрудников не дало ничего, оттого что эти разговоры велись о футболе или хоккее, о трюках или интрижках, но не о работе же, которой, мягко говоря, никто здесь не был перегружен.

– Теперь, когда я свой человек... – начал он издали.

– Да еще какой! Ты на голову выше любого члена Союза писателей: они – простые инженеры человеческих душ, а ты – ведущий инженер.

– Прости, но мне не нравятся эти поддразнивания: старший писатель, ведущий писатель... Я, увы, газетчик. Человеческие души – не моя специальность.

– Ба! Ты же специалист по Пшенко – и как я до сих пор не свел тебя с его наследником? Это идея: пусть он тебя курирует. Одному – развлечение, другому – польза.

– Неужели моя жизнь навсегда связана с семьей Пшенко?

– Ты же не простился! А не слюбитесь – кто тебя держит? Но я уверен, вы сойдетесь.

– Чтобы не задавать ему глупых вопросов, задам – тебе. Даже и спросить не знаю как. Дело в том, что я – глупейшая ситуация – работаю на фирме, совершенно не представляя, что она производит – галоши или спутники. Послушать, так вся ее деятельность сводится к политзанятиям да возне с гнилой картошкой на овощной базе.

Евтропов от души рассмеялся:

– Так вот что тебя гложет! А я наивно думал, что это в воздухе носится. Нет, это надо рассказать Маматюку: человек шпионил, шпионил и ничегошеньки не узнал! Он возгордится: умеют-таки наши люди хранить государственную тайну! При этом наш продукт – вещь элементарная, даже неловко говорить: забор. Мы, Витя, строим железный занавес вокруг всего Советского Союза.

– От Москвы до самых до окраин? – машинально пробормотал озадаченный Деригузов. – Надо ж так вляпаться!

Вместе с тем он мгновенно сообразил – такие вещи схватывались им быстро, – что пока нет возможности издать заказанную брошюру, о пропитании беспокоиться не нужно; как только занавес будет поднят и тайная история – рассказана, с ее автором тотчас распрощаются.

– Если уж и у тебя – интеллигентские комплексы... – почти разочарованно протянул Евтропов. – Но тут же нет ничего особенного: мы с тобой, старик, вроде пограничников. Раньше красноармейцу Карацупе с овчаркой Индусом приходилось часами томиться в засаде, а мы без отрыва от столицы будем следить, чтобы ни те к нам, ни мы к ним, и чтобы ни одна весточка не пролетела, хотя бы и с почтовым голубем. В общем, зверь не проползет, не пролетит ночная птица – так, что ли, пели в нашем счастливом детстве?

– Ну, в детство я еще не впал. Мне ясно одно: ни журналисту, ни какому-нибудь бытописателю тут делать нечего. Им не помогут никакой эзопов язык, никакие вымышленные имена. Да и что толку в иносказаниях? Страна должна знать своих героев, а псевдонимами так все запутаешь, что потом и сам не разберешься, где правда.

– Потомки разберутся. Вскрытие покажет.

– О, вскрытие иной раз... – начал было Деригузов, но dokonчил уже про себя: «...показывает удивительные вещи». Ему пришло в голову, что патологоанатому было бы любопытно вскрывать одновременно, на соседних столах, двойников (именно – его самого и Лозаннского): их внутренним устройствам следовало бы совпасть в мельчайших деталях, со всей отделкою. Внешнюю отделку Деригузов как раз успел вовремя, к

первому рабочему дню, изменить: отпустил усы, удлинил прическу, кое-как даже устроив челку, стал носить очки с темными стеклами и только не отважился обрасти бородой, но и сделанного, судя по равнодушным взглядам новых сослуживцев, особенно – женщин, особенно – приближенных к особе, оказалось достаточно; он и без того боялся, что бдительные чекисты примут его за шпиона.

– Да, да, – не дослушав, согласился Евтропов. – иной раз стоит терпеливо дожидаться результатов. Терпение – довольно полезная вещь, знаю по собственному опыту. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, но мне, кажется, удалось выждать свое время.

– Но и я переживал!

Деригузов переживал – мгновенно превратившись из главного редактора газеты (пусть и ничтожной) в засланного на край света простого корреспондента. Сейчас старая обида вдруг вспыхнула с новой силой, и он подумал, что должен кому-то отомстить за унижение. Конкретного виновника он не знал, но были же у него прежде враги в обществе; против них и следовало выступить – хотя бы и в бывшей своей газете. В условиях наступающей свободы слова он мог бы, используя, как ширму, свое положение сотрудника секретного предприятия, сделаться пламенным публицистом. Первым делом он наметил зайти в свою старую редакцию – разузнать, каким воздухом там дышит незнакомая ему команда, – и решить, стоит ли с ней сотрудничать.

Чтобы с чистой совестью заняться личными делами, хорошо было бы разделаться со служебными – иметь что показать Лозаннскому при уже близком теперь разговоре. За несколько дней Деригузову удалось набросать подробный план будущей брошюры, куда он приплел и детство героя, и осуждение поджигателей войны, и страстную любовь к театру, и грядущее торжество ленинских идей в пространстве за железной оградой, заселенном соединившимися пролетариями. Теперь, довольный написанным, он, в ожидании звонка из приемной главного конструктора, мог отвлечься на другое.

Редакция «Пульса труда», переехав, размещалась теперь в трехкомнатной квартире жилого дома, на двери которой висела табличка «Техник-смотритель». В первой из комнат и впрямь восседал этот самый смотритель, а коридор, ведущий к помещениям редакции, был благородно перекрыт бархатным, как в театре, вишневого цвета канатиком.

Странное чувство испытал Деригузов, зайдя за эту преграду.

В просторном, какого у Деригузова в свое время не было, кресле сидел будто бы он сам (нет, не двойник на сей раз, а именно полная противоположность), и многие вещи в кабинете были из тех, что он при-

обретал много лет назад. Деригузов посмотрел на преемника с симпатией – как смотрят в зеркало после удавшейся стрижки. Тот был не один: на гостевом стуле примостился незаметный посетитель, присутствие которого Деригузов обнаружил лишь после того, как редактор представил:

– Вот у нас народный делегат – из дальних областей Родины. Представьте, нас, оказывается, знают и там. А вы говорите – районная газета.

– Не забывайте, какое здоровое было заложено начало, – ухмыльнулся Деригузов. – А вы – молодцы, не дали завянуть свежему ростку.

– Поливали, – широко улыбнувшись, подхватил редактор (Поливанов, кстати; Деригузов едва удержался от каламбура – потому лишь, что скользнул мыслью к каламбуру следующему – к половине Иванова, – а затем и к вопросу: в каком смысле «поливали» и тогда уже – кого?).

– При мне газету держали на голодном пайке.

– Нам очень помогают общественные организации. Теперь, сами знаете, деньги случается находить в самых неожиданных местах. И если уж нас читают в Сибири, – он снова указал на посетителя, – если мы найдем подписчиков еще и там – представляете, какой будет резонанс?

– Но вы же поднимаете только московские проблемы, – сказал Деригузов.

– Погода делается в Москве, – пожал плечами редактор и, повернувшись к открытой двери, кликнул увесистого мужичка, заведовавшего в коридоре вишневым канатиком: – Серега, организуй-ка нам чайку! Так вот, о московских проблемах. Видите, у меня лежит сигнал о случаях ящура среди домашних животных – здесь, у нас, в столице. Это же сенсация, гвоздь номера! И мы первыми поместим!..

– Как же тогда мясо есть?

– Да нет, не у скота, а у домашних – у кошек, собак...

– Сообщение подтверждается, вы проверили?

– Кто же станет проверять? Штат у нас сами знаете, какой. Нет, наше дело поставить вопрос, а проверять – пусть проверяет общественность. Чем скорее мы забьем тревогу, тем лучше. Представляете, если эпидемия пойдет распространяться по Союзу?.. Все свалят на столицу, а там – карантин, прививки... Погода-то и впрямь делается здесь.

– Справедливо – насчет погоды, – горячо подтвердил посетитель. – Необходимо, чтобы мое заявление прозвучало именно из столицы: это всколыхнет народные массы. Меня послали простые советские люди, и простые москвичи подсказали обратиться сюда. Сообща мы способны разоблачить любые темные силы, несущие гибель и тому, что мы построили, и всем русским.

– Не разумнее ли было бы вам начать у себя дома? – усомнился Деригузов. – Москву ничем не удивишь, а выступления на местах звучат наиболее весомо.

– Попытки делались. Но органы печати пренебрегли интересами народа. Тогда я понял, что рыба гниет с головы. Это был мой долг – рассказать обо всем в ЦК КПСС.

– Вы там выступали? – поразился Деригузов.

– Беседовал с ответственным товарищем, который ко мне вышел.

– С кем же, если не секрет?

– Я записал: Мокросытов. Он многое обещал мне. По его совету я оставил копии своего доклада в редакциях центральных газет. Мне осталось только посетить телевидение.

– Грамотно, – похвалил редактор. – С телевидением у вас, правда, вряд ли получится, но и сделанного уже довольно. Надеюсь, что пресса поддержит выступление товарища Изотова – это же вопиющий глас народа, – а я, опережая, дам выдержки. Ну, для полного текста, уж извините, Павел Владимирович, у нас места не хватит. Зато, в виде компенсации за ущерб, я бы добавил один пунктик.

– Давайте, – развязно махнул рукой Изотов.

– Речь идет о правопорядке. С ним, все знают, у нас обстоит не лучшим образом. И Сибирь, думаю, не исключение. Так вот, мы начали кампанию за создание рабочих отрядов. Цель кампании – снижение числа квартирных краж, грабежей на улицах, угонов автомобилей. Вся беда в том, что в обществе не стало страха. Наши отряды могли бы изменить положение. Форма, дубинки, рации – деньги на это есть.

– Включить все это в доклад? – ужаснулся Изотов. – Это целый месяц работы.

– Что вы, я сам все напишу, только позвольте, – за вашей подписью, разумеется.

– Подпишусь обеими руками.

– Одной левой, чтобы не узнали почерк, – предложил Деригузов, якобы в шутку, и даже мимикой призывая собеседников посмеяться над нею, но в то же время совершенно серьезно думая, что те, для борьбы с кем задуманы отряды, непременно станут сопротивляться – не противостоять позже, а пресекать начинание сейчас, любыми средствами, вплоть до террора; на нынешнем этапе лишняя осторожность не помешает. Сама же идея народной защиты народа от народа (именно так, ведь ясно было, что батальоном войска с одним домушником не сладить, зато и половиною этого же батальона можно с большим успехом остановить демонстрацию или

очистить площадь от митингующих) – сама эта идея чрезвычайно понравилась ему.

– И еще одна идея родилась у меня в результате контакта с товарищем Изотовым, – отхлебывая чай, продолжил редактор. – Сам факт его появления в столице замечателен: так ходоки из далеких губерний России шли к Владимиру Ильичу за помощью и советом. Надо, чтобы за этим светлым человеком потянулись тысячи таких. Вот я и подумал: не организовать ли нам массовое движение ходоков? А если – да, то важно будет первыми бросить клич: другие подхватят и разнесут. Кроме того, на нашей базе можно устроить обучение профессиональных ходоков, которых потом будут запускать в центр из самых разных краев и областей. О, мы сумеем развернуться.

– Решимость бороться до победы, – пробормотал Деригузов, который не мог взять в толк, какую пользу споосбны принести эти организованные искатели правды – кроме галочек в отчетах и, конечно, кроме взлета какой-нибудь газеты, опередившей конкурентов в открытии кампании.

– Одобряю предложение товарища Поливанова. – скороговоркой произнес Изотов; разволновавшись, он начал заикаться. – Партии и стране нужны такие люди, как я.

– А такие, как я, стали лишними, – неосмотрительно вздохнул Деригузов; здесь ему следовало бы выглядеть победителем.

– Простите, Виктор Степанович, милый, – спохватился редактор. – Вы ко мне с делом пришли, а я вас своими мечтаниями мучаю. Слушаю вас внимательно, товарищ.

– Вот как раз и не по делу, а на огонек: проведать, как там мои пенаты... Что, казалось бы, тут смотреть – новое помещение, другие люди... И все же, и все же... Что-то ведь и моего осталось. Сам-то я решил отойти от старых дел: получил заказ на книгу – и сижу, окопался... Правда, назревает тут пара статей...

– Может быть, и для нас напишете?.. Впрочем, я понимаю, не те масштабы. Я и сам, честно говоря, мечтаю так же зарыться в тайную какую-нибудь нору, да только ведь газета, сами понимаете, отнимает двадцать часов в сутки.

У старого редактора она не отнимала и двадцати часов в неделю, чем он гордился, считая, что хороший начальник ничего не должен делать сам, а только загрузить подчиненных; последних ему, правда, отчаянно не хватало. Сейчас, глядя на своего преемника, он подумал: «Вот бы в те годы мне такого заместителя!» Но прошли и те годы, и другие, и отпала нужда в помощниках, и дело, каким они могли бы заняться вме-

сте, показалось скучным (нет, решимость заняться им не прошла, но и скука находила от одной только мысли о старом хлопотном и кропотливом труде); ему почудилось даже, будто он здесь, в чужом кабинете, залез на стремянку (она стояла за его спиной) и рассматривает лысину редактора и проплешину ходока с верхней ступеньки – с благородным состраданием.

#### 14.

Былинный дорожный знак – камень на развилке – предлагал сомнительный выбор: сгинуть самому, потерять коня, найти жену; нерешительным путникам отчего-то не приходило в голову (а камень не предлагал) повернуть вспять, а там уже поискать обходных путей либо вовсе отменить поездку; нет же, все было подстроено так, чтобы отвести от этой мысли, подсказав (или попросту навязав) только решение рисковать – головой ли, свободой ли, – словно за спиной было что-то еще более страшное: быть может, мор, пожар или заградотряд НКВД. На улице, по которой проходил, возвращаясь со службы, Понипартов, валуны не лежали, однако и без их разноречивых подсказок ему случалось застревать на последнем перекрестке, не зная, продолжить ли прямой путь или свернуть в сторону; первая дорога вела без задержек домой, вторая же предполагала именно приятную задержку в пивной весьма сомнительного свойства (но в столице иных не водилось), и как раз это свойство и вызывало обычно колебания: бывало униженно стоять за спиной чужого человека в ожидании, когда он допьет пиво и освободится кружка (впрочем, все мы привыкли к постоянным унижениям в нашей удивительной стране), и это обстоятельство отвращало от заведения сильнее, чем похабство изрядной части публики. Преобладание здесь грязного (казалось, что – во всех смыслах) люда было необъяснимо, так как поблизости не располагалось ни вокзалов, ни рынков, ни даже простейших производств, а только изобиловали разной величины конторы; надо заметить, что на вкус Филиппа чиновники годились для застольных бесед еще менее, чем присущие пивным пьянь да рвань.

На углу Понипартов, остановившись слишком резко, получил ошутимый толчок в спину; обернувшись с покаянными словами, он даже приложил к груди руку, но тот, перед кем следовало извиниться, удалялся, не обратив, кажется, на столкновение внимания, странной походкою – отчаянно дергая головой и руками. «Такую беду, – мрачно подумал Филипп, – и не лечат. Вообще, медицина – пока еще не наука, оттого что не знает законов болезней. Верно, что незнание



законов не освобождает... зато знание – довольно часто. Кто сказал это – Лец, кажется? До такого не додумался даже Паркинсон. Паркинсон (что вы, что вы, даже не однофамилец, как в анекдоте), вряд ли имеющий отношение к своей? к одноименной болезни и к тому несчастному, которого – я? который меня толкнул. По всем законам (физики или психологии?) я должен был бы продолжить его движение – так нет, остались каждый при своем: он идет прежней дорогой, а я – в пивную». Филиппу вдруг захотелось перечесть законы и Паркинсона и Мэрфи в придачу, читанные единожды и теперь изрядно подзабытые; среди нескольких, оставшихся в памяти, было непреложное правило о неизбежности достижения всякими руководителем своего уровня некомпетентности. Самого Понипартова это правило не касалось: он совершенно не желал продвигаться в какие бы то ни было руководители; впрочем, от этого он был надежно застрахован своей беспартийностью: сколько ни предлагали ему встать в славные ряды, он, изображая обиженного дурачка, отговаривался идейной незрелостью – добавляя про себя, что постарается дожить до введения в стране понипартийной системы. «Направо пойдешь – голову потеряешь, – повторил Филипп сейчас обычную свою присказку, – а голову потеряешь – в партию вступишь. И так далее. Пойду-ка я лучше в народ».

В устроенный на месте великокняжеских садов пивной зал мало кто решился бы войти с женщиной из-за привычно висевшего в воздухе густого мата; по той же причине – из-за языкового барьера – Понипартов, хотя и бывал тут нередко, но не завел знакомств. Войдя, он не стал всматриваться в лица и, когда его окликнули, так растерялся от неожиданности, что, неловко попятившись, наступил кому-то на ногу и пролил чужое пиво; наконец обернувшись, он узнал совсем неожиданного здесь Деригузова и с ним – своего нынешнего постояльца.

– Тесна столица, – пробормотал он, – а ваша милая компания и подавно неожиданна.

– Ну, – согласился ходок.

– Как ты сюда попал? – поинтересовался Деригузов. – Заметь, вне фирмы мы встречаемся исключительно в зланных местах. Доброй традицией стало... Кстати, познакомьтесь: Павел Владимирович Изотов, интереснейший человек.

– Очень приятно, – осклабился Понипартов. – Павел Владимирович как раз изволят квартировать в моем доме.

– Верно, мужики, здесь все свои, – вставил пожилой оборванец, дожидавшийся кружки. – А меня Димкой зовут.

– Димой, я думаю? – усмехнулся Понипартов. – Не мальчик, все-таки.

– Как ребята называют, так мне и привычно.

– Хотя собачьей кличкой...

– Нет, собаки в нашем гараже Вкладыш и Кардан.

– Ты бы, Димка, на нас не надеялся, нам самая посуда нужна для друга, – кивнув на Понипартова, сказал ходок. – В другом месте быстрее обломится. Не стой над душой.

Поспешно допив одну из своих кружек, Деригузов отдал ее Филиппу; тот не спеша побрел к мойке и автоматам, ломая голову над вопросом, что свело вместе этих двух. С этим же вопросом он и вернулся:

– Только не говорите, оба, что вы встречались в Сибири. Это было бы слишком.

– Могли б и в Сибири... Но нет, нет – в Анучине, – будто успокаивая, проговорил Деригузов. – Время такое, что взгляды стали у всех разными, и теперь людей легко объединяют общие интересы. Где это видано, чтобы широкие массы так интересовались политикой? Да и то сказать, русский народ терпелив, но не настолько же, чтобы спокойно смотреть, как ломают то, что он построил.

– Э, и ты в эту дудку! Только не говори, что строил – своими руками: это все – словесность. Что мы построили – снизили урожай вчетверо супротив тринадцатого года? Построили!.. Не надо было разорять – вот и все дела. Мы с тобой, Виктор, почти ровесники, а на нашем веку не «построено» ничего такого, чего бы давно уже не было у других. Разве что лагеря... Но зато хорохоримся и при всяком случае бьем себя в грудь: «Мы кровь мешками проливали!..»

– Так ведь прольется еще.

– Только не говори... – в третий уже раз, и сам этому засмеявшись, начал Понипартов, но его с возмущением перебил ходок:

– Что это вы все запрещаете? Не говори то, не говори это... Народ для того сюда и собрался, чтоб поговорить, о чем хочешь.

– Политику – в массы.

– Вот, правда, пиво у вас плохое: горчит, – заметил ходок.

– А горчица еще хуже, – засмеялся Понипартов.

То ли для того, чтобы заглушить непривычную горчинку, то ли наскучив сравнительно ясностью рассудка, Изотов, озираясь, вытащил из своей старенькой кошелки изрядно початую бутылку водки и предположил плеснуть прямо в пиво. Сочтя употребление такой смеси совершеннейшим падением, Понипартов оскорбленно отказался, и Деригузов, охотно подставивший свою кружку, попенял ему:

– Напрасно отказываешься: живая ведь вода.

– Полноте. «Ерш» – это попросту профанация идеи, а вот что до исходного продукта, то недавно меня вдруг осенило: дошло, что водка – это мертвая вода, а коньяк – живая. В самом деле, господа, сравните ощущения: когда выпьешь без закуски...

– Сразу видно большого ученого.

– С чего это Филипп обозвал нас господами? – насторожился ходок.

– Господ у нас, к счастью, не водится, – поддержал своего алтайского знакомца Деригузов. – Интересно, над кем это я господин.

– А кому ты товарищ? – мгновенно отозвался Понипартов. – Этак ведь и против обращения на «вы» можно возразить. Но только представьте, наверняка сию секунду где-нибудь в Европе или пусть даже на самом краю земли три точно таких же, как мы, человека, сидя в пабе, пьют себе пиво, величают друг друга господами – и чувствуют от этого полнейшее душевное спокойствие.

Слова «точно такие же» он произнес не вполне уверенно, сообразив, что нигде на свете инженер и журналист, пусть и в компании с деревенским писарем, не станут пить разбавленное пиво из тусклых кружек за грязным столом.

– Как это – точно таких же? – встрепенулся Деригузов. – Не может же так случиться, чтобы наши двойники вдруг сошлись в одном месте.

– Кто же говорит о двойниках? – пожал плечами Понипартов. – Бряд ли они есть у каждого из нас. Вот у тебя, к слову, – извини, что далеко не хожу за примером, – вовсе не стандартная внешность: с ног собьешься, ища по свету повторения.

Деригузов посмотрел на него с испугом.

– У всех простых людей – нос да два глаза.

– Поразительное наблюдение. После него особенно хочется познакомиться с непростыми. К слову, мы с вами, Павел Владимирович, живем вместе, а спроси нас – ничего один о другом не расскажем. Я, например, не успел спросить, где вы служите.

– Служу Советскому Союзу. Инспектор по кадрам Изотов.

– И вправду простой человек.

– Простой, как песня, – подтвердил Деригузов.

– Мне бы надо сразу сообразить, что настоящему ходоку больше неоткуда взяться, кроме как из парткома или отдела кадров.

– В корень глядишь, Филипп, – похвалил ходок. – Наше прямое дело – заботиться о людях. Вот я и отправился искать справедливость.

Кто-то по секрету говорил Понипартову, что в скорбных домах, подвластных КГБ, существовал такой диагноз: правдоискатель.

– Правду искать – высоко надо забираться, – посочувствовал он своему гостю. – Кстати, вы, судя по всему, так и не добрались до телебашни? А ведь всего-то, кажется, восемь рублей за вход. Тем более, что бутылка у вас с собой.

– Погода неважная, – предупредил Деригузов. – Ничего оттуда не увидите.

– А чего я не видел? – пренебрежительно махнул рукой ходок.

– Москву.

– Москва – вот она.

– Вот уж кто глядит в корень, так это наш уважаемый товарищ Изотов, – заметил Понипартов. – Истинная Москва там, где пьют.

– Так зачем вам хотелось на башню?

– Надо же было зачитать доклад.

– С балкона или просто в «Седьмом небе»? – рассмеялся Деригузов. – Тогда уж сподручнее было б здесь, среди народа.

– Хотите? – с готовностью отозвался Изотов.

– Нет, нет, только не это, – всполошился Филипп.

– Стойте, а какие восемь рублей? С меня и еще и деньги возьмут?

– Это задаток. Его потом учтут, не беспокойтесь.

– Зачем тогда брать? В ЦК – и то не брали, а это учреждение посolidнее телевидения.

– Деньги не брали потому, что не пустили внутрь, – продолжал изошряться Понипартов. – Теперь повсюду берут: страна перешла на хозрасчет. Беда в том, что кому и сколько надо платить, русский человек знает всегда, не знает лишь – как.

– Мужики, посуда не освободилась? – снова возник возле стола пожилой оборванец.

Понипартов впервые оглядел его: в толпе, выдержанной в серых тонах, тот в своей малиновой фуфайке, алом, с черно-белой каймой, шарфе и лапсердаке в немыслимую клетку выглядел живописно.

– Ты все мучаешься? – удивился Изотов. – Другой бы... Сказано же было: бокалы нам и самим нужны.

– Бокал – это большая рюмка, – машинально поправил Понипартов. – Но существует же солидарность пьющих – проявите ее, поступите с бомжем по-бомжески: отдайте последнюю руба... простите – кружку. Вообще, грешно иметь две (я говорю так вовсе не потому, что сам имею только одну). Если помните, не так давно в Китае никому не дозволялось иметь две пары штанов: если у тебя

есть вторая, значит, кто-то остался вовсе без штанов. Это называлось – равенство, наши отношения с Димой назовем братством... Как всегда, не хватает свободы.

– Тс-с.

К большому удивлению Филиппа, его доводы подействовали: ходок, смутившись или только изобразив смущение и тыча в оборванца недопитой кружкой, пробормотал неровной скороговоркою:

– Бери, Димка, пользуйся.

«В каких только странных пьесах, – воскликнул про себя Филипп, – не приходилось играть советскому интеллигенту! При полнейшем ералаше в действующих лицах». К последним относились и нынешняя случайная компания, и повседневный круг сотрудников, с которыми он скучал, и утраченный вместе с Наташей круг художников, которые скучали с ним, и товарищи по институту, которые, обзаведясь семьями и автомобилями, пропали для общения, и наконец он сам, почти при всякой попытке обособиться вдруг связывающийся с кем-то ненужным, а то и неприятным. Ему вполне было ясно и как неслучайны эти неприятные и ненужные связи, и чья злая воля дозволила интеллигенции жить таким единственным образом, чтобы постоянно соприкасаться и смешиваться не только с чуждым людом, но и со сбродом и чернью, пусть иной раз и высокопоставленными. Свобода, равенство и братство – этот треугольник оказался жестче Бермудского, и в нем пропало несметное количество живых душ и добра, да и время, как выяснилось, имело в его пределах свойство не только останавливаться, но и течь вспять. Наблюдать за этой фигурой с высоты полета было доступно и сподручно одним поэтам и художникам: не Понипартову с его фотоаппаратом и мнимой бесстрастностью геометра было равнять себя с ними, и все же занятия даже таким скромным предметом давали ему право и повод не держаться бок о бок с типажам, навязанными двумя из сторон треугольника, а оценивать натуру издалека и со стороны; притом лишь он сам мог решать, стоит ли заниматься передним планом или как поставить свет, чтобы подчеркнуть либо убрать в тень морщины, шрамы и трехдневную щетину, – и лишь затем заметить, что лица в опустившейся толпе оказывались по меньшей мере живописнее лиц благополучных. На его взгляд, приставший к компании потрепанный Димка выглядел пристойнее, чем аккуратный аляповатый ходок. Понипартов не сдержал улыбки, подумав, какое движение народных масс могло бы начаться, вздумай он фотографировать в этой пивной; вышло так, что его веселость отнеслась к словам ходока, как будто вторившего его мыслям:

– ...здешний народ не поймет нашего порыва.

– Тогда выйдем на улицу, – предложил Деригузов.

– И митинг, митинг?

– Кто же позволит? – затряс головой Изотов. – Пойдем лучше ко мне.

Филипп не сразу понял, что «ко мне» означает – к ним, к Понипартовым, и ужаснулся, представив возможные реплики и мизансцены, краснеть за которые придется ему одному. Димка между тем соглашался идти куда угодно, лишь бы поднесли стопку (но ведь и поднесли уже – из потаенного изотовского запаса), и только Деригузов воспротивился предложению – единственно за недостатком времени.

– Пусть я и выпил, – бубнил он, – но за часами слежу зорко.

– Хороший ты часовой, – заключил ходок.

– Граница на замке. Жаль, очень хотелось взглянуть, как живут порядочные люди.

– Нам с тобой, – утешил Филипп, – еще представится возможность сойтись в том же доме после отъезда Павла Владимировича.

– Куда это я собрался уезжать? – задумался Изотов.

– К народу, давшему вам наказ.

Осторожно помалкивавший после приобщения к бутылке Димка признался, что ему срочно и надолго надобно в туалет: здешний был в ремонте.

– Вот и бежим к нам, – оживился гость Понипартовых.

Филипп от внезапности не нашел, что ответить, но Деригузов, словно поняв соль сюжета, неожиданно трезво распорядился:

– Шпарьте-ка, парни, на вокзал. «Куда идешь?» – «В уборную на Ярославский». Да я шучу: какой тут вокзал – ГУМ рядом. Если дотерпишь – марш. Ты бы, Павел, проводил: нельзя бросать товарища в беде. А сделаешь дело – мчись в деревню, к тетке, в глушь: народ на местах ждет. Твой проступок я тебе прощаю.

– Какой?

– В конце концов, ты же занимаешься подрывной деятельностью – так ведь?

– Не так, – пролепетал опешивший ходок.

– Текст доклада – в торбе?

– Ну.

– Пора брать, – заключил Деригузов. – Вещественные доказательства при себе (вещдоки в вещмешке), а Лубянка рядом. Смекнул?

– Смекнул. То есть виноват.

– Тут материала хватит лет на пять строгого режима. Чекисты наверняка уже вышли на след. Так что мой совет: бегом за чемоданом – и на вокзал. Не в уборную. Ты же, Димка...

Но того давно и след простыл; когда Деригузов освоился с этим простым фактом, подле него не нашлось и ходока.

– Я перед тобой в долгу, – посмеиваясь, сказал Понипартов.

– Черт побери, не пойму, как это случилось. Выходит, что я поступился партийными интересами. Нужный человек, а я на него в атаку. Он ведь и вправду уедет – ищи его, свищи.

– Мешать пиво с водкой – значит портить все три вещи: водку, пиво и результат.

– Самое ужасное: я-то мешаю, а двойник – нет, – сообразил Деригузов, но Филипп не понял его.

### 15.

Скорость, с какой могут происходить перемены в российском обществе, способна поразить самое больное воображение: как в семнадцатом году за несколько дней напрочь исчезли и государство со всеми присущими институтами, и даже церковь, так и в замечательные годы перестройки всего лишь объявление свободы слова вдруг привело к смене государственного строя. Прежде невозможное стало возможным, враждебное – дружественным, а железный занавес – ненужным; по привычке его продолжали строить (забыв, наверное, распорядиться об обратном), но при этом уже не таились, а всюду восхваляли воздвигаемое сооружение как великий плод умственных усилий советских ученых, правда, занавесом его все же не называя, а пытаясь представить как исследовательскую установку. Более того, был показан народу и его автор: сначала Лозаннскому разрешили выступить с докладом о своих достижениях на Кулибинских чтениях, следом тот же доклад прочитал на ярмарке в Восточной Германии Пшенко и, наконец, раз уж в этих двух выступлениях раскрылись, хотя и в аллегорической форме, все мыслимые секреты, Александру Августовичу поручили огласить их в третий раз на выставке в самих Штатах.

По необычному напряжению в речах, по неловкостям и недоговоркам чувствовалось, как все остающиеся завидуют ему – все, кроме секретаря парткома и двух своего рода городских сумасшедших, ухитрившихся без тени юмора, вполне искренне выразить соболезнование в связи со временной потерей родины. От тех и других набралось вдоволь советов, еще больше – заказов, а прощальные обращения заканчивались либо выразительными многоточиями, либо восклицательными знаками, и лишь в единственном отъезжающий рассмотрел закорючку вопроса: его спрашивали, какое из своих нынешних представлений об Америке, неполных или неверных по оп-

ределению, он намеревается уточнить, увидев вожделенный предмет воочию. Несмотря на замысловатость вопроса, чреватую подвохом, Александр Августович ответил немедля, что хотел бы убедиться в существовании в современном городе надземной железной дороги: не могло же и в самом деле быть устроено так, чтобы поезда громыхали прямо под чьими-то окнами. Впрочем, с приближением часа отъезда и этот, и прочие краеведческие вопросы отступили на второй план, оттого что Александр Августович, спохватившись, обеспокоился незнанием басурманских порядков – кому, например, когда и сколько давать на чай, да и вообще, за что платить, а за что нет: при его средствах малейшая ошибка грозила не одним конфузом, но и полным крахом.

Затруднения этого сорта начались уже в самолете, когда стюардесса обносила напитками и терпеливо ждала, пока Александр Августович боролся с собою; из жалости к ней он едва не отказался от питья: откашлялся и приготовил фразу из разговорника – и отказался бы, если б сосед, принятый было им за иностранца, вдруг не ошеломил русской прибауткой: «Кто же упускает случай выпить на дармовщинку?» Александр Августович приниженно потеснился, чтобы тому удобнее было перегнуться за рюмкой, и только затем, чего-то стеснясь, взял и себе. Будто оправдываясь, он подумал, что этот пожилой пиджон ничем не лучше его и тоже, как всякий советский командированный, стеснен в деньгах, но ведь выпил же, не дрогнув. То, что стюардесса не попросила расплатиться, еще ничего не значило, ей могло вздуматься принести счет перед посадкой, и Александр Августович понял, что робеет перед этой благоухающей девушкой, совсем не похожей на тех, что обслуживали секретные рейсы на полигон. Сравнивая те и этот полеты, он неожиданно открыл в них общую черту – ощущение себя самозванцем.

Между тем за рюмкой нельзя было не разговориться. В другой обстановке, в родных пределах сосед, по виду – типичный служащий, был бы оставлен без внимания, но здесь, среди двух сотен иностранцев, общение с земляком неожиданно представилось подарком судьбы.

Собеседник оказался ему ровней – директором завода, выпускающего машины для бурения.

– Вы, наверное, и под железный занавес можете подкопаться, – со смешком предположил Александр Августович, думая: «Экая глупость это землячество».

– Рискованное дело. Коли есть занавес, значит, есть и секреты, которые он занавешивает. Только начни бурить – тут тебя и сцапают.

– Это смотря с какой стороны занавеса подойти.

– И все же, и все же: враг не дремлет, друг – тем более. Взять хотя бы нас с вами: один из двух посланных в загранкомандировку непременно должен быть агентом КГБ.

– Спасибо, друг мой, я остерегусь вас.

– Я-то остерегаюсь с первой минуты. Вы вот насчет выпивки засомневались, а по народным приметам кто не пьет, того и бойся.

– Я все пытаюсь сообразить, – проговорил Александр Августович, – какие опасные темы следует обойти, чтобы не усугубить вашу подозрительность, каковы интересы военных под землей – шахты для ракет, подкопы, скрытые перемещения войск? Не способны же вы пробурить глобус насквозь, чтобы, например, из Тамбова попасть прямиком в Америку. Зато если и не под железный занавес, то под какой-нибудь склад вы вполне можете затащить бомбу.

– Ту штуку, о которой вы говорите, недавно показывали по телевизору. Но что это вы все о моей работе рассказываете? Будьте уж так добры, познакомьте с вашей.

– С незапамятных лет, друг мой, я был связан с театром. Даже с театром военных действий – знаете, на площади Коммуны? Сложный театр, надо сказать: там поднимают занавес, а за ним – статисты, статисты, целые армии вооруженных статистов.

– Что ж, легенда у вас как легенда, только вы ни за режиссера, ни за дирижера не сойдете, в вас за версту видно технаря. Впредь советую сознаваться сразу: доктор наук, академик?..

– Не берут сегодня нашего брата в академики, – вздохнул Александр Августович. – Вы чрезвычайно ловко наступили мне на большую мозоль, но только сдается, что вы и сами ущемлены в том же: директор, генеральный директор – и ничего больше? Не так давно сколько-нибудь значительное директорство неминуемо приводило еще и к членству в Академии наук.

– Вот вы и выдали свой уровень: директор-то вы непростой, не свечным заводиком заведуете. Тот бы в «бессмертные» не рвался. Мне, к слову сказать, знакомы несколько ваших коллег, которые не только рвутся в существующую академию, но и придумали учредить новую – академию директоров. Гениальный, на мой взгляд, ход. Думаю, что и вы, поразмыслив, примкнете к нашей компании. Нас, директоров, много, в наших руках промышленность всего Союза – как к таким не прислушаться?

Подумав, что посторонние немедленно окрестят новое заведение академией дураков, Александр Августович осторожно предупредил:

– Представляете, какие пойдут речи: мол, в Академию наук рылом не вышли, так выдумали открыть – потешную, да еще сами себе раздают титулы. Знаете, так детишки поступают: настригут из оберточной бумаги денег и играют в магазин.

– В трамваях пусть судачат, как хотят, нас это не остановит.

– А вы, смотрю, настроены серьезно. Что ж, дерзните, дерзните. В конце концов, это лишь разновидность привычной номенклатурной игры – беспроегрышной, если находить в ней вкус.

Сам он этот вкус уже почувствовал, совсем недавно, и сейчас не видел ничего дурного в том, чтобы сыграть и эту партию, хотя больше надеялся на другие случаи, какие то и дело подстраивало непостоянное перестроечное время: вот ведь, выпустили же его, нежданно-негаданно, за границу, и предстоящее выступление с трибуны могло в одночасье принести ему известность (просилось «славу», но это он отогнал). В этой командировке он не имел права позволить себе ни малейшего промаха: тут любая мелочь имела значение – и галстук и дикция, – и дома Александр Августович подолгу репетировал перед зеркалом; в самом тексте он был уверен, благо над тем корпела целая команда, и задача заключалась в том лишь, чтобы не сбиться при чтении. Даже в самолете он не потерял время даром, а, когда сосед задремал, лишний раз прочел речь вполголоса: «Во все времена технику и науку вернее и скорее всего продвигали планируемые войны. Так и за время холодной войны накоплено множество идей и разработок в области вооружений и мероприятий оборонного характера. Внезапный подарок конца века – разоружение – позволяет надеяться, что все они найдут применение в мирной жизни. Медицина и пищевая промышленность, связь и транспорт, машиностроение получили в результате конверсии доступ к технологиям, для них просто фантастическим, и теперь разрабатывают самые смелые проекты. К их числу относится и проект “Зон спокойствия”, представленный в нашей экспозиции. Сегодня человек в городе испытывает множество стрессов, создаваемых ситуациями на транспорте и производстве и воздействием средств массовой информации. Более того, он постоянно находится под воздействием электромагнитных и прочих излучений, пронизывающих тело во всех направлениях; от этого не уберечься ни дома, ни в местах проведения досуга, ни в больницах. Предлагаемый нами проект предполагает, для лечения и реабилитации пострадавших от стресса, создание особых зон, полностью изолированных от внешних воздействий. Для этого научно-производственным объединением “Гром” в сотрудни-

честве со многими исследовательскими институтами Академии наук разработаны специальные ограждения...»

Этого неприятного слова – «ограждения» – не удалось избежать ни при каком редактировании, и заинтересованные лица в Москве советовали будущему докладчику миновать неудобное место как можно скорее, не давая слушателям времени осмыслить и возразить. Однако Александр Августович слишком волновался; в первую минуту он, выступавший всего второй раз в жизни, попросту растерялся перед чужим залом: ему не хватило занавеса, чтобы освоиться с обстановкой; он шел к трибуне на глазах у всех и так и остался там без укрытия – нельзя же было принимать всерьез жалкое пулестойкое стекло. Кое-как он все-таки расчитался и даже проскочил пресловутые «ограждения» с нужной скоростью, но шумок в зале все же пронесся – с некоторой, обманувшей Александра Августовича, задержкой из-за отставания перевода; читая уже на абзац дальше, он решил было, что пронесло, и перевел дыхание. Этой паузы ему хватило, чтобы заметить оживление в рядах, и даже его скверный слух разобрал отдельные смешки и повторяющееся «железный занавес». Между тем то, что зал понял плохо скрываемую суть, было вовсе не разоблачением, а всего лишь пунктом продуманной в московских сферах программы – наживкой и уступкой одновременно. Не зная этого и за невозможностью ничего исправить, он помчался дальше; в горле пересохло, но теперь он не решался даже и на такой ничтожный перерыв, в котором уместился бы единственный глоток воды. Отрепетированные покашливания, междометия и будто бы нечаянные отступления, которыми Александр Августович хотел оживить или разбавить чтение, теперь пошли прахом – быть может, и к лучшему, оттого что негоже одному отступить от текста, над которым трудились несколько человек (более того, уже согласованный с кремлевским начальством доклад был пристрастно отредактирован настоящим писателем, кажется, даже поэтом, рекомендованным Александру Августовичу дочерью. Окончательный вариант показался ему несколько витиеватым и нескромным, особенно в части, где проект железного занавеса преподносился как продукт национального гения, но он утешил себя мыслью, что красота не бывает чрезмерной. Узнав, сколько заплатили поэту, он ужаснулся, но промолчал, и лишь в самолете вспомнил, что и сам давно содержит в штате какого-то сочинителя).

Несмотря на то, что оживление в зале не было неожиданностью, Александр Августович расстроился. До сих пор он, оказывается, ждал триумфа – и не заработал даже скандала; вечер прошел без интервью и приглашений на банкеты, бессонная ночь – без телефонных звонков, и

только утренние газеты не остались равнодушными. Александр Августович, не рассчитывавший на воспитанность журналистов, получил своеобразное удовольствие, просмотрев заголовки, наперебой кричавшие о наглости русских, явившихся в гости со своим железным занавесом; он подумал, что ведь и в Тулу со своим самоваром не ездят.

Только одна заметка задела его за живое – так возмутила, что не вышла из головы даже по возвращении домой: в ней Александра Августовича, всего лишь немолодого, назвали престарелым джентльменом.

Все это, однако, имело место позже, в первые же минуты после выступления, в перерыве не произошло ровно никакого движения: никто не подошел ни с поздравлением, ни с утешением, ни с упреком – то ли уже избегали, то ли еще не поняли провала. В довершение всего где-то затерялся приставленный к нему переводчик, и Александр Августович, хотя и понимавший немного по-английски, почувствовал себя совсем беспомощным; это, видимо, было написано на его лице, потому что от группы беседовавших неподалеку элегантных мужчин отделился один, с золотой шишечкой в галстук, и вполголоса поинтересовался, нет ли у господина Лозаннского проблем. Нет, посторонней помощи ему не требовалось, и незнакомец, назвавшийся генералом Арчером, вздохнув почти с облегчением, пригласил его в бар. Реакция неискушенного советского инженера была мгновенной: «Но и мне придется ответить тем же! Да и не провокация ли это?» Он не сразу понял, что генерал, хотя и с акцентом, но говорит по-русски.

Незнакомый с антуражем американских фильмов, Александр Августович нашел, что бар сильно уступает привилегированному московским буфетам: все здесь было не дуб, зачерненный металл и хрусталь, а кожа, пластик и никель. Разнообразие напитков приятно взволновало его, но необходимость немедленного выбора привела в замешательство: этикетки бутылок ничего не говорили ему. Он едва не ответил безошибочно: «Коньяк», – но запнулся, сообразив, что, когда платит другой, неприлично заказывать дорогой (вероятно) напиток; прочие известные названия вылетели из головы, пауза постыдно затягивалась, и лишь когда во взгляде Арчера стало проступать явное недоумение, он вспомнил: виски.

– Найдет ли меня здесь мой переводчик? – с сомнением проговорил он и, с не меньшим сомнением пригубив питье (виски он прежде не пил, и это могла быть отчаянная гадость), приятно удивился: – Отличный сорт.

– Найдет, – заверил генерал. – Эти господа умеют видеть сквозь стены. Да и пока вам нечего беспокоиться: мой русский далек от совер-

шенства, но не настолько, чтобы мы не объяснились. Главное, было бы желание.

Отвечая, Александр Августович попробовал улыбнуться – как он думал, по-американски, то есть показав все зубы; это привело только к мгновенной шепелявости. Разглядеть свою улыбку в зеркале за спиной бармена не удалось: он нашел там отражения бутылок – и никаких лиц: ни своего, ни того, кто мог стоять за спиной, наблюдая; он не был уверен, что ведет себя в границах дозволенного.

– Беспокойное место, – понял его генерал. – Не пересесть ли нам за столик? Тогда вы первым увидите своего переводчика.

– Бедлам, – согласился Александр Августович, устраиваясь лицом ко входу.

– Устройте «Зону спокойствия», – посоветовал (с американской улыбкой) Арчер.

– Затея не окупится.

– Опытные образцы всегда дороги, но техника развивается так быстро, что я не удивлюсь, если вы лет через пять привезете на выставку мобильный вариант. Но постойте, не отвечайте: мне не хочется выпытывать ваши коммерческие тайны. Вернемся в наше время: все, что мне хотелось бы знать, это не означает ли демонстрация вашего сооружения готовности на его продажу или аренду?

– Но я не занимаюсь торговлей, – смутился Александр Августович; в Москве никому не пришло в голову, что американцы станут прицениваться к советскому железному занавесу. – Вы должны были получить листовочку, где расписаны роли всех членов делегации. Более того, я боюсь, что такие вопросы решаются только в Москве, на самом высоком уровне. Я, мистер Арчер, всего лишь технический специалист.

– Стив, – поправил генерал. – Мое первое имя – Стив. Будем проще, тем более в баре. Правда, мы с вами сразу заговорили о серьезном деле, но ведь это так нечаянно трансформировалась моя шутка. Простите. И еще раз простите, если то, о чем я спрашиваю, секрет. Поверьте, я не пытаюсь вас рас-ко-лоть.

– В чем же, уважаемый Стив, можно меня расколоть? Я представляю здесь проект, одобренный министерством здравоохранения: в нем возможны только врачебные тайны.

– Что ж, и в раскрытии, и в сохранении секретов есть свой азарт. Но вы, я думаю, не игрок. С вами нужно заключать простые, честные сделки.

– Как и со всеми, – сухо ответил Александр Августович, уставший ждать провокации. – Странно все же, что вы завели со мной этот разгово-

вор, то есть не то странно, что со мной, а то, что незачем вам покупать чужое, когда можно продавать свое.

– Вы заблуждаетесь, – осклабился генерал, – а вам ли не знать, как сложна жизнь и как в ней сложна политика, которую руководит даже не азарт, но алчность? Боюсь, что вы, в таком почтенном возрасте, напрасно ввязались в наши игры: они даже в случае выигрыша бывают связаны с неприятными открытиями.

– Я – технический специалист...

– Вы-то и должны знать цену собственному проекту.

Арчер чего-то не договаривал, и нужно было спросить его о сути дела напрямик, но Александр Августович не знал, как поставить вопрос, не выдав истинного назначения своего экспоната. Найдись время, все, возможно, прояснилось бы постепенно, но едва начавшийся разговор (они только успели перейти от рынка к напиткам) был оборван самым решительным способом: некий молодой человек, стократ извинившись, увлек генерала наружу, к телефону. Александру Августовичу не удалось воспользоваться уединением, чтобы разобраться в причинах охватившей его смутной тревоги: рядом тотчас обнаружилась новая фигура – скучающий соотечественник Сергей Иванович, приданный делегации для помощи всем и вся, а в действительности только мешавший своим бестолковым присутствием.

– Ба, товарищ Лозаннский, – без восклицания проговорил тот, – вы первый из наших, кого я встретил в перерыве: все растворилось без осадка. Кстати, где ваш толмач?

– В уборной, должно быть. Я не сторож ему.

– В самом деле, не похитили же его, – кисло пошутил Сергей Иванович. – Впрочем, с них может стать. Помните, нас предупреждали, что возможны любые провокации?

– Полноте, друг мой, зачем им это?

– Переводчику платят огромные деньги за то, чтобы вы не испытывали затруднений, а у вас он за эти же деньги играет в прятки. Вы ведь на языках не говорите?

– Почему же, пару фраз о погоде составлю. Да в этом и нет надобности: в отличие от нашего брата туземцы владеют языками.

– Русским – одни разведчики. Между прочим, туземец, с которым вы обсуждали погоду в Африке, носит погоны.

– Совершенно справедливо, друг мой, он так и сказал.

– Скажите-ка, не темнит, – изумился Сергей Иванович. – И что же, вы с ним выпили, разговорились – о чем?

– О чем говорят за стаканом виски? О том, какое впечатление произвела на меня Америка, о том, какое беспокойное место этот бар и как не хватает в нем женщин... Да, и еще о том, что руководит жизнью, а что – политикой.

– И ради этого он вас угощал? – с заметным раздражением усомнился Сергей Иванович. – Мне почему-то никто стаканчика не поднес.

«А что вы за птица?» – подумал Александр Августович, произнося:

– Один серьезный вопрос генерал все же задал: поинтересовался, кто у нас уполномочен заключать сделки. Штаты, видите ли, прицениваются к моему сооружению. Я назвал вас, – с удовольствием солгал он.

– Вы с ума сошли!

– Это дано не каждому. Но и в самом деле, кажется, только вы один знаете, кому его переадресовать.

Ничего не сказав на это, Сергей Иванович вышел в коридор, оставив Александра Августовича с пустым стаканом и с догадками о том, зачем американцам понадобилась лицензия на собственную технику, так добросовестно скопированную умельцами из Анучина.

## 16.

Считая вполне нормальными те обстоятельства своей работы, от которых стонали многие его коллеги, Деригузов не сразу оценил (да и заметил не тотчас) свалившуюся с неба возможность называть вещи своими именами, в том числе – именами собственными, а оценив, понял, что стоит как следует поторопиться с обнародованием жизнеописания своего героя. Сразу же обнаружилось, что он обладает о том весьма отрывочными сведениями, в частности, не знает, был ли тот репрессирован, изменял ли супруге, как обычно проводил отпуск и, наконец, как дошел до идеи железного занавеса. Срочно попытать обо всем этом Лозаннского, доведя его до состояния безудержных воспоминаний, не удалось: тот увильнул, улетев в Америку – на несколько дней, но достаточно надолго, чтобы Деригузов забеспокоился: светлая полоса могла закончиться, уступив место и время новым запретам и гонениям, и дорог был каждый день; он от волнения даже не сразу сообразил расспросить бывших коллег Александра Августовича по «Протеатру» и, уж конечно, его домочадцев, наверняка знающих то, что старик давно забыл. Все немногое, что требовалось для написания казенной брошюры, он мог бы узнать и по телефону, но ему надо было удовлетворить не только постыдное любопытство публики к подробностям бытия известной личности, но и собственное

постыдное любопытство к подробностям бытия субъекта, позволившего себе повторить деригузовские черты. Поведение того выходило за объяснимые рамки, и Деригузов, абсолютно уверенный в том, что поступки каждого из двойников должны отвечать какому-то общему для обоих образцу или, как модно стало говорить в последнее время, программе, был вынужден признать, что никогда не стал бы делать многого из того, что позволял себе Лозаннский – например, не переехал бы жить в Анучино из центра. Сам Деригузов, когда бы имел жилье внутри Садового кольца (более того – на Бульварном!), ни за какие коврижки не расстался бы с таким местом, от которого было рукой подать и до самого разного начальства, и до саун и баров, да и просто до пересечений важных путей.

Непреренно желая увидеть своими глазами, от какой же такой развалины отказался старик, Деригузов, разговаривая с его внучкой, нахально настоял на посещении квартиры, описание которой будто бы следовало если и не привести в тексте, то хотя бы иметь в уме при работе. Развалина оказалась добротным зданием дореволюционной постройки – со стенами метровой, надо полагать, толщины и с высоченными потолками; в подъезде, правда, стоял прескверный запах – но это уже была дань времени. Входя в лифт, Деригузов придержал дверь, потому что поспешный перестук каблучков, который он слышал за собою еще на улице, продолжился, усилившись, и в подъезде; он, собственно, так и загадал на подходе, что если эта женщина войдет следом за ним в парадную, то сегодня ему будет удача во всем (и чуть позже, в дверях, добавил: с нею).

Молодая женщина, запыхавшись, поблагодарила его за ожидание, назвала свой этаж – и всполошилась:

– Что с вами?

– Испугался, – честно признался он, стараясь не смотреть на ее рассыпанные по плечам русые волосы, круглое личико и почти не подведенные серые глаза: перед ним стояла его Галя, только без знакомых родинок и шрамика под бровью.

– Вам помочь? – спросила она, выходя вместе с ним. – Я врач.

– Борьба за совмещение профессий. А как же музыкальная школа?

– Школы я не обслуживаю. Что вы сейчас ощущаете?

– Ужас.

– Что вас напугало? Кто-то вас преследует?

– Ах, нет, не то, – понемногу приходя в себя, устало произнес Деригузов. – Впрочем, в этом роде. Вам этого не понять. Но и всякому стало бы не по себе от таких перевоплощений.



– И часто это у вас?  
 – Второй раз только. Сначала увидел себя, теперь – вас.  
 – Неужели я такая страшная? – спросила она, краснея.  
 Вместо ответа он достал из бумажника Галину фотографию.  
 – Приятная девушка, – похвалила она. – Я рада за вас.  
 – И только? Это фото вам ни о чем не говорит? Поглядитесь в зеркало – одно лицо.  
 – Фу, какая пошлость: ах, вы похожи на мою маму, ах – на первую жену, ах – не сестра ли вы ей. Отвечу сразу: у родителей я одна, сестер нету даже двоюродных и я замужем. Впрочем, если вы правы, забавно было бы встретиться с вашей знакомой на улице.  
 – В интересах единства, – привычно определил Деригузов.  
 – Лучше бы это было в моих интересах, – вздохнула она. – Так что прощайте. И передайте привет вашей девушке от Татьяны Евгеньевны.  
 – Напишите ей! Это было бы интересно обеим.  
 – И обменяться фотографиями?  
 – Конечно. Иначе для чего затевать все дело?  
 – А потом – паспортами, – понимающе продолжила она. – Мы с нею, по-моему, не похожи, но тут вам виднее – и представляете, что в такой ситуации значит потерять паспорт с московской пропиской?  
 – Кто же вам предлагает? К тому же, она не авантюристка, как многие.  
 – Что ж, поделом мне, – снова вздохнула Татьяна Евгеньевна. – Вечно я суюсь, куда не просят. Мерила бы себе давление...  
 – А что, у вас – тоже повышенное?  
 – Сказали бы лучше, к кому идете. На своем участке я знаю всех.  
 – К Лозаннскому.  
 – Был такой старик, но съехал.  
 – В каком смысле?  
 – В прямом. Переехал куда-то в пригород. Напрасно вы поднимались.  
 – А вот и нетушки, – неожиданно игриво возразил Деригузов. – Я к родственникам. Только сейчас сообразил, что у них должна быть другая фамилия.  
 Вслед Татьяне Евгеньевне он посмотрел с сожалением и все еще со страхом, не ожидая от учащения встреч с подобными ничего хорошего. Вместе с тем ему не терпелось увидеть внучку Лозаннского, безусловно должную походить на деда (лучшие черты передаются через поколение), а значит, и на его двойника, Виктора Деригузова; настроенный на это, он, увидев, не смог скрыть разочарования.

– Так и будем молчать? – спросила она со своей стороны порога.  
 – Не в этом дело, – махнул он рукой и наконец представился. – Мы с вами условились, и я подготовил внушительное выступление, а тут – такое неприятное происшествие. Словом, я настолько выбит из колеи, что, может быть, нам лучше перенести встречу.  
 – Ну уж нет, – запротестовала Карина. – Второй раз я не стану ломать из-за вас свой день. И стоять с вами на сквозняке тоже не собираюсь. Заходите.  
 Передняя, из которой открывался длинный полутемный коридор, показалась Деригузову чересчур мрачной. Стену по правую руку от вошедшего заслоняли два старых дубовых шкафа, в левой же была чуть приоткрытая дверь; его так и подмывало заглянуть в шелку. Заметив интерес гостя, Карина равнодушно бросила, что там жил дед, но заглянуть внутрь не предложила, а провела через всю квартиру в тесную каморку, где усадила на жесткий стул, втиснутый между секретером и кушеткой.  
 – Что за беда приключилась с вами? – вежливо, как врач, поинтересовалась она.  
 – Завод кончился, – процедил Деригузов, вовсе не настроенный распространяться о своих встречах с двойниками.  
 – Хотите выпить? Должно полегчать.  
 – Собственно, я... – сбитый с толку таким приемом, он не знал, что сказать. – Впрочем, спасибо, с удовольствием.  
 Пока она ходила за бутылкой, Деригузов осмотрелся: он сидел в типичной девичьей комнатке, похожей, в его читательском представлении, на комнату горничной в отеле и снабженной всякими необходимыми салфетками и подушечками, пребывавшими, впрочем, в беспорядке, равно как книги и тетради; размеры помещения озадачили его – от внучки главного конструктора можно было ждать большего, – но вся квартира показалась громадной.  
 – Вообще-то это вы должны были мне поставить, – весело сказала девушка, вернувшись с подносом.  
 – В другой раз – обязательно, – усмехнулся он. – Я же не в гости шел. А в деле (в нашем деле) возможны, если смотреть по-европейски, два подхода: либо газета платит гонорар интервьюируемому, либо тот платит газете за рекламу. В обоих случаях за мной не заржавеет.  
 Увидев, что она налила поровну и немало, он оживился:  
 – Быть может, сразу перейдем от деда к делу?  
 – Надо понимать так, что вы готовы заняться со мной любовью?

– Вы, однако, сразу берете быка за рога, – поперхнувшись, еле говорил он.

– Что под руку попало, за то и беру.

– Эх, работай я в своей старой газете, обязательно сманил бы вас. Мне как раз такого бойкого язычка не хватало. Впрочем, что было, то прошло. Налейте-ка еще – и перейдем к интервью.

– Нет, сначала – перейдем. Насколько я понимаю, вы ждете рассказа о дедушке.

– Совершенно справедливо: рассказа, а не рождественских историй или классных сочинений о том, какой человеческий человек был ваш дедушка и как обещал малышке-внучке поставить вокруг кровати железный занавес для защиты от волков и Бармалея. Мне бы только посмотреть, где он жил, да понять обстановку в семье.

– Обстановку и я не понимаю, а место происшествия осмотрим тотчас, пока не затоптали следы. Пойдемте, – живо вскочив с места, Карина потянула гостя за рукав; на пороге бывшей комнаты своего деда, она, широко поведя рукою, продекларировала: – Вы находитесь в историческом месте. Здесь жил и работал замечательный изобретатель Александр Августович Лозаннский. Подлинная обстановка комнаты, к сожалению, не сохранилась. Великая идея, озолотившая Лозаннского, родилась в часы раздумий, когда, стоя у этого окна и упиваясь дивным ароматом двора, он наблюдал за непростой жизнью винного завода.

– Счастье, что тогда не было сухого закона, – трезво заметил, выглядывая в двор, Деригузов.

– Да, в то время еще можно было не пить по каждому случаю.

– Но я трезв, как стеклышко.

– Кто же о вас беспокоится? – презрительно скривила рот Карина. – При вашей профессии, дорогой товарищ, надо бы уметь мыслить масштабно.

– Куда уж масштабнее: приходится заглядывать в такие дали, что... Послушайте! – вскричал он, осененный новой идеей, родившейся, когда, упиваясь дивным ароматом двора, он наблюдал за непростой жизнью винного завода, а именно – за пьяной дракой. – А нет ли у вас семейного альбома? Сашенька-школьник, Сашенька в колыбельке, снимок папочки, снимок маменьки?..

Ему пришло в голову, что их, его и Лозаннского, родители вполне могли бы быть похожи – иначе с чего ж началась вся эта сводящая с ума история? Когда бы это предположение подтвердилось, то стало бы ясно, что и дети станут неотличимы – при соответствующем выборе

им, Деригузовым, супруги (и тогда придется их наплодить: не пропадут). Он оценивающе оглядел внучку своего двойника.

– По-моему, дед забрал альбом с собой, – неуверенно проговорила она.

Поскучнев, Деригузов вынул блокнот и задал первый вопрос: о том, как ее дед относится к новейшей внутренней политике – при его-то очевидном консерватизме.

– Он изобретатель, а не консерватор, – обиженно возразила Карина.

– Всю жизнь просидевший на одном стуле.

– Не всю, а много лет. В Москву он приехал еще, кажется, в войну (во Вторую мировую), удачно женился и остался здесь навсегда. До этого же прозябал в деревне, в глуши: в Саратове. Увы, сведений о том, кем он был в предыдущей жизни, не сохранилось. Одно несомненно: его характер и прежнее воплощение тесно связаны.

– Что, если он сейчас тоже... воплощается? – неуверенно спросил Деригузов, только сейчас сообразивший, что Карина спокойно отнеслась к его внешности – так, будто не встречала похожего на него человека. – Что, если где-то на земле живет точная его копия? А внешнее сходство – не говорит ли о родстве душ?

– Надо же, куда вы загнули! Но вы исходите из наличия у деда и двойника и души – не слишком ли жирно?

– В человеке все должно быть прекрасно – и душа, и тело двойника, и тряпки, – к месту заметил Деригузов. – Одним словом, советскому человеку – красивую одежду!

– Во всяком случае, – продолжала она, – ни того, ни другого я у деда не видела. Так и можете записать в свой блокнотик, сэр, как говорил мистер Адамс.

«Дудки, – весело подумал он, – такие глупости пишите сами, а я напишу, например, о том, как маленький Сашенька Лозаннский был влюблен в гимназисточку, жившую за высоким глухим забором. Он подглядывал в замочную скважину калитки, откуда была видна веранда, но барышня любила прогуливаться по обширному саду и он, то и дело теряя ее из виду, мечтал, чтобы и калитка перемещалась вслед по хозяйкою вдоль всего забора и открывалась в любом нужном месте. Эта идея чудесным образом... и так далее, и так далее».

– А не приходилось ли вам, – через несколько дней, будучи приглашен самим Александром Августовичем на новую квартиру, осмелился спросить у того Деригузов, – не случалось ли мечтать в отрочестве, чтобы какая-нибудь калиточка в соседском заборе не только открывалась бы, как по шучьему велению, безо всяких от-

мычек, но и оказывалась бы всякий раз в новом, удобном для вас месте?

Ответ оказался довольно сух:

– Меня, друг мой, в те годы занимали куда более серьезные проблемы. Да это и не относится к нашему делу.

– В нашем деле всякое лыко можно приспособить в строку. Словом, будь я настоящим писателем – относилось бы.

– Что же говорить о том, чего нету? – с иезуитской улыбкой немедленно отозвался Александр Августович; собственный тон удивил его, после заграничной командировки пребывавшего в благодушном настроении. По дороге туда он, волнуясь за успех своего выступления, думал если и не о нем, то о возможных провокациях со стороны ЦРУ, на обратном же пути, довольный тем, что в конечном счете все обошлось без заметных потерь, подсчитывал в уме возможные барыши от поездки, склоняясь к тому, чтобы в самом ее факте видеть бесспорное признание своих заслуг: в противном случае его доклад читало бы с трибуны какое-нибудь подставное лицо из КГБ. Сам он, кажется, не ударил лицом в грязь: даже беспокойстве по поводу известной нам заминки оказалось в конечном счете напрасным: тревожное молчание первого дня неожиданно разрешилось взрывом искреннего интереса заморских коллег, сдобренных приглашениями на всяческие выставки и симпозиумы; теперь он повторял себе, что прав был тот, кто, наставляя его в Москве, пренебрежительно бросил: «Подумаешь, двадцать минут позора, зато потом слава – до гробовой доски,» – и что, если он неплохо держится на сцене, то надо спешить играть еще и еще, чтобы повидать мир. Правы были также и тот, кто пустил в ход выражение «Весь мир – театр» (Александр Августович склонен был приписывать авторство Александру Блоку), и тот современник, который назвал свой театр железным – понятно, какой занавес видела там публика, которая в давние наивные времена приходила в экстаз от вида актрисы, на незаметной проволоке пролетающей на фоне задника. Те же зрители награждали аплодисментами появление на сцене живых лошадей; в театре Лозаннского стало возможным показывать живые танки. С состраданием поглядывал он на другие, пока не отданные ему подмости, на которых старомодные режиссеры ставили абсурдные спектакли без декораций и костюмов, зато с массовками на площадях, с нервными монологами недавних ссыльных и с осквернением святынь; поначалу потуги соперников раздражали его, но после собственной премьеры он понял, что не стоит обращать внимание на мелочи. Верно угадав поднимающееся настроение шефа, референт напомнил ему о программке, какую пристало

продавать в фойе, – о книжке, которую брался написать нанятый журналист с козлиной фамилией; теперь, когда сказанного с чужой трибуны было не вернуть, ничто, кажется, не могло помешать ее изданию. Следовало вразумить будущего автора, и Александр Августович распорядился вызвать того на квартиру, чтобы поговорить без помех; тотчас напрочь забыв об этом, он в условленный час, выйдя в халате, устался на посетителя с недоумением.

– Вы меня вызывали, – обиженный заминкой, объяснил тот.

– Не ждал, – проворчал Александр Августович в оправдание своего туалета. – Что же, если уж пришли, пожалуйте в кабинет.

С одним его кабинетом – бывшим – Деригузов только что познакомился; новый был тому не чета: наскоро обставленная коробка из-под обуви с видом из окна на панельные дома за невеликим пустырем, то есть – без никакого вида. Сообразно устройству здесь должны были идти и дела – в том числе и у гостей, в том числе и сию минуту, у нынешнего; тому, правда, грех было бы жаловаться после своих достижений в бывшем доме шефа, где тамошняя внучка не только поднесла в первую же минуту добрую чарку, но и, после своего рассказа о чем просили, устроила славную неофициальную часть – которой Деригузов было честно воспротивился, сознавая, что всякое развитие событий чревато катастрофой.

В новой квартире от каждой двери до другой легко было дотянуться, раскинув руки; хозяин так и сделал, указывая дорогу и тем самым перекрыв проход к ванной.

Едва они расселись, как многожды закуковала кукушка, явно перebarщивая, так как предвиделась всего лишь половина очередного часа, – но это был сигнал настенного телефона; Александру Августовичу пришлось подняться, чтобы снять трубку и заодно подтянуть гирю. Звонил (но тут надобно применить иное слово) новый знакомый по полету в Америку, буровик. Александр Августович нелюбезно сообщил, что занят, однако тот все же успел выложить главную новость: предложение об учреждении директорской академии, до сих пор служившее лишь темой приятных разговоров, вдруг нашло поддержку в инстанциях, даже и в министерстве финансов; теперь господин Лозаннский приглашался для обсуждения структуры будущего заведения.

– Удивительно, с какой быстротой и в каком количестве могут теперь происходить перемены, – сказал Александр Августович сам себе, вешая трубку. – Впрочем, им, видимо, нужен очередной зиц-председатель.

– Откуда такая диковина? – спросил гость, кивая на аппарат.

Ответ был простодушен:

– Радиоцех подарил на день рождения. Наши умельцы, сами знаете, блоху подкуют, а тут только и хитрости, что соединить телефон с ходиками.

Вернуться на место ему помешал новый вызов; на сей раз куковал Пшенко:

– Извините, Сан Густыч, что отрываю, но я получил пренеприятнейшее известие. Один приятель с Лубянки позвонил в полной прострации...

Александр Августович невольно поежился.

– ...а часом позже я добыл и официальную бумагу – вот, лежит на столе. Я звоню со службы. Словом, помните вашу беседу в американском баре с каким-то типом из ЦРУ?

– Но я не сказал ничего лишнего!

– А, вот вы о чем! Успокойтесь, Сан Густыч, никто вас пальцем не тронет. Дело обстоит гораздо хуже: лишнее говорил как раз он.

Дело обстояло так плохо, что Александр Августович в самом буквальном смысле слова лишился речи, так что долгое время не мог не только, перебив Пшенко, задать тому вопрос или выразить возмущение, но и просто вскрикнуть. Произошло то, чего он в глубине души побаивался с самого начала своего директорствования в Анучине: разведка наконец-то открыла полнейшее отсутствие у противной стороны и самого железного занавеса, хотя бы в виде макета, и всякого желания его установить: все сведения о нем, какими с аппетитом пользовались подданные Лозаннского, переписывая расчеты и копируя чертежи, оказались натуральным обманом.

– Да что ж вы молчите? – вскричал на том конце провода Пшенко. – Поймите наконец, что мы, все мы, от мала до генсека, заблуждались насчет нашего милейшего вероятного противника: нет у него ни-ка-кого занавеса, даже в проекте!

Деригузов, не слышавший ни слова, и то почувствовал отчаянную боль в сердце.

– Но когда есть копия, должен иметься и оригинал, – сумел кое-как проскрипеть Александр Августович, знаками прося Деригузова подать лекарство. – Что же мы копировали?

– То, что нам подсунули: чистейшую «дезу».

– Простите?

– Дезинформацию, – с раздражением перевел Пшенко. – Мы, дураки, радостно вычисляли, сколько целковых сэкономили, пользуясь

чужими документами, а на самом деле выставили не мы их, а они нас. И вы знаете, на какую сумму.

Величину суммы Александр Августович запомнил, зато, вдруг успокоившись, с удовольствием подумал о кое-каких делах, надобность в которых теперь отпадала, и похвалил себя за дальновидность, проявившуюся при недавнем представлении работников «Грома» к наградам: найдя в коротеньком списке награжденных орденом Ленина фамилию начальника отдела информации, он с нарочито недовольной миной переменял тому орден на незначительную медаль: невелика была птица (между тем, без американских подсказок, ежедневно подававшихся этим самым начальником на стол главного конструктора, к назначенному сроку не было бы готово и четверти чертежей). Теперь, когда подсказки оказались неверными, стало ясно, что не поступи он так – и вышло бы, что высший знак отличия пожаловали человеку за явную ложь. Это соображение он пока оставил при себе, а вслух сумел пошутить:

– Что вы паникуете? Работа сделана, и отступать некуда. Больше того, вздумайте: мы же догнали и перегнали Америку!

– О-о-о! – взревел Пшенко. – Гнали, перегнали – за это теперь разгонят нас. У вас-то хотя бы пенсия есть.

Переход с нынешних сумм на сто тридцать пенсионных рублей представить было невозможно – денег не хватало и сейчас, – но Александру Августовичу уже не хотелось ни подсчитывать грядущие убытки, ни вообще гадать о судьбе.

– Дочке не позвонить ли? – участливо спросил Деригузов. – Да и наша с вами встреча сегодня нехстати. Полежите, отдохните, а там видно будет.

– А что, собственно, случилось? – попытался прикинуться Александр Августович.

– А что все же случилось? – любопытствовал, крутя ус, Деригузов. – Капельки...

– Это у меня бывает: сердечно пошаливает. Стариковские дела... Нет, друг мой, давайте работать: время уходит. И – откуда вы знаете о дочери?

– В народе знают все.

– В народе! – возмутился Александр Августович; может статья, там, в народе, давным-давно знали и о том, что он попался на удочку, и посмеивались.

– Что вы так разволновались? Насчет книжки не беспокойтесь: если мы даже сейчас отложим наш разговор, дело стоять не будет.

Что-нибудь да напишу. Текст я в общих чертах представляю, а детали и даты уточним, когда вам будет угодно. Конечно, удобнее с самого начала руководствоваться какой-нибудь общей идеей, стержнем – и об этом нам с вами хорошо было б договориться как можно раньше, ведь к любой биографии можно подойти с самых разных сторон.

– И менять судьбу? – вдруг пришло в голову Александру Августовичу.

– И менять судьбу? – изумился Деригузов, разом вспоминая все предыдущие свои соображения о двойничестве, в том числе – и о разветвлении судеб. – Разве она не определена внешностью? Нет, не менять, зачем же так сразу. Разве вашу, например, судьбу легко исказить в изложении? То-то. Мне хотелось бы представить вас человеком одной идеи, которую вы вынашивали пусть и не с детства – это уже перебор, – а с того хотя бы момента, когда вы в «Протеатре» впервые проектировали пожарный занавес.

– Вы и о «Протеатре» проведали? Интересно, из каких источников. Кстати, славное было время.

О проведенных в «Протеатре» годах Александр Августович вспоминал чаще, чем это было бы разумно, и непременно – с тоскою, словно о молодости, только ощущая эту пору отстоящей от нынешних дней даже дальше, чем молодость; по другому счету – не по протяженности, а по значению, по весу – прожитый век делился для него на две равные части, отданные одна – «Протеатру», другая – «Грому»; прочее казалось несущественным.

– Между прочим, – с нажимом повторил он, – славное было время. Там я проектировал не одни механизмы сцены, не только противопожарный, но и настоящий железный занавес.

«Столько работы – псу под хвост, – подумал он с ужасом. – Да и как все не вовремя: дали бы сначала организовать директорскую академию, а потом устраивали разоблачения – и никакие скандалы не страшны. Позор-то какой! А прими они мой проект – сегодня никаких волнений не было б».

– Оружие холодной войны, – сказал Деригузов. – Чувствовали, что оно пригодится стране.

– Что значит – чувствовал? Мне была известна потребность в чем-то подобном (в книге непременно сохраните эту мысль, она важна. Записывайте, друг мой, записывайте. Напрасно я не пригласил стенографистку). Проект, как известно, позже претерпел изменения, и все же мы пошли своим путем, либо игнорируя обширную информацию о зару-

бежном аналоге, будто бы строящемся у вероятного противника, либо поступая вопреки ей. И что в результате? Аналог так и остался на бумаге, а мы с честью выполнили задание партии и правительства. Поезжайте-ка на границы, взгляните на изделие: стоит стеной, открывается, скрипит.

«И все это – дурацкая игрушка, – продолжил внутренний голос, – чужая декорация. Занавес поднимается, а спектакль отменили».

– Скрип мы опустим, – заявил Деригузов. – Могут понять неправильно. Хотя как раз в нем чувствуется что-то живое. Это очень важно – разбросать по тексту подобные словечки, отсылки к быту и простой речи: публика на них клюет. Ржавый занавес...

– Что такое вы говорите?

– Это я к примеру. Кстати, вы, Александр Августович, напрасно сокрушаетесь о стенографистке: и вы не для печати говорите, и я только высказываю соображения по поводу... От вас мне сегодня нужны одни мелочи жизни – иногда они играют огромные роли в судьбах выдающихся людей: наталкивают на открытия и так далее. Вот и я прошу вас вспомнить что-нибудь этакое, только, если можно, попроще, как если бы мы болтали по-дружески за чашкой чая.

Только теперь Александр Августович спохватился, что не предложил своему собеседнику ни кофе, ни чаю; извиняясь, он смутно сослался на некое, не выходящее из головы дурное известие – ничего, в принципе, не меняющее, а дурное по самой природе. Тут он замолчал, запутавшись в придаточных предложениях, и Деригузов, выручая, изъявил желание побаловаться чайком (оказавшимся под рукою, в термосе) и заодно напомнил о своем интересе к мелочам и к зарождению идеи. На сей раз ответ не заставил себя ждать.

– Была, друг мой, одна счастливая минута... Знаете, до вас никто об этом не спрашивал. Помните, когда по телевизору впервые показали парад на Красной площади... Поневоле припоминаешь... Так вот, сдавали мы театр в одном областном центре. В провинции, друг мой, попадают замечательные актеры. Чего стоит один театр Волкова – хрестоматийный пример. Мы с труппой обычно не сталкиваемся, но однажды, после установки моей конструкции здесь, в Москве, Охлопков произвел впечатление замечательным тостом.

– Так что же с занавесом из железа?

– Абсолютно ничего. Хотя с точки зрения механики имеется много интереснейших вещей. Например... хотя вы не поймете. Но вот сидел я однажды на партсобрании – добротное было собрание, не то,

что теперь, когда то уборщицы переизбирают директора института, то созывают народ под знамена, на улицу — согласно моде на митинги и демонстрации. Между прочим, я вчера подписал приказ об увольнении сотрудников, замеченных в участии в таких мероприятиях. Да, так вернемся к нашему собранию. Там-то все было по чину: президиум — на сцене, коллектив — в зале, все механизмы сцены (а это был театральный зал), все механизмы работают, и я подумал, какая великая вещь занавес: опустишь — и никто не узнает, что случилось с людьми по ту его сторону. То есть он в каком-то смысле дает власть. Людей за ним можно сводить, ссорить, заставлять плодиться, их можно казнить или развлекать — и все это остается неизвестным для живущих по видимую сторону. Подобным образом можно разгородить зал, а можно — город или страну. Конечно, я опоздал со своей идеей, что-то в этом роде, только символически, пробовали и до меня, но абсолютно решения до сих пор не существовало. Или — существовало, но его никто не помнит.

— А не бывает ли с вами, — мгновенно заглота нечаянный крючок, осмелился перебить Деригузов, — не кажется ли вам иногда, что происходящее с вами уже случалось когда-то? А если даже нет, то не ощущали ль вы параллельной жизни здесь, рядом, некоего тождественного вам человека?

— Подобную чепуху я уже, кажется слышал где-то. Не вздумайте об том писать. Я хочу сказать, что в ощущении того, что события повторяются, нет ни дурного, ни необычного, просто не нужно принимать это за поднимающиеся со дна остатки прапамяти. Что же касается тождественности, то вы, друг мой, пронизательны: мне постоянно кажется, будто я существую параллельно с самим собою: надеваю маску и живу рядом с исходным Лозаннским вполне недостоверной жизнью. Здесь, правда, скорее имеет место не тождество, но альтернатива — как, заметьте, всегда бывает с двойниками.

— Где двое, там и третий.

— Это уже что-то из области юношеских романов. Три капитана.

— Но ведь и юность была, и романы, и не в ту ли пору закладывалось все, что проявляется сегодня, на склоне, так сказать, лет? Не стоит ли поискать какую-нибудь гимназисточку в особняке за чужим забором — с единственными ажурными воротами, расположенными, как нарочно, в самом неудобном для наблюдения месте?

Тут, продолжая, он и задал вопрос о блуждающей калитке, с которой, как он полагал, выгодно было бы начать повествование — когда бы он сумел. Для него стало совершенно неожиданностью, что Александр

Августович, воспитанный человек, не скрыл своего злорадства, соглашаясь, что как раз и не сумел бы:

— Что же говорить о том, чего нету? Знаете, вы сейчас показались мне похожим, как две капли воды...

— Неужели еще на кого-то? — вырвалось у Деригузова; все внутри него мелко задрожало, как если бы он перепил кофе. — Но мне не справиться с таким кошмаром: нельзя же, чтобы подобия плодились с такой скоростью.

— Полноте, друг мой, я перестаю вас понимать. Метафоры, к которым вы так стараетесь подвести разговор, возможно, уместны в беллетристике, но вам я вынужден напомнить о необходимости... э... строгого следования фактам.

Следовать фактам — значило, прежде всего, говорить о плодящихся подобиях; но это была тема совсем другого, особого разговора.

— Так мы с вами просидим до утра, — вздохнул он, не печалась, а хваля себя за то, что почти все необходимое узнал у Карины, разговорчивости которой, очевидно, способствовала выпитая водка. — Жаль, что вы отказались от гимназистки. Хорошенький сюжетик вышел бы. На уровне мировых стандартов.

Давно уже никто не позволял себе такой наглости в отношении Александра Августовича. Некоторое время он молчал, собираясь с духом, чтобы прогнать хамоватого посетителя вон, выкрикнуть вслед, что увольняет того с завтрашнего утра, как проделал это с другими в своем служебном кабинете уже десятки раз, — но сейчас, дома, это не развлекло бы его и даже не сняло бы нервного напряжения, оттого что он ощущал не гнев, а только желание поскорее остаться одному.

— Простите, голубчик, — сказал он ледяным голосом, — что мне не хочется напрасно упражняться в красноречии. Вы не подготовлены к интервью. Прощайте.

— Что же вы сразу так... круто? — потерянно пробормотал Деригузов. — Если вы не в настроении — я понимаю, дурные вести, — то давайте, отложим...

— Вот-вот, отложим. И извольте загодя представить свои вопросы в письменном виде. А там уж я выберу способ ответить.

Но именно эту тираду секундою раньше приготовил в уме Деригузов для себя: «В следующий раз я загодя представлю свои вопросы в письменном виде. А вы там уж выберите способ ответить». Больше того, ему показалось, что весь, до последнего слова, диалог уже велся ими однажды.

## 17.

Не счесть людей, уходящих из нашей жизни навсегда; в большинстве это случайные встречные, с которыми не удастся (да и не возникает желания) перемолвиться хотя бы словечком и которые, выйдя из-за поворота или отделившись от толпы, едва не задев вас на ходу, тотчас скрываются из виду, чтобы не попасться на глаза уже никогда, — но есть среди них и ваши знакомые, с кем вы обычно не прощаетесь как следует, не ожидая скорой утраты, и лишь однажды вдруг замечаете, что, хотя они и находятся в добром здравии (а это каким-нибудь путем непременно становится вам известно), вы не виделись уже несколько дней, недель или месяцев, и что надежд на очередную встречу словно бы и не остается; причины тому бывают просты: например, женитьба, обмен квартиры или восхождение по общественной лестнице. Если подумать, то здесь нет особенных поводов для печали: эти люди продолжают жить в одном с вами городе, просто судьбе не бывает угодно привести вас с ними в одно и то же время в одну и ту же точку пространства. С судьбою, однако, возможны неазартные игры, и москвичи знают верный способ встретиться с кем-нибудь из навсегда пропавших — правда, без выбора персоны; для этого достаточно в час пик постоять у эскалатора пересадочной станции метро — кольцевой или в центре — и в потоке пассажиров непременно окажется кто-нибудь из старых знакомцев; единственная проблема тут — узнать, по прошествии многих лет, в лицо. Ежедневно меняя станцию, можно всего за пару недель вернуть из глубин нескольких человек, и тогда уже от вас будет зависеть, продолжить ли с ними отношения, вернуть ли в свой круг или самому войти — в новый или же, договорившись созвониться, потом так и не дать о себе знать. Железнодорожные вокзалы подходят для подобных опытов куда меньше, даже в дачный сезон, и тут всякую нечаянную встречу надо считать везением. Понипартову именно повезло, когда он очутился на вокзале вовсе не с указанной целью, а по другим делам (хотя и мечтал втайне вдруг увидеть в вагоне одиноко сидящую неведомую ее), и, войдя в вагон, вдруг увидел одиноко сидящую ее, слишком знакомую.

Дела его в выходной день были известны — доехать до живописного городка и там поснимать виды либо народ на базаре. Он вышел из дома довольно поздно, намереваясь при плоском полуденном свете лишь приглядеться к природе, а самое дело сделать, когда солнце начнет спускаться и удлинятся тени; час был таков, что желавшие уехать за город давно уехали и попавших в один вагон с Понипартовым можно было перечесать по пальцам, только он не стал ни считать, ни смотреть на них. Между тем у дальнего окошка уже притулилась она, и ей пришлось,

изрядно прождав, самой подойти и молча простоять над Филиппом несколько минут, пока наконец он не почувствовал неловкость от чьего-то близкого соседства. Нехотя подняв глаза, он узнал Наташу.

Здесь хотелось бы написать, что перед ним мгновенно пронеслись картины всех их давних свиданий и затаянного прощания, — но ничего подобного не случилось, память удержала историю при себе, и, хотя сердце все же дрогнуло, он повел себя так, будто встретился с соседкой по дому: спросил о делах и сделал комплимент.

Поискав изменений в лице и фигуре, он вдруг вспомнил сделанный Алешей ее портрет в виде рентгеновского снимка. Внешнее сходство с прежней Наташей, конечно же, было поразительным; о прочем он не мог даже догадываться.

— Куда же ты едешь? — ненужно спросил Филипп, как будто сам никогда прежде не ездил с нею по этой ветке на дачу к Алеше.

Не смутясь его невниманием, Наташа ответила обстоятельно, словно чужому.

— ...надо забрать оставшееся, — непредвиденно закончила она.

— погоди, ты что — съезжаешь? — поразился Филипп и угадал: да, съезжает; поразмыслив, не спросить ли, почему, он — не спросил и лишь предложил не слишком уверенно: — Я провожу?

— Тебе там не понравится, — предупредила Наташа.

Можно было подумать, что Филиппу нравилось там раньше.

После новой долгой паузы он заявил, теперь уже твердо, что поедет вместе с нею, и потом, только чтобы не молчать, принялся рассказывать, как, увидев однажды издали Алешу, удивился новому его облику; между тем, добавил он позже, во всех нас в связи с переменами в миру стали проявляться самые неожиданные черты. Что нового проявилось в нем самом, Филипп не ведал.

Все это говорилось им без воодушевления: в действительности ему хотелось только одного — порасспрашивать Наташу о происходившем с нею в то время, что они не видались.

— Спрашивай, — нетерпеливо велела она.

— Наверно, тебе ответить легче, чем мне — спросить. Ты и сама знаешь, о чем мне хочется узнать: что у тебя нынче за жизнь и... и, прости: одна ли ты?

— Прости и ты: негоже мне вытягивать из тебя вопросы, и в самом деле известные заранее. Но мне все же хотелось, чтобы ты произнес...

— Садистка.

— Если ответить в двух словах, то у меня все по-прежнему, если — чуть пространнее, то скажу, что живу с родителями, преподаю в шко-

ле рисование и черчение да еще даю частные уроки того же рисования и, как ни странно, русского. Последнее, конечно, каторга, потому что развитым детям подобные занятия не надобны и, значит, уровень моих недорослей убийствен. Представь, один из них вдруг написал: «В пиряде», — и я не смогла перевести это на человеческий язык без подсказки: помучалась минут пять и сдалась. Оказалось, что он имел в виду: «Вперед!».

— Бедная Наташа Ша. Этот мальчик, наверно, станет великим математиком.

— Или певцом.

— Для чего придется его кастрировать.

— Фу, прекрати! — Наташа прыснула было в ладошку и вслед за этим засмеялась уже в голос, до слез — так, что не могла остановиться, и Понипартов не понимал, смеется она или плачет, и пассажиры оглядывались на них.

— Господи, может быть, у кого-нибудь вода есть? — пробормотал он, с сожалением думая о своих нынешних напрасных планах.

— Знай: надо было по щекам хлестать, — немного успокоившись, с трудом выговорила Наташа.

— Представляю себе сцену!.. Глядишь, попал бы в участок и — прощай, будущее. Еще раз прости: тебе должны, наверно, претить разговоры о карьере. Во всяком случае, мне стыдно перед тобой за свое не то чтобы благополучие, но устроенность.

— Но ведь и я не рыскаю в поисках пищи. Платят, правда, негусто, но — платят. К тому же, в работе учителя есть одно светлейшее место: каникулы.

— Хорошо быть зимой медведем, а летом — учителем, — вспомнил он старую шутку. — Значит, на этом ты и успокоилась?

— Представь себе, как раз нет: буквально вчера дело сдвинулось, и нужно решаться на выбор. Недавно мне встретилась одна старая знакомая, вернее — жена знакомого, вернее — виделись в компаниях. Она тоже не из оседлых. Спрашиваю, где она работает, в ответ слышу: в редакции. «Чем же занимаешься?» — «Покупаю» «Что — бумагу, краску?» — «Да нет же: то, что на мне». На всякий случай я выпалила, что тоже хочу — не покупать, но в редакцию. Сказала — и забыла, а она, представь себе, позвонила через неделю и свела с кем надо. В общем, мы, кажется, договорились, но я для важности вдруг попросила время на размышление. На самом же деле — что там раздумывать?

Понипартов не спросил, а Наташа сама не рассказала ни о Симе (не съезжает ли тоже), ни об Алеше (почему отпускает). Сойдя с поезда,

он пошел за Наташей к даче, как к собственной: с ощущением, что там не может оказаться никого третьего. Калитка, однако, оказалась заперта настоящими хозяевами, и на звонок вышел незнакомый толстошей парень в чем-то черном и, не по погоде, в солдатских кирзовых сапогах.

Холстов в знакомой мастерской явно поубавилось; на месте отодвинутого к стене мольберта стояла на треноге фотокамера в окружении ламп, и перед нею позировали Алеша и молодая женщина — первый, как и обычно, во всем черном, только теперь не в кожаных пиджаке или куртке, а в футболке, галифе и сапогах; он сидел неестественно прямо, ногу на ногу, а его партнерша, голая под распахнутой шинелью, стояла, держась за высокую спинку стула, — в духе снимков начала века.

— Вот и еще один фотограф, — объявил Алеша при виде нагруженного кофром Понипартова. — Спешите, пока включен свет.

— Не мой жанр, — брезгливо бросил Филипп, все же поглядывая на женщину.

— Никто не знает заранее, в чем удастся себя проявить. Пробовать надо все.

— Но это же скучно: поставленная поза, гладкий фон... Уж намалевали бы пальмы...

— Сними, Фил, — вдруг сказала Наташа. — Когда-нибудь продашь за большие деньги.

— Неужели ты думаешь, что я так прославлюсь? — попытался отшутиться Понипартов, одновременно пробуя представить себе, что будет чувствовать эта чужая красотка, когда он станет разглядывать ее через объектив, неизвестно, наводя ли на резкость или только любуясь тем, чем нельзя.

— Смотри-ка, ему с нами скучно, — недобрый голосом сказал фотограф, отвинчивая от штатива камеру — чуть старомодный «Хассельблад». Понипартов с завистью уставился на дорогую игрушку.

— Что вполне объяснимо, — отозвался Алеша. — То, что ты, Глеб, только рвешься узнать, он давно забыл. А вы, Филипп, не стесняйтесь, щелкайте побыстрее. Птичка вылетит — и мы покончим с этим кошмаром двадцатого века.

— Ты что, — вздохнула Наташа, — успел выпить с утра?

— Лучше быть под мухой, чем на мушке.

— Ты повторяешь свои остроты. Во всяком случае, эту я слышала однажды.

— Но она же справедлива. Да и выпить никогда не грех, правда? Однова живем. Но снимайте же: дама запарилась в пальто.



Делая вид, что его к этому принудили, Филипп дважды нажал на спуск.

Живо вскочив с места, Алеша представил друг другу Понипартова и голую модель, назвав ту своей женой Татьяной. Филипп взглянул на Наташу — она еле заметно пожала плечами.

— А это Павел, мой оруженосец, — показав на парня в сапогах, сказал с непонятной ухмылкой Алеша. — Санчо Панса.

— Санчо Паша тогда уж, — пробормотал Понипартов.

— Надо же, какое событие, — язвительно сказала Наташа. — В этом доме приводят литературные примеры.

— Не всякий поймет твое тонкое оскорбление, — огрызнулся художник. — Но я давно сыт по горло упреками в том, что решил наплевать на вашу чистенную интеллигенцию с ее вечной болтовней о кумирах — то о Бродском, то о — дай бог памяти — Борхесе. В сотый раз скажу, что она порочна и продажна и что для меня единственный способ остаться человеком — это слиться с народом.

— Боже, как высокопарно! Тем более, что твой народ — это дно.

— Полноте вам, — вмешался Понипартов. — Нас и впрямь семьдесят лет приучали не различать народ и чернь, а ставить знак равенства.

— Да, потому что дважды два — четыре. Вы же, едва вообразив свободу слова, решили, что вольны ставить за этим знаком кто пять, а кто и вовсе ноль. В итоге — оглянитесь — разваливается великая империя.

— Если развалится — порадуемся за колонии. Какое благо было бы для Прибалтики выйти из Союза! Впрочем, по вашему лицу видно, что вы не согласны. А жаль: я-то считал вас, мастера, жителем Вселенной.

— Надо же, какие все стали смелые, — усмехнулся Алеша. — Какой-нибудь год назад вас бы за такие разговоры... Знаете, чем это пахнет?

— Так скипидаром же пахнет, — шумно втянув носом воздух, засмеялся Понипартов.

— Наша атмосфера ему нехороша, — сделал вывод фотограф.

— Глеб опять задирается? — спросила из дверей Татьяна, выходящая, чтобы одеться; на ней теперь было длинное облегающее платье забытого цвета сомон.

— Прелесть! — отозвалась Наташа о ее наряде. — Собираешься куда-нибудь?

— Скоро мальчики придут. Надо держать марку.

— Дойче марку, — сострил фотограф.

— Господи, как скучно, — поморщилась Наташа. — Пойдем, Фил, поможешь собраться.

В знакомую комнату Понипартов вступил, как в чужую. Лишенная вещей, она казалась сырой и холодной, как и всякая оставленная дачниками дача; из этого помещения успела выветриться память о ночах, проведенных здесь влюбленной парой («Влюбленными парами», — зло уточнил Филипп). Намалеванные на двери рожицы совсем уже безучастно тарасили свои глазенки; точно так же им предстоит наблюдать и за новыми обитателями — если только не будут покрашены.

Собирать Наташе было нечего — только снять со стены свою акварель да смахнуть в пакет рассыпанную по столу мелочь: расческу, заколки, тюбики с краской, книжку без переплета и что-то еще, чего Филипп не успел разглядеть.

— Ты иди, — усмехнулся он, — а я останусь за Фирса. Славный был уголок.

— Ну вот, сейчас начнется: а помнишь, а помнишь...

— А помнишь? — спросил он, но девушка не ответила.

Он-то, словно вернувшийся из странствий, как раз не прочь был предаться сантиментам, но этому мешало близкое соседство неприятной ему компании в студии; пусть Алеша и не сказал им дурного, но впечатление было таково, будто, сменив фасон платья и прическу, тот стал не просто другим, но нарочно чужим человеком.

— Жаль, что нельзя исчезнуть по-английски, — сказала Наташа. — Сейчас непременно зацепимся каким-нибудь словом, и тогда уж, не дай бог, пробудем здесь до прихода Алешиных «мальчиков»: они собираются для разговоров о политике, от которой меня уже тошнит. Тебе же лучше бы в такие споры здесь не вступать: иной раз они разгораются едва ли не до гражданской войны.

— Известно, что в спорах между противниками истина не рождается — только драка.

— Драка здесь уже случалась, если помнишь.

— А помнишь?.. — невесело улыбнулся он. — Впрочем, интересная была стычка.

Несмотря на опасения Наташи, уйти им удалось без задержки. Алеша, в ответ на прощальные слова Понипартова только заметил:

— Вот и у нас появился собственный эмигрант. До сих пор Наташа осуждала меня, а теперь, как говорится, выбрала свободу и станет бранить издалека, из-за черты.

— Когда-то ты соглашался, — грустно проговорила Наташа, — что всякая критика идет на пользу.

— Особенно вкупе с физическим воздействием.

— Мы с Филом только что вспоминали слепого искусствоведа.

– Как молоды мы были... – криво усмехнулся Алеша. – Удары, между тем, оказались болезненными. И все же, Наташа, напрасно...

– С богом, Алешенька.

Дорогу до станции Наташа с Филиппом прошли молча. У него перед глазами стояла угрюмая Пашина физиономия; Наташа, видимо, думала о том же, потому что на станционной площади вдруг сказала:

– Раньше попадались какие-то интересные лица, теперь же – стыдно сказать, что. Не люди, а типажи.

– Раньше, – отозвался Филипп, – мы довольно умно спорили с Алешей. Помнишь его палитру запахов? Он в том оказался прав, что наше бытие мерзко, и выходит, что какие добрые его стороны какими светлыми красками ни пиши, все равно получится, что описал – мерзость.

– Да вот она, перед тобой, – кивнула Наташа на очередь за водкой, растянувшуюся на квартал; люди, измученные ожиданием, сидели и лежали на траве вдоль придорожной канавы, некоторые из дождавшихся тут же отведывали добычу и тоже ложились, уже надолго. – Она и в том еще, что я посмотрела на очередь и вспомнила, что кончились талоны на сигареты, не то и я стояла бы в таком же хвосте, среди мучеников.

– Ты по-прежнему хочешь сделать из этого икону?

– Ради бога, Фил, мне надоело вымучивать какие-то ненатуральные разговоры. Это Алеша из кожи вон лезет, чтобы соответствовать образу гения, но я-то тут при чем? И мне вовсе не нужно заодно с ним эпатировать общество. Тем более, что он (ты не мог заметить) с головой ушел в политику, вернее – в так называемую политику, и его эпатаж вполне могут оценить парой лет лагерей. Но он делает вид, что не боится попасться или хотя бы попасть на заметку.

– Тебя это удивляет? Что-то он и раньше не попадался на торговле с иностранцами. Ты, Наташа, слишком привыкла к нему, слишком долго считала его добрым человеком. Это наша общая беда: мы вечно приписываем другим свою порядочность – и попадаемся на этом, вот мы-то и попадаемся. Кругом будто бы одна достойная публика – а подлости делаются одна за другой.

– Вот и на твоей... на нашей фирме было вполне приличное окружение...

– И, ты хочешь сказать, кто-то донес? Мы с тобой безуспешно гадали. Возможно, ты и меня подозревала, потому что никто больше не был настолько осведомлен. Карина? Она просто не додумалась бы до этого.

Он не стал напоминать о том, что наказание Наташи стало бессмысленным вдвойне: не так уж много утекло воды, а на ее прегрешение те-

перь уже никто не обратил бы внимания: время наступило такое, что тайное становилось явным, двери фирмы (пусть пока и осторожно) начали открываться для репортеров, а секретарь (по определению – не хранитель ли секретов?) главного конструктора, Зинаида, обручилась с немолодым преуспевающим немцем и, пока идут приготовления к свадьбе, безнаказанно ездит к жениху в Кельн.

– Карина? – покачала головой Наташа. – Это несерьезно. Да и дед ее, в его положении, не стал бы опускаться до мелких пакостей. Но кто сказал, что надо искать внутри фирмы – когда я жила двумя жизнями? Возможно, в другую жизнь и надо заглянуть.

– Постой, постой, – от внезапной догадки Филипп остановился посреди дороги; секунду назад он готов был довольно уверенно назвать имя одного из своих коллег. – Господь с тобой, Наташенька. Он же сам – под надзором...

– Именно поэтому, Фил.

## 18.

Александр Августович снова становился никем. Давно готовый к этому в уме и будто бы даже мечтавший об избавлении от непосильного бремени, он, когда пришла пора и стало ясно, что расстаться с нынешними благами придется уже завтра, ужаснулся. При постороннем человеке, при напрасно нанятом журналисте он все же не только сумел сохранить внешнее спокойствие, но и сам едва не поверил собственным сказкам о состязании замыслов и проигрыше американской стороны, зато потом, оставшись один и уже не сумев отогнать призрак худших, чем были, бесправия и нищеты, едва не заплакал, жалея себя. Самым скверным было то, что в наступавшем несчастье он не мог винить никого, даже себя. В наши безбожные дни всяким горестям и незадачам непременно находятся виновники – стрелочники, почтальоны и секретари, – и легко бывает облегчить душу, разрядив накопленное электричество на этих персонажей; куда труднее приходилось в старину, когда во всем непредвиденном усматривались некие знаки, которые сами потом и отравляли существование. Александру Августовичу искать знаков было нечего, оттого что события в его истории развивались самым натуральным, вполне угадываемым путем – вплоть до последнего дня, когда он наконец представил себе не только разные (но одинаково унылые) варианты своей завтрашней жизни, но и, вскользь, нечто ей обратное, а именно – некую худощавую даму, предпочитающую в одежде белый цвет. Составление каких бы то ни было планов теперь требовало учета неизбежности свидания с нею, но тут возникали технические трудно-

сти, связанные с незнанием точной его даты: то ли вот-вот, то ли через десяток лет, что, впрочем, было одинаково скоро. Нет на земле человека в возрасте Александра Августовича, который при своем давно уже одностороннем направлении ума не грезил бы о ней же; эти мысли одинаково просты и у незначительных, и у великих людей, и непременно каким-нибудь боком касаются того немногочеловеческого, что те и другие могут завещать потомкам. Как и все, Александр Августович прикидывал, какие вещи сможет оставить наследникам, и получалось, что никакие, одну лишь квартиру (хотя по советским меркам и этого было много) — конечно, не старую квартиру в центре, и без того укрепленную за Викторией с мужем, а новую, в Анучине, где, если верить бумагам, кроме него проживала еще и внучка; случись что с дедом, она по закону оставалась в этом жилище. Кроме дочери и Карины, заботиться ему было больше не о ком, разве что — о себе, но и тут кое-что было уже сделано впрок: поставлен памятник, подобного которому по размерам не знали даже в Китае; он искренне верил, что если это сооружение одним своим существованием способно оградить родную страну от дурных ветров, то его автора не забудут ни в каком светлом будущем. (Вот в этом самом месте в рассуждениях Александра Августовича не хватало какой-то мелочи, пустячного довода, причиной чего было его нежелание прислушаться к подлому тихонькому голоску, пищавшему из безопасного отдаления, что как раз в том, что не забудут, и таится беда.)

Знакомый голосок и посторонние шумы и речи Александр Августович обычно отвергал, для пущего своего спокойствия, — отверг и сейчас. Более того, он припомнил еще одно важное обстоятельство — то, что не одна только городская квартира доставалась внучке, но и дача, нажитая в другой, более светлой, чем настоящая, части его жизни — в той, где, к слову, невозможна была бы вдруг пришедшая ему в голову бессмысленная Каринина присказка: «Бабки на дачку и внучке на тачку».

Он потому, возможно, сразу не подумал о таком существенном предмете, как дача, что обычный распорядок выходного дня нынче нарушился: старый его приятель Ходатаев не то встречал, не то провожал каких-то транзитных родственников, и поездка на дачу отменялась — соответственно и Александр Августович вынужден был оставаться в городе; он для того и назначил встречу с Деригузовым, чтобы занять освободившееся утро — увы, ее пришлось скомкать, чтобы поскорее подсчитать потери.

В этот день он наметил починить крыльцо, но дело стояло, а единственный работник лежал на диване в душной городской квартире. Все,

чем он мог заняться и чем занимался до прихода журналиста, это мысленно обходить дачный поселок, припоминая, не осталось ли у кого таких же, как на его участке, недоделок; видимо, не осталось, потому что соседи не прекращали дачных работ, которыми сам он теперь из-за непомерной занятости все больше манкировал. Вместе с тем он все еще прекрасно знал, кто, что и как построил и у кого что растет. Росло везде приблизительно одно и то же, зато постройки отличались одна от другой разительно: в поселке жили и в сараях (с этого начинал и Александр Августович), и в щитовых покупных хибарках, и в двухэтажных добротных домах; одна семья поселилась в автобусе с резным крыльцом. В каждом из этих жилищ то и дело что-то перестраивалось, ломалось, чинилось или перекрашивалось, и у каждого имелась своя короткая история, иной раз — драматическая, истории же поселка в целом Александру Августовичу, как он ни старался, почему-то не удавалось себе представить, словно эта пестрая россыпь домишек возникла в одночасье, без подготовки и предупреждения, да так и лежала, не тревожимая никем (нельзя же было считать историей протокольную запись перестроек или пересадок всего лишь за какое-то десятилетие, до начала которого на месте дач была опушка леса, а еще раньше глубь леса, и чем глубже было в годы, тем глубже было и в лес и тем лес становился диче — и только. Сменяли, быть может, одна другую породы деревьев, грибов да зверей, но этого история обычно не описывает, не отбирает хлеб у прочих наук, оттого что ей интересны одни лишь фигуры, их войны и их большие деньги). Отсутствие связей с прошлым и с перемещениями фигур — вот что нравилось здесь Александру Августовичу: строя вместе с единомышленниками свой, новый, зеленый мирок, он не желал слышать о старом, продуманно разрушенном до основания, а затем превращенном в перегной, торф, нефть или в пыль. Он уже не мог слышать толков о входящих в моду возвращениях и переименованиях, со своей стороны делая все, чтобы оградить соплеменников от расслабляющих воспоминаний, нашептываемых издали, — так нет же, политики неожиданно повели себя так, будто не ведали об этих его стараниях; на всякий случай ему пришлось зазывать и пригревать чужих глашатаев, позволяя кому попало сгребать под себя бумажный мусор со всего света. Кто попало — вот кто были его враги; получив право говорить что вздумается, они расшатывали установившийся порядок, а вместе с ним — и основы его, Александра Августовича, благополучия. Он понял это с опозданием и негодовал.

Поедет ли Ходатаев на дачу сегодня же или отложит поездку до утра, было неизвестно, и если Александр Августович до звонка Пшенко нерв-

ничал, считая часы и теряя надежду на первый вариант, то после известия о катастрофе понял, что должен остаться в городе. Здесь он, конечно, все равно ничего не исправил бы и не сумел бы повлиять на ход дальнейших событий, тогда как в машине ему было бы, по меньшей мере, удобно обсудить со старым приятелем создавшееся положение, но теперь, когда на душе стало особенно мутно, ему страшно было подумать о раскаленной на солнце малолитражке, в которой ему приходилось сидеть, согнувшись в три погибели. Когда бы не нынешнее потрясение, его дорожные воскресные мучения должны были бы закончиться в ближайшей неделе (теперь же эти, как и все прочие, планы могли рухнуть в одночасье): референт надоумил его приобрести новую персональную машину, но на средства не основной фирмы, а малого предприятия «Кинематика»; принадлежащим ей автомобилем можно было бы пользоваться когда и как угодно. Казенная «Волга» давно казалась ему неподобающе скромной, но лучшей не полагалось по чину, зато теперь он с удовольствием заказал для себя и Пшенко две машины по своему вкусу — иностранного, разумеется, производства; его (как и многих неправдоподобно быстро возносящихся в годы перестройки вверх или просто богатеющих вчерашних нищих) осведомленность в этом деле ограничивалась всего двумя марками, «мерседес» и «вольво», и Александр Августович из скромности выбрал — последнюю. Сейчас он вспомнил об этом почти украдкой, боясь додумать до конца фразу о том, что «Кинематика» должна бы выжить в любой ситуации; это был его единственный шанс.

Наконец без звонка появился Ходатаев. Едва переступив порог, он заторопился:

— Поехали же, поехали. Я-то думал, что приятель сгорает от нетерпения, ждет меня одетым, в пальто и галошах, а он... Спешит: надо бороться за урожай.

Хозяин дома повел себя чрезвычайно, с точки зрения гостя, странно: не только не стал, обрадованный, собираться, но и ему, гостю велел сесть и слушать (впрочем, спохватился и прежде прочего предложил тому подкрепиться и попить чаю); он вдруг понял, какое несчастье могло бы случиться, заведи он трудный разговор в машине, на ходу, а через минуту получил и подтверждение своей догадке: новость, которою он поделился, была дурна для обоих, но сам Александр Августович, как известно, не то сразу не понял истинных размеров беды, не то показал себя сильным человеком, не ударив при постороннем в грязь лицом, его же приятель, как оказалось, держал удар хуже и, выслушав известие, изменился на глазах: обмяк и, как будто его мучнистое

лицо еще могло терять цвет, побледнел так, что Александр Августович, всполошившись, едва не бросился вызывать «Скорую». Поспешив поделиться с Ходатаевым, он невольно поступил хорошо для себя: будучи теперь обязанным успокаивать и ободрять другого человека, он сам словно бы лишился права чувствовать поражение; теперь ему пришлось выискивать в случившемся светлые стороны и сюжетные ходы, способные изменить развязку, — и, убеждая другого, поверить в них.

— К тому шло, Сеня, — сказал он. — Мы же с тобой давно согласились, что всей этой затее скоро придет конец.

— Но не придумали, что делать после него, — еле прохрипел Ходатаев, беспомощно хлопая белыми ресницами.

Это было не совсем так — кое-что за них придумали хорошие люди, — и Александр Августович, с некоторым, правда, сомнением в голосе напомнил обоим (Ходатаеву и себе) о существовании такого славного прибежища, как малое предприятие, пригретое им и не зависящее ни от приказов министра, ни от государственного бюджета.

— Мне кажется, что ты преувеличиваешь, — окончательно придя в себя, сказал Ходатаев. — Наше НПО отпевать рано: не так-то просто распустить двухтысячный коллектив. Дешевле продолжать платить зарплату. Так, собственно, и делается вокруг: никто еще не слышал, чтобы в Советском Союзе за ненадобностью закрыли институт или КБ.

Александр Августович и сам надеялся на то, что для выполнившей свою задачу фирмы найдется какой-нибудь заказ — не на занавес, так на оркестровую яму для хранения радиоактивных отходов, — но опасался, что для новой темы потребуется и новый руководитель. Несколько лет назад он мог бы, наверное, не волноваться, но политика властей становилась непредсказуемой. На месте неудачника Горбачева Александр Августович вел бы себя иначе: в первую очередь вернул бы утраченное влияние цензуре и приструнил распоясавшихся демократов; именно в этом духе он управлял сейчас фирмой, не на шутку гордясь, например, тем, что, вопреки моде, сумел предотвратить перевыборы директора, то есть — свои собственные. Он клял изменения в стране, не думая о том, что без оных никакая «Кинематика» его не подкармливала бы: ее бы попросту не существовало.

— Всегда стоит быть готовым к худшему, — мудро заметил он. — Но мы-то с тобой не пропадем. Не забудь, что платежи за самолеты пока поступают исправно и, кажется, появился реальный покупатель на бронепоезд, а этих денег хватит очень надолго.

– Твоими бы устами... Пока я вижу перед собою всего лишь сто тридцать два пенсионных рубля.

– Честно говоря, они мне снятся, – признался Александр Августович.

### 19.

Лето иссякало, а Понипартов все не брал отпуска. Ехать к морю он сговорился с Наташей, но намеченная поездка откладывалась из-за болезни ее матери. Иногда, в дурном расположении духа, Филипп видел в этой задержке знак, но он и без того не понимал, к добру ли новое сближение с девушкой, разлюбившей его однажды; вряд ли она успела понастоящему позабыть своего иностранца. Тем не менее любые планы Филиппа связывались теперь с нею; строил же он их великое множество: они касались и предстоящего отдыха (он читал скромные карты наших побережий с не меньшим волнением, чем вольные путешественники – глобус), и образа жизни, который следует избрать в будущем, и работы, какую следует искать взамен увядшей старой. Последняя задача была не из простых, потому что из-за назревшего разоружения на оборонные предприятия никого не нанимали.

– Некуда ходить – не ходи, – трезво советовала ему Наташа. – Гнать тебя не гонят, деньги платят. Как у тебя с начальством? Ты по-прежнему в ладах?

– Даже более, чем раньше, – усмехнулся Филипп, – оттого, наверное, что перестал высовываться: не то надоело, не то устал. Постарел, что ли? В первое время я всюду встречал со своими филиппиками – слава Богу, без последствий. Результат мог быть один: меня б упрятали в сумасшедший дом – если не за филиппики, так за то, что возомнил себя Понипартом (но на самом деле – за филиппики, под тем предлогом, что возомнил).

– Теперь ты облагоразумился?

– Загребаю жар чужими руками, но все-таки – нет, не прижился. Близок, близок Юрьев день!

Не принимая его тона, Наташа продолжала давать дельные советы – предлагала, например, поступить в аспирантуру, – он же сочинял проекты поинтереснее:

– Не пригожусь здесь – завербуюсь на Север: вот увлекательный сюжет с погоней – с погоней за длинным рублем. Для нас с тобой это выход: полярная надбавка, коэффициенты – глядишь, за пару лет наберется на кооперативную квартиру. Поедешь за мной, как декабристка?

– Не люблю декабристок: побросали своих детей...

– Это – новый мотив. Ну что ж, тогда посмотрим, как оно пойдет само собою. Будет день – будет пицца.

– Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

– Днесь надо собираться на море.

Понипартов не очень хорошо представлял себе предстоящую семейную поездку; до сих пор он распоряжался своим досугом иначе – ходил в горы или в поход на байдарках, и в этом году брат впервые отправился без него. Расспрашивая искушенных людей, Филипп в первую очередь приценился к общеупотребимым черноморским берегам – и его смутили возможные перед началом учебного года трудности с транспортом; прочие места, менее популярные, тем и не нравились, что не пользовались популярностью, и выходило, что изо всего Союза оставалась одна Прибалтика – видимо, комфортабельная и более сытая, чем другие края, зато наверняка прохладная. Одну из трех республик решили выбрать по жребию и, скатав в трубочку бумажки с названиями вокзалов, бросили их в карман пиджака; Наташа, не дыша, вытянула двумя пальчиками бумажку со словом «Ленинградский». Так их завтрашний день связался с Эстонией, отчего вспоминаемых сообща отпускных приманок сразу стало не хватать (из ряда солнце – море – фрукты – горы выжило одно холодное море), а круг предотъездных трудностей сузился до покупки билетов и преодоления серьезных сомнений в расположении туземцев к русским.

Родители Наташи до сих пор оставались в неведении относительно всех этих колебаний и сборов дочери, тем более – участия в них такой тяжелой фигуры, как холостой Наташин сослуживец; для того чтобы как-то их подготовить, был придуман целый сценарий, начинавшийся случайным визитом Филиппа в дом (а как он называл сам – смотрами).

Ее домом была комната в коммунальной квартире, где кроме Шалиско жили еще две семьи. В передней Понипартов застал вполне знакомую, сто раз виданную картину: фанерные шкафы, непрямой велосипед на крюке, плохонький сундук и лампочку под жестяным колпаком – все это, кроме велосипеда, было общее, то есть ничье, то есть не имело лица. Неожиданным оказалось другое – то, что если бы не пяток Наташиных акварелей, не имела бы лица и сама комната, обставленная стандартными предметами: здесь были два раскладных гэдэровских дивана, шкафы из гарнитура «Спутник», довоенный круглый стол, телевизор «Темп» на комодике и – единственная здесь необычная вещь – кресло-качалка в красном углу, под иконой.

Акварели на стенах были неизвестны Понипартову, и он с удивлением понял, что вообще знает очень мало Наташиных работ (но две из них он видел ежедневно – подаренный Наташей пейзаж и портрет Лозаннского, висающий над головой его секретарши; Филипп потому и навещался в приемную чаще, чем нужно, что она оставалась единственным в здании КБ местом, где хоть что-то напоминало о его несчастливом увлечении. Невольно подолгу рассматривая выставленное на всеобщее обозрение лицо несчастного человека, он мало-помалу начал сочувствовать тому, приходя к мысли, что без помощи Наташи никогда не понял бы этого старика, доживающего век в непосильных напрасных трудах.)

В кресле, чуть развернутом к окну, за которым были видны близкие верхушки старых лип парка, сидела укрытая одеялом женщина; муж ее был застигнут за уборкой посуды со стола. Филипп поразило, насколько крупная круглолицая Наташа не походила на этих людей – ни на мать с ее прямоугольным лицом, ни на щуплого отца.

– В кои-то веки! К нам не приходит никто из Наташиных друзей, – многозначительно сказала мать: не посетовала, а предупредила.

Прежде чем справиться о здоровье, Филипп вынужден был, по уговору, отвести справедливые подозрения.

– Представьте, как тесен мир и как мала Москва, – с напускным оживлением заговорил он. – Приезжаю через весь город в писчебумажный магазин – и такая встреча! Мы ведь с Наташей работали вместе в Анучино.

– А мы с Верой Васильевной двадцать лет проработали на одном заводе – тут, аккуратно за парком, – с гордостью объявил Наташин отец.

– Здесь, я слышал, неплохо платят?

– Побольше, чем на гражданских заводах. Не жалуемся.

– Хорошо, что вы довольны, – не придумав ничего лучшего, проворчал Филипп, оглядываясь на Наташу. – Можно не искать ничего другого: от добра добра не ищут.

– Хочешь кофе? – пришла на помощь она, но Понипартов поспешил отказаться, чтобы не отпускать ее от себя.

Его беспокоил неизбежный разговор о здоровье, когда он мог по незнанию допустить неловкость. Сама Вера Васильевна, однако, сразу оставила эту тему за скобками, без напоминаний и вопросов гостя сообщив с удовольствием, что, перебравшись из постели в кресло (тут и был назван диагноз), думает дня через два выйти погулять во дворе, а там уже и над рекою.

– Тогда и дочке выйдет облегчение. На курорт съездит.

– Вместе поедете, – решил Наташин отец, заставив Филиппа вздрогнуть. – В профкоме Вере обещали бесплатную путевку в санаторий.

– Мне-то никто ничего не обещает, – мягко напомнила ему Наташа. – Да и время негде взять: каникулы-то кончаются. Успеешь только прокатиться туда и обратно – так отдыхать не ездят. Только зря потратишься на дорогу.

– Просто переменить обстановку, вырваться в новое место на несколько дней – тоже отдых, – возразил Филипп. – Знаю по собственному опыту. Мне иной раз и одного дня хватало. Поезжай, Наташа. Я тебе завидую: мне-то не вырваться со службы и на неделю.

– Вот и соседа тоже не отпускали, – поведал Наташин отец.

– Но ведь на неделю и жилье не сдадут, – напомнила Наташа.

– Сдадут! – воскликнул Филипп. – В этом я могу помочь: у меня есть знакомый в Эстонии.

– В самом деле? Господи, Эстония! Это же моя мечта – увидеть Балтийское море!

– Нет проблем.

– Вот осталась бы ты в Анучине, – сказал отец, – и тоже отдыхала бы по путевкам...

– Если б я осталась! Я бы – осталась.

– ... да и мало ли чего еще можно получить на заводе? Все там было тебе хорошо, только вот дорога через весь город – это ад.

– Я-то думала, будто не знаю, что такое ад.

«Стыдно, что и я не знаю. Надо бы наконец прочесть Данте», – подумал Понипартов, а вслух, чтобы не объяснять, кто таков Данте, сказал:

– Покажи мне знающего. В Библии ад не описан, и мы все представляем его превратно: котлы, сковородки, садисты черти...

– У тебя есть другие сведения?

– У меня и этих нет, а есть только возражения. Беда в том, что всякое там кипящее масло страшно лишь для плоти, но мучаются-то в аду, вообще – находятся на том свете не тела, а души, для которых не может быть иных мук, кроме нравственных.

– Но было же: плач и скрежет зубовный? – неуверенно возразила Наташа.

– И ты видишь здесь сковородку? Это метафора – какие там у тени зубы?

Она не ответила, и Понипартов решил, что задел ее своей кошунственной репликой: она могла заподозрить в нем еретика, так что не мешало бы ей напомнить библейское «Еретика не отвращайся», при-

совокупив, что эти слова справедливы лишь в том случае, если еретик — это он: ему бы не понравилось, когда б Наташа не отвращалась дурных людей — других еретиков, а то и убийц, а то и доносчиков, которые, в свою очередь тоже суть еретики добропорядочной нашей веры. Она и впрямь не отвратилась написавшего на нее донос, а держалась как ни в чем не бывало — то ли проглядела, то ли простила злодея, из-за которого, уже нося во чреве дитя, лишилась заработка, да еще и унижалась, выпрашивая отсрочку у чина из КГБ. Тот, правда, оказался порядочным человеком и пошел навстречу, отчего сразу стало ясно, что не его, очевидного неприятеля, следует бежать и отвращаться, а кого-то из друзей. Необходимость искать среди них предателя была отвратительна, тем более, что при ошибочном указании на одного выпадал из виду второй или третий, быть может, как раз тот, кого искали — даже определенно тот или такой же, потому что в иных местах их кишмя кишит под ногами, и попадают они не один из двенадцати, а чаще. Поначалу Филипп с Наташей рьяно взялись за поиски — дедуктивным, разумеется, методом, который один только и преподали им в детстве, — но безуспешно; с ее увольнением розыскной пыл понемногу угас, тем более, что подлость осведомителя обернулась для жертвы нечаянным благом, и стукач, схваченный за руку, этим мог бы и отговориться: мол, надо же помогать друг другу и нет ничего легче, как сделать добро для молодой художницы — отворить клетку. Утешая так свою неверную возлюбленную, Филипп все ж не до конца осознавал ее бывшую, а свою настоящую несвободу, из-за незнания жизни на воле не ставшую ему в тягость — настолько не в тягость, что он, пользуясь ею, создавал несвободу для многих: соучаствовал в изготовлении железной общей клетки, обрекая тем и своих друзей, и знакомцев на глухоту и немоту, чем и заслужил, наверняка, не к добру помянутые сейчас костры, кипятки и сковородки, а также и пытку для души.

— В конце концов, — продолжил он с неожиданным ожесточением, — живя по эту сторону железного занавеса, можно лишь гадать, что за плач и скрежет зубовой слышатся по ту.

— Фил, пожалуйста, не надо — о политике, — взмолилась Наташа.

— Да что там, говорите, говорите, — вяло повела рукою Вера Васильевна. — Мы таких разговоров вовсе не слышим, хотя, правду сказать, ими и не интересуемся — ни я, ни Николай Ильич. Разве что программу «Время» смотрим.

— Да я тоже газет не читаю, — засмеялся Понипартов, — натянута, из-за неловкости, которую ощущал здесь с первой минуты.

— Так ведь нечего больше по телевизору смотреть, кроме «Время» и футбола, — посетовал Николай Ильич. — Такие кино показывают — не понять, пока Наташка не объяснит. Там у них совсем не наша жизнь. Мы-то как: отстоял смену — и бегом домой.

— Что же, совсем никуда не выходите?

— Бывает, соседи позовут во двор — «забить козла». Только ведь в домино я в обед на заводе играю — куда ж еще? И пивка можно попить по дороге домой, в парке, так что никуда выходить не надо. В магазин — Наташа выручает. Раньше, бывало, заказы с работы приносила — да где она теперь, работа?

«Вот ты и попался, холостяк, — сказал себе Понипартов. — Будешь по выходным играть в домино с тестем».

— Ей-то тяжело было заказы таскать. Дорога длинная, с пересадками, — вернулась Вера Васильевна к теме дороги, протяженность которой в свое время, видимо, потрясла старших членов семьи, для которых весь ежедневный путь до проходной занимал не больше четверти часа; сказала она это так певуче, что можно было заподозрить в этом долгом подходе особую хитрость — ловушка и в самом деле обнаружилась тотчас в сорвавшемся как бы между прочим вопросе: — Разве что провожал кто-нибудь?

Понипартов посмеялся про себя простоте приема, а Наташа сказала:

— Слава богу, что редко доставались, правда?

— А вы-то, — обратился Николай Ильич к Понипартову, — а вам-то, наверно, поближе добираться?

Тому, жителю центра, пришлось затем, отвечая на дотошные вопросы, рассказывать, хорошо ли снабжение в его районе и не трудно ли дышится на тесных улицах из-за щедрых автомобильных выхлопов, и какова у него квартира, и отчего он не заводит, когда есть такая возможность, садовый участок, — пока Вера Васильевна не попеняла дочери:

— Что же ты своего гостя не угостишь?

— Гость разборчивый, — улынулась Наташа. — Я предлагала...

— Кофе? К вечеру кофеем сыт не будешь, — снисходительно сказал отец. — По-нашему, так надо бы выпить по стопочке за здоровье матери, а?

Возможно, после стопочки беседа потекла бы непринужденнее и в другом направлении, но Вера Васильевна пресекла попытку:

— Тебе только бы выпить.

— Он гостю предлагает, — вступилась за отца Наташа. — Да только Филипп даже и на минуту согласился зайти с трудом — какая уж тут выпивка? Вот пригласим его как-нибудь нарочно, тогда и посидите за столом.

– Посошок на дорожку, – настаивал Николай Ильич. – Вы такого не пивали. У меня продукт чистый – слеза! Не то, что вы покупаете по талонам.

– Нехорошо, папа, пить на ходу, – мягко запретила Наташа и, повертившись к Понипартову, объяснила с улыбкой: – Папа у нас великий экспериментатор: то на травке попробует настоять, то на яголке.

– Для этого должна быть и посуда подходящая, – предположил Филипп, особым нажимом выделив слово «посуда».

– На то у нас и большой завод, – хитро улыбнулся Николай Ильич. – Специалисты найдутся на что угодно, самую тонкую работу срабotaют.

Наташа делала знаки, приглашая к выходу, и Филипп, которому казалось неловким вдруг оборвать беседу, досадовал, не понимая, отчего она не позовет вслух.

– Думаешь, мы чего-нибудь добились этим маскарадом? – недовольным тоном спросил он у Наташи, когда они наконец вышли: он считал, что трудности только усугубились и будет не избежать скандала, если отец придет провожать ее на вокзал.

– Ты сказал о самом главном: о жилье. Это же был основной аргумент родителей – отсутствие комнат, – а тебе они не возразили! Пусть только теперь прояснится с маминой путевкой (а ответ будет послезавтра) – и мы свободны.

Понипартов же думал о том, что будет, если не прояснится – не обернется ли к лучшему. Он жалел, что затеял такое неверное дело – нет, не нынешние скучные смотрины, а мимолетную поездку к морю с не любящей его женщиной.

## 20.

Подходила осень, и небу пора было начать осыпаться, но случилось ли так на самом деле, спросить было не у кого: оттого что на светлом городском небосводе различима одна лишь луна, мечтатели, видимо, перевелись в наши ночи, а звезд, не летящих, а уже опавших, не видали и старожилы. К счастью, смена времен года не зависит ни от наличия наблюдателей, ни даже от успеха их наблюдений, и каждый из нас в нужный срок получает положенное – от бархатного сезона до климакса. В масштабах не одиночек, а народов происходит, в принципе, то же самое; вот и в нашей стране, истомившейся в ожидании катастроф, поры чередовались вполне объяснимо, и между звездными дождями и осенней распутицей мрачные остряки предсказали установление неведомого дотолы сезона – бартерного, когда купцы, не видя на базаре чужого

товара, перестали бы продавать за деньги и свой, а только обменивали его: баш на баш, черное на белое, шило на мыло. При создавшемся раскладе с бубновой парой на руках это означало разруху, и даже умелые умельцы приготовились к потерям. Директор объединения «Гром» Лозаннский нужных в таком положении свойств в себе не находил, но и учиться не собирался, зная наверняка, что произведенный им товар ни на что не обменяешь, да когда бы вдруг и возникла такая возможность, он, воспитанный на политэкономии социализма и верный принципам партии, ею побрезговал бы и поэтому в близости дальнейших дурных перемен не предпринимал решительно ничего, а только ожидал давно ставшего невероятным финансирования свыше. Фирма испытывала трудности с деньгами, инженеры ворчали, но сам Александр Августович от своей бездеятельности не страдал, надеясь переждать нехорошее время, а пока что незаметно для других продолжая кормиться из европовской кормушки, живущей по правилам не марксистским, а естественным. Правда, по тем же правилам от Евтропова следовало ждать хотя бы какого-нибудь предательства, но средств против последнего все равно не имелось, и оставалось лишь полагаться на волю случая, живя как живет.

Жилось ему пока неплохо, и даже здоровье беспокоило – в меру; если бы оно не беспокоило вовсе, в его возрасте, вот тогда бы и следовало бить тревогу, поднимая лекарей на поиски причин вопиющей ненормальности. Мера же, невзначай соблюденная им, была такова, что за последние, анучинские годы он всего-то пару раз полежал с простудой да еще полечился от болей в суставах, от непорядков в сердце, давления и гастрита да еще перенес почти неизбежную полостную операцию; все было бы хорошо, когда бы теперь вдруг не напала зубная боль. Справиться с нею удалось только самым радикальным способом, удалив за один прием сразу четыре зуба, после чего пытку телесную сменило мучение прямо противоположного рода: пока утраченным родным зубам готовилась достойная замена, дикция Александра Августовича пришла в полный упадок, так что впору было заменить живую речь письмом на бумажке; вдобавок, глядясь в зеркало, он всякий раз ужасался новому уродству: верхняя губа, оставшись без опоры, провалилась внутрь, придав лицу безумное выражение, и если шепелявость еще удавалось кое-как скрывать немотою, то возвращению на место губы помогли бы разве что ватные валики – средство, по очевидным причинам неприемлемое. Спасительное решение пришло, как это часто случается, во сне. Александру Августовичу приснилось, что однажды все его сотрудники, включая секретаршу, пришли на работу усатыми; заподозрив неладное, он



посмотрелся в воду – и обнаружил, что и сам не отстал от них. Сон был под пятницу, и усмотрев в этом знак, он немедленно прекратил бриться. Через две недели неплохая растительность полностью скрыла досадный провал, а с ним заодно – и пару глубоких морщин. Вскорости после этого был готов и кое-какой протез.

Настала такая пора, что вчерашние авторитеты утратили всякий вес; простой люд, взбудораженный открывшейся обманчивой возможностью вмешаться в управление, принялся менять себе хозяев, выбирая по вкусу: повсеместно начались перевыборы не одних общественных лидеров, но и администраторов, от мала до велика – даже таких, казалось бы, независимых фигур, как, например, главные режиссеры или главные конструкторы; когда-то почтительное, отношение низов к тем из них, кто еще оставался на своем месте, сменилось на панибратское и насмешливое. Общая участь не миновала и Лозаннского; один раз он, скорее кнутом, чем пряником, подавил подобное брожение, но демократия крепчала, и будущие избиратели вновь собирались припомнить ему многое: и более чем пенсионный возраст, и отсутствие новых заказов, и все незначительные старые (а также губительные будущие) промахи; одним из незначительных стало и нынешнее изменение внешности, которое недоброжелатели истолковали как жалкую предвыборную уловку.

Среди счастливцев, которым в том году все же удалось полюбоваться августовским выпадением звезд, оказался Деригузов, проводивший свое отпускное время самым примитивным образом – на кавказском пляже (с приложением к тому эпизодов с шашлыками, молодым вином, скучающими дамами, поддельными французскими духами и преферансом по маленькой). Он, однако, и на юге не забывал о необходимости добывать хлеб в поте лица своего. Взяв с собою сработанные в Москве черновики (нарушив тем, конечно, инструкцию первого отдела и ожидая приключений в виде похищения рукописи, шантажа и вербовки), он переписывал и перетасовывал их и днем, на пляжном топчане (стесняясь этого как некоторой рисовки), и вечерами, если оные были свободны от пьянства и флирта. По возвращении домой он увидел, что не совсем напрасно портил свой отдых: достаточно было иностранной прессе опубликовать выступление Лозаннского в Америке, как завеса секретности странным образом мгновенно обветшала, гебисты подобрали и стало ясно, что надо спешить с изданием брошюры, пока ее содержание еще оставалось сенсационным. Он положил себе срок в две недели, чтобы привести рукопись в порядок и представить ее в издательство («То бишь главному конструктору,

ру, – сплюнув, поправился он. – Пусть попробует придаться. Это, конечно, не “Тихий Дон”, но ведь и читать никто не станет, дураков нет, а тираж разберут свои же инженеры на память»).

О своих достижениях ему хотелось поскорее доложить заказчику; обмолвившись об этом, он удивился тому, как нехорошо засмеялся его собеседник, Евтропов:

– Ты, старик, с Луны свалился?

– Почти: с самолета.

– Тогда понятно. Слушай сюда: пока ты витал в облаках, тему закрыли, производство остановили, строительство на границе... Тут вышла забавная штука: постановления о прекращении строительства не было, зато вышло постановление о разборке уже построенных участков, и теперь готовый занавес в одном месте разбирают и освободившиеся панели монтируют – в другом. А. А. в трансе, хотя и не с инфарктом, и в этом смысле ты объявился вовремя: поговоришь с ним «за жизнь», отвлечешь – особенно, если оставишь свою эпопею почитать на ночь: бальзам на раны.

– Трагическая судьба изобретателя, – придумал очередной заголовок Деригузов. – Но оставлять рукопись – дудки. Во-первых, потому, что это единственный экземпляр, а во-вторых – потому, что я задаром не работаю: будет договор – будет и чтение на ночь. Тут дело в принципе. А я что ж – как только, так сразу.

– А ты, брат, нахал, – рассмеялся Евтропов. – Сколько там составит гонорар за твою тетрадочку? Ты одной зарплаты уже получил раза в два больше. Что же до твоего принципа, то он куда как хорош, да ты, видно, не расслышал, что наша тема закрыта за ненадобностью и никто не станет платить за ее пропаганду. Прозевал ты свое приволье, Витя, долго собирался.

– Напрасно радуешься, – ответил Деригузов с некоторой все же неуверенностью. – Всякий предмет возможно описать, по крайней мере, с двух точек зрения: восславить или заклеить. Я ведь сказал только что: трагическая судьба...

– А. А. безусловно обрадуется такой обстановке вопроса.

– Неважно. Главное, что он человек старой закалки и должен бы выполнять уговоры.

– Из своего кармана он платить не станет. Говорю же: все остановлено.

– Разве это по-хозяйски? – возмутился Деригузов. – Столько работы псу под хвост! Ваше строительство, если распорядиться с умом, надо бы не останавливать, а перенести в другое место – окружить, напри-

мер, железным занавесом Москву, отделить от Союза этот рассадник демократической заразы. Нигде больше не должны слышать ни о какой перестройке. Руки прочь от... от... короче, от наших достижений! А столицу надо устроить в Ленинграде! В колыбели революции!

– Правильной дорогой идете, товарищ, – похвалил Евтропов, машинально оглядываясь, не слышал ли его кто, хотя если бы год назад он страшился ответа за эту фразу, произнесенную с характерной картавостью, то теперь не хотел бы лишь, чтобы его застали в обществе человека, выкрикивающего нечто, похожее на большевистские лозунги.

Правильная дорога привела Деригузова в кабинет Лозаннского так быстро, что он почти ни с кем еще не успел поделиться курортными впечатлениями. Обширная приемная, в которой обычно нервничали, ожидая вызова, многочисленные инженеры, теперь была пуста, а на секретарском месте Деригузов увидел невзрачную незнакомую женщину («Опускается наш дед», – с удивлением подумал он); правда, и Зинаида присутствовала тут же: дерзко одетая, развалилась в кресле для посетителей. Переводя взгляд с ее груди на бедра – с выреза на разрез, – и обратно, он заметил:

– Зиночка – как новый автомобиль: лак и никель

– Я прямо из мойки, – подтвердила она. – Зашла на огонек: попрощаться с дедушкой.

– Что значит – попрощаться? Разве ты уходишь? Куда же?

– Замуж.

– Замуж! Да разве ты...

– Я думала, на фирме об этом каждая собака знает. Ну, да теперь тебе расскажут. Теперь тебе нарасказывают. А мне – пора, некогда: ухожу, выхожу, улетаю на собственную виллу.

– Дурака-то валять, – не поняв, огрызнулся Деригузов, направляясь к двери кабинета.

– Постой-ка! Эй! – окликнула его Зинаида и, когда он обернулся, восхищенно воскликнула: – Отпад!

– Со всяким бывает, – утешил он, скрываясь за дверью.

– Ты заметила? – почти выкрикнула Зинаида новой секретарше. – Одно лицо!

– А сколько же?

– Да нет же: одно лицо с А. А.

– А если сбрить? – предложила новенькая и вдруг расхохоталась.

– Только что так и было – и ни у кого ничто не шевельнулось. А что ты ржешь?

– Знаешь анекдот? Нашли двойника Сталина, доложили Самому, и тот приказал: «Расстрелять». Председатель КГБ вдруг пожалел человека и предложил: «А, может быть, сбрить усы?» – «Хорошая мысль! – говорит Сталин. – Сбрить усы и расстрелять».

– Ну и что смешного?

Вступив в кабинет, Деригузов потерялся, обнаружив было зеркало там, где тому никак не следовало быть; здесь, видимо, переставляли мебель, и он, только скользнув по предполагаемому зеркалу взглядом, повел глазами далеко в сторону в поисках запропастившегося Лозаннского. Однако именно та фигура, на которую он посмотрел в первую секунду (но тех и прошло-то всего три или четыре), вдруг пошевелилась, не повторяя его собственных движений, и указала на кресло, приглашая садиться. В чем было дело, он понял только спустя еще какое-то время, а поняв, едва не закричал: «Усы!» Именно усы, точно такого же фасона, как и у него самого, мешали увидеть некоторые, прежде существенные, отличия – глубокие морщины у рта и красные старческие рожишки – и уравнивали наших двойников в возрасте.

– Знаете, на кого вы стали похожи? – вскричал Деригузов, расхохотавшись.

– Простите, но ... – с этими словами начал медленно подниматься с места Александр Августович. – Что вы себе позволяете?

– Почему ж – я? Вернее, я-то – давно, раньше вас, как раз для маскировки и отпустил... Но я не о том спрашиваю, то есть именно спрашиваю: на кого вы похожи? У вас в сортире есть зеркало – давайте, подойдем вместе.

– В туалете, – холодно поправил Александр Августович. – Извольте выбирать выражения: вы не в сортире. Просто удивительно, до чего все обнаглели.

– Нет, надо же – усы! Родная мама...

Александр Августович между тем не хотел понимать намеков и оттого не брал в толк, о каком сходстве идет речь, – вообще о чем идет речь, потому что распалившийся Деригузов перешел от возгласов к пу- таным рассуждениям на непонятно какую – на никакую тему:

– Да знаете ли вы, откуда такие берутся? Такие аналогии? Я и сам не знал – спасибо, подсказали новейшие бредовые учения: они приходят из параллельного мира, где все устроено точно так же, как у нас, только наоборот. Внешность обязательно должна совпадать, но остальное – если здесь плюс, то там минус. Там – получка, здесь – грабеж. Вот и в моей книге должны совпадать биографии – они, собственно, и совпадают, и я описываю – свою. Родился, женился, развелся, в этом

доме жил и работал – известно наизусть. Но между мирами – стена, и мы с вами, можно сказать, стоим по разные стороны железного занавеса, отец против сына, и ждем, у кого первого хватит духу – испустить его. Наши демократы подтвердят, что параллельные линии сходятся – это якобы уже в школе проходят, – и в точке, где сойдутся, там и случаются такие встречи.

– У вас хватит духу – перевести его? – нашелся Александр Августович.

– На рельсы новой пятилетки.

– Друг мой, я не пойму причины вашего...

– Возбуждения, шер ами, возбуждения. И я не могу быть вашим другом – это уже, если хотите, австралийский онанизм, иначе – самообладание, потому что нельзя стать другом самому себе, из-за того только, что один из нас – это другой наизнанку.

Возмущенный Александр Августович медлил с решением, будучи не в силах отвести взгляд от лица Деригузова и постепенно начиная узнавать (но так и не узнав) сходство. «Уж не буйный ли?» – мелькнула мысль, но так и осталась без ответа, оттого что не было в глазах Деригузова ни безумного блеска, ни гипнотизирующей тяжести. Тем не менее предложение совместной прогулки в туалет не могло исходить от здорового человека, и Александр Августович, вслепую нажав кнопку переговорного устройства, позвал:

– Зиночка! Простите – Валя.

– Зиночка и Валя, – отозвались обе.

– Пусть Сеня срочно зайдет. Что за шум у вас?

Шум производили внезапно набежавшие люди, целая толпа – приближенные Лозаннского, машинистки, начальник режимного отдела, стенографистка и просто любопытные из соседних комнат, прослышавшие о приходе преображенной Зинаиды; среди них находился и Понипартов, но того бывшая секретарша вызвала сама.

– Ты домой? – поинтересовалась она. – Поехали вместе, проводишь меня до Карины. Тебе же от нее близко.

– Километра полтора, а если смотреть отсюда, то и вовсе рядом. Но, Зинуля, родная, ты знаешь, который час? До звонка далеко.

– Разве нельзя в рабочее время отвезти на старую квартиру шефа его любимую сотрудницу? Это входит в производственный цикл. Выпиши местную командировку – и дело с концом. Давай, я сама оформлю в последний раз.

Отвезти сотрудницу было можно, но не хотелось. Понипартов, однако, не нашел сильных доводов, чтобы отказаться не обижая. Впро-

чем, это было и в самом деле в последний раз. «Как все переменялось, – подумал он. – Сколько раз встречалась она со своим капиталистом, наверняка вдоволь наговорилась по телефону – и никто ее за это не казнил, не выгнал, даже не пожурил, а ведь секретов через ее руки прошло побольше, чем через Наташины. Да и до отъезда ей не пришлось выжить пять карантинных лет».

Зайдя в кабинет своего бывшего начальника, чтобы подписать командировку Понипартову, Зинаида не застала там никого, но дверь в помещения для отдыха была приоткрыта, и оттуда доносились голоса; Лозаннский и Деригузов стояли в ванной перед зеркалом, обсуждая свою, одну на двоих, внешность. Отражение в стекле третьего лица смутило обоих.

– Зиночка! – удивленно воскликнул Александр Августович. – Мы же с вами только что попрощались!

– А вам уже не терпится поскорее меня выставить? Но плохо, видно, простились: не могу уйти. Вот и предлог нашелся: хочу попросить вас расписаться на память.

Бумагу Филиппа он подписал без особого удовольствия, оттого что негоже было обращаться к главному конструктору с такими ничтожными делами, но оттаял, получив прощальный поцелуй.

– А знаете, друг мой, – в раздумье обратился он к Деригузову, глядя вслед Зинаиде, – вы ведь могли воспользоваться этим чудовищным сходством.

– Мог, – сокрушенно, как если бы и вправду мог да не воспользовался, согласился тот, одновременно теша себя воспоминаниями о рыженькой Соне из «Протеатра».

– И я бы мог!

Пропустив мимо ушей знаменитую фразу, Деригузов пустился вдохновенно развивать мысль: старший из двойников вполне мог послать переодетого меньшого в такое место, куда самому пойти неудобно или лень – от совещания в райкоме до конференции где-нибудь в Новом Свете; сказав так, он смутился, обнаружив в собственных словах второй смысл.

– Теперь мне нужно держать ухо востро, – сделал вывод Александр Августович, думая, что на обложке будущей книжки ни в коем случае нельзя помещать, как это стало нынче модно, портрет автора.

– Теперь, увы, все упущено: отыграли пьесу-то.

Александр Августович невольно задумался над тем, какое из двух обсуждаемых лиц настоящее, а какое – лишь копия, и, допустив на мгновение, что подлинное как раз – прошельги-журналиста, вдруг ясно пред-

ставил себе дальнейшие ходы партнера (притом, что уже много лет как либо утратил способность такого видения, либо – что сомнительно – не имел случая его применить). С подозрением глянув на Деригузова, рассеявшегося на диване в его, Александра Лозаннского, комнате для отдыха, он вообразил того и на своем месте в кабинете, за письменным столом – и схватился за сердце.

Приступ, к счастью, скоро прошел. Осталась лишь слабенькая, но противная ноющая боль, совсем не мешавшая движениям, но заметно портящая настроение. Первое, что сказал Александр Августович после вынужденной паузы, было:

– Верно говорят, что это дурная примета: встреча с самим собой.

– Нет такого опыта. Но понятно, что нашим судьбам суждено было пересечься: неспроста же мы сошлись в одной точке. Вряд ли сходство в чем-то одном может иметь место при абсолютном различии по остальным пунктам. Лицо – зеркало души, и, значит, у нас есть что-то общее и где-то там, внутри.

– Не надейтесь. Впрочем, это мудрено и ничего не меняет. Сходство – абсолютная случайность. И довольно об этом, не то вы договоритесь и до родства и, с вас станется, объявите себя этаким, знаете, сыном лейтенанта Шмидта.

По глазам Деригузова Александр Августович понял, что попал в точку, и ожесточился.

– Так что запомните: никаких разветвлений судеб. Встретились – и разоидемся, – почти выкрикнул он.

– Жаль. Как раз об этом я хотел бы написать.

– Обо мне – и о себе? – крайне изумился Александр Августович. – То есть я плачу вам за повесть об авторе железного занавеса, а вы пишете – о себе? Да вы... вы... Стоит мне в ЦК обмолвиться одним словом, и вы до гробовой доски не опубликуете ни слова, ни буквы. Вон! Вы уволены с завтрашнего утра. С этой минуты! Вон!

Топая ногами, он продолжал кричать даже после того, как его незадачливый двойник ретировался, уступив место перепуганной новой секретарше и хлынувшим в кабинет любопытным.

Понипартов, получив в руки бумажку, позволяющую выйти днем за проходную, не стал медлить и поэтому не был свидетелем скандала: вместе с Зинаидой он поспешал на волю.

В автобусе его спутница сразу углядела свободное место недалеко от входа, но занять его все же не смогла, проиграв бег неспортивному с виду мужчине, нагруженному каким-то железом. Тот плюхнулся на сиденье, оставив в проходе свою поклажу – связанные одна с другой

велосипедные рамы. Зинаиде пришлось отойти к окну, а Понипартов остался стоять между рядами, не став протискиваться к ней мимо топтавшейся подле громадной пьяной бабы; когда автобус тронулся, та покачнулась, но устояла, только переступать ногами стала чаще. Так они проехали и минуту и две, народу не прибывало, и не слишком нагруженная машина раскатилась, как на загородном шоссе. Между тем на ближайшем перекрестке ее ожидала внезапная неразбериха, участники которой пустились кто сворачивать в сторону, а кто и вовсе прекращать всякое движение. Автобус тоже отчаянно завизжал всеми шинами, роняя своих стоявших пассажиров и неотвратно надвигаясь на какую-то несчастную оцепеневшую малолитражку – и все же сумев остановиться, не дотронувшись до той, маленькой, но так, что между ними нельзя было просунуть и руку.

– Миллиметраж! – в восторге закричала Зинаида, успевшая повиснуть на поручне.

Пьяная баба даже и не попыталась зацепиться за что-нибудь, а рухнула на пол, сшибив с ног стоявшего впереди человека. Тот при всем желании не удержал бы эту тушу, но он не видел ее полета, не понял, что такое ударило его, тяжелое, как корова. Стыдясь глупого Зинаидино выкрика, Филипп беспомощно полетел и сам – вперед, вниз, нужным местом угадывая точно на конец торчащей велосипедной трубы.

## 21.

Иногда ему хотелось увидеть, как прежде, под окном живой двор винного завода или, под другим – скверик на месте снесенного дома и, в стороне, отрезок бульвара, но за стеклами в действительности ничего подобного не было, и Александр Августович не смотрел в них, как будто в рамы были вставлены зеркала, нужные обычно для того лишь, чтобы повязать галстук. Теперь он не всякий день знал, что делается снаружи, чем был даже доволен: такой скучной казалась жизнь окраины. К самой квартире он привык на удивление быстро и сожалел не об оставленной старой, а как раз о странном отсутствии острой тоски по ней – чувства будто бы неперемогимого, но отчего-то медлившего утолить ребяческое его желание вкусить того, что именуется так звучно: ностальгия. Он не хотел ни останавливать новое мгновение, ни возвращать одно из давних, присущих поре, памятной нуждой в деньгах и привычными унижениями, но зато и не знавшей позора, какой пришлось испытать, когда открылась жестокая игра американцев (то, что они провели не только его, неискушенного, но и многих ученых мужей, но и КГБ и всех тех, кто по праздникам,

принимая парады и шествия, попирали могилу своего вождя, не служило оправданием); нет, он собирался жить, не забегая вперед и не оглядываясь, отчего и не тосковал по оставленному углу, и даже не наведалься туда со дня переезда ни разу. Дочь и внучка довольно часто навещали его в Анучине, и неизвестно, сколько бы еще он продержался вдали от Бульварного кольца, когда бы не подоспел день рождения Карины.

По случаю семейного праздника он и сам ушел с работы необычайно рано, и отпустил, раздобывшись, заместителей, одной лишь секретарше велел остаться на месте (нажал кнопку селектора, чтобы отдать распоряжение – и, боже мой, снова забыл, как ее звать: Нина, Люся, Валя... С прежней, Зинаидой, таких проблем не возникало). Он много ждал от этого вечера, собираясь поговорить с родными о важном. Гостей сегодня не звали (пирушку с друзьями Карина отнесла на выходные), только одна какая-то подружка обещала забежать ненадолго, так что не помешала бы, но кто – об этом внучка почему-то умалчивала; хорошо было уже то, что – не дружок: те порядком надоели Александру Августовичу.

Приблизившись к своему старому подъезду без трепета, он позабыл приготовиться – и отшатнулся, вдохнув густой воздух лестницы. «Скоро, однако, нарушилась иммунная система», – посмеялся он про себя.

Целуясь на пороге с Викторией, он смотрел не на нее, а мимо, на полуоткрытую дверь (он едва не сказал: «к себе») в новую спальню, почти всю, насколько он мог видеть, занятую огромной кроватью; он почувствовал нечто вроде ревности, оттого что уже не мог войти туда без спросу. Что-то нужно было сказать по этому поводу, но тут подбежала Карина, и приготовленное важное замечание позабылось в суматохе поздравления и вручения подарка – тут же, в передней. Едва покончили с этим, как раздался телефонный звонок.

– Где ты пропала? – вскричала, сняв трубку, Карина, и тотчас голос ее изменился, зазвучав тревожно и негромко: – Что с тобой?.. Как?!.. На твоих глазах... Но кто, кто?.. Отчего ж не сказать?.. Ну, успокойся и приходи. Тебе как раз надо бы выпить... Наоборот, на людях легче... Да не реви же, расскажи толком... Когда это потом?.. Значит, не придешь.

– Что, с кем у вас случилось? – отойдя от аппарата, затеребила она деда. – Тебе не доложили? Это Зина звонила.

Он не понял, кто.

– Зина же, – нетерпеливо повторила внучка. – Твоя вчерашняя секретарша.

– Зинаида – звонила – тебе? С какой стати?

– Вообще-то, мы с ней водимся.

– Час от часу не легче, – всплеснул он руками. – Что у вас может быть общего? Такая компания не по тебе. Но ладно, отложим это. Что же до твоего несчастного случая, то при мне ничего такого не было да и сюда, как видишь, не звонили. Я оставил распоряжение Зине... Виноват, Вале. А Зинаида – мы с ней очень мило простились. Навсегда.

– Она ушла одна?

– Дружок мой, откуда же мне знать? Но ты не в себе... Что она тебе сказала?

Но Карина ничего толком не разобрала из перемежаемой рыданиями речи, только не на шутку встревожилась сама. Велев ей немедленно выпить рюмку водки и оставив Викторию накрывать на стол, Александр Августович увел внучку в ее комнату для давно задуманной тайной беседы, которая теперь могла бы еще и отвлечь от плохих мыслей.

– Не огорчайся раньше времени, – начал он. – Возможно, ничего страшного и не случилось, а все это – только девичьи страсти. Помочь мы ничем не поможем, а утро вечера мудренее. Не порти себе праздник. Но смотри, как устроено: ты радуешься дню рождения, и я – твоему – тоже, искренне, а свой недавний юбилей (и какой юбилей!) я провел, как траурный день. Никто не знает возраста, за которым дни рождения начинают огорчать. Как первый шаг ребенка – это первый шаг к его смерти, так и для меня каждый прожитый год означает, что костлявая стала на целый год ближе. Не шутка. Не знаю, хорошо ли, плохо ли не знать свой срок, но уверен в том, что надо позаботиться о том, что будет после.

– Что за разговоры, дед? Живи сто лет и ни о чем не думай.

– Именно это я и хочу устроить. Не воображай, что завещания придумали глупые люди: составил – и спи спокойно. Другое дело, что советскому человеку попросту нечего завещать. Извини за столь грустную тему в такой день, но чуть позже, за столом, ты поймешь, в чем дело. Там я скажу одну интересную вещь, которая вызовет множество вопросов. Мне кажется, что я приготовил для себя ответы на любой из них, и надо, чтобы знала их и ты. Только одна просьба, даже неперменное требование: то, что я скажу, должно остаться строго между нами. Никому – ни родителям, ни подруге, ни жениху – ни полслова. Все должно открываться по мере исполнения, своим чередом. Родители пусть пока знают то, что услышат за столом, – порядочную, надо сказать, сенсацию. Остальное до поры останется за скобками.

– Ну, дед, ну, мастер интриги! Чего только ты не набрался в эшелонах власти!

После такого предисловия она ждала тотчас услышать текст завещания, но Александр Августович, напротив, заговорил об его отсутствии: о том, что намерен избавить наследников от неприятных отношений с государством, способным еще и обмануть, и от некрасивых споров между собою. Решение у этой задачи нашлось только одно: раздать блага заранее, что он, собственно, и сделал. С новой квартирой все было ясно, оттого что ее дали на двоих, на деда с внучкой, садовый участок давно числился за Викторией, а вот о том, как Александр Августович распорядился деньгами, не знал еще никто. Думали, в простоте своей, о фантастических размерах его счета, в действительности весьма скромных, и не догадывались о том, что им тайком открыты в солидном банке счета на имена дочери и Карины, куда и переводилась львиная доля добытых средств (сберкассам и государственным облигациям он, наученный жестоким хрущевским уроком, справедливо не доверял, но и не знал иного способа хранения денег).

– Придет время – получите, – сухо сказал он сейчас. – Пока что это – мои деньги, и нужные бумаги лежат в сейфе на работе. И последнее. Машина у вас есть, да пользуется ею один твой отец. Это положение надо исправить, и я, как только на фирму придет разнарядка, куплю машину тебе.

– Дедушка! Душка! – закричала Карина, вскакивая с места.

– Тихо, тихо. Это всего лишь обещание.

– Все равно, дедуля, миленький, спасибо.

– Ты еще не знаешь, за что благодаришь: на мой взгляд, всякий автомобиль – большая обуза. Ты с ним намыкаешься. Но хочется, хочется, я понимаю. Вообще, всякая собственность – обуза. Ну а теперь пойдем. Ты своими криками уже возбудила нездоровое любопытство, так что придется выкручиваться. Помни: ни слова.

Считая, что узнала главный семейный секрет, Карина все же извелась за столом, пока не услышала еще и того, что Александр Августович приберегал для ее родителей. Сказал же он не только неожиданную, но и на первый взгляд совершенно неправдоподобную вещь. Он не слишком торопился ее обнародовать: переждал несколько обязательных тостов, в том числе и за свое здоровье, хотя как раз к нему и удобно было бы присовокупить известие, и только когда в застолье перешли с праздничных тем на совсем уже будничные, вставил, будто бы спохватившись:

– Кстати, об устройстве быта.

– Что такое? – насторожилась Виктория, а внучка, заподозрив сплетню, живо поинтересовалась:

– Что-нибудь убийственное о Полине?

Она имела в виду пожилую прислугу Полину Григорьевну, через день приводившую в порядок дом деда и известную немалыми чудачествами, но Александр Августович покачал головой.

– У тебя трудности, – поняла по-своему дочь.

– У кого их нет? – дипломатично согласился он. – Разве что у самоубийц.

Заговорил он тем не менее о трудностях вовсе не быта, а работы. В самом деле, управлять оборонным предприятием в пору безоглядного разоружения, когда на новые изделия заказов больше не поступало, а старые уничтожались почем зря, было очень непросто. Перестройка переносилась бы им легче, будь он просто назначенным сверху чиновником, а не автором идеи; он жил с этой идеей и этой идеею, бывшей его обществом и его любовью, и вот она-то, увы, в одночасье стала ненужной да еще была опошлена вероятным противником (кем – все догадывались, а как – он умолчал); он, автор, остался одинок перед миром.

– Но мы – с тобой, – заверила дочь.

– Я сказал: перед миром, – нетерпеливо повторил он.

По сути, случилось то, чего Александр Августович опасался всегда: он больше не находил себе применения. Пожалованный ему в пожизненное пользование удел погиб на глазах: мог быть (и был же!) цветущей степью, лугом, пусть даже газоном, стриженным триста лет кряду, но после набега неприятеля, с его тысячами крепких ног, стал просто звонкой землей. Было от чего впасть в отчаяние, предвидя нищету, да он и впал, в воображении, бедствовал, пока не увидел новых возможностей. В начале взлета, когда он в навязанной ему выходной роли произнес пресловутое «Кушать подано» и власти собрались отдать его кресло своему человеку, его поддержала идея и спас случай, но никакой поддержки не находилось теперь, после разоблачения подосланного двойника: произойди таким манером подмена – и он пропал бы.

Виктория с мужем переглянулись, а Карина с удовольствием объявила:

– Внимание, деда понесло! Давай, дедуль, это любопытно. Но что за двойник? Теперь совершенных двойников не бывает. О близнецах я не говорю.

– Мне достаточно несовершенного. Пусть даже – иного возраста... Да! Карюша, ты же знакома с Зинаидой – расспроси ее. Она видела нас

вместе и пришла, по-моему, в восторг. Она подтвердит, что это доподлинный двойник. Небольшие отличия не имеют значения: так легко загримироваться и скомпрометировать меня!

– Где же он прячется? – с недоверием спросила Виктория.

– Он пишет мою биографию.

– Писал бы свою, коли вы так похожи, – сообразила Карина.

– Этого-то я и боюсь!

– Так вот в чем ваша проблема, – разочарованно произнес зять. – Тогда уж расскажите все по порядку, хотя я и не представляю, как мы могли бы помочь. Вот когда бы я на равных участвовал в вашем бизнесе и знал в лицо окружение...

– В лицо! Лицо у него, естественно, мое. А проблема... Да, проблема именно в этом, – подтвердил Александр Августович. – Но я говорю совсем не об этой скучной материи (простите, отвлекся). С подобной прозой я справляюсь без посторонней помощи, энергии хватает, хотя я и втрое старше сегодняшней именинницы. Скажи, Карюша, ты наконец ощутила себя взрослой?

– Давно.

– Даже так? А я до сих пор – нет. Если вычесть болезни, я чувствую себя юношей.

– Отчего бы вам тогда не жениться? – пошутил зять.

– Но я именно женюсь, – спокойно ответил Александр Августович. – Об этом я и хотел поставить вас в известность.

Он оказался единственным благодарным зрителем немой сцены, вознаградившей за обидное «деда понесло». Но его и вправду теперь понесло, все выше и дальше, им всем было не угнаться за ним, не уследить, он стал недостижим и неприкосновенен.

– Что за шутки! – опомнилась Виктория. – Он, видите ли, ощущает себя юношей! А не младенцем ли? Не впал ли ты в детство?

– Разговор за праздничным столом, – глядя в потолок, заметила Карина.

– Прости, милая. Но только представьте, товарищи: дед женится! Дед! Уж не на секретарше ли? На официантке?

– Напрасно ты кипятишься, друг мой. Я собираюсь сочетаться браком со своей соседкой, Калерией Степановной Никостратовой.

– Так, – зловеще произнесла Виктория.

– О! – чему-то обрадовавшись, вскричал Александр Августович, показывая на нее пальцем. – Именно поэтому!

– Позвольте, как же, почему вы не подумали о нас? – скороговоркой выпалил Вилен Алексеевич.

– Да потому, что ни ты, ни я на Кавалерии не женимся, – прыснула Карина, подмигивая деду. – А новость стоит тоста. Давайте-ка выпьем за новую семью. У всех нолито?

Настроение у Александра Августовича, однако, упало – не столько из-за того, что семья, оправившись от изумления, не заговорила о его старости, а всего лишь дружно заподозрила ущемление своих прав, сколько оттого, что он сам вдруг усомнился в необходимости своего решительного шага. Но так или иначе, дело было сделано, слово – сказано, и он почувствовал, что поворотная сцена, подобная тем, которые он чертил добрую треть отпущенного ему века, снова пришла в движение, унося с глаз долой устаревшие декорации, изображающие без толку загубленное приволье, верную его кормушку, а взамен предъявляя залу плотную изгородь (только действующим лицам был виден скрываемый ею щедрый огород). Между тем Александр Августович, готовый играть дальше в любом антураже, владел сельскохозяйственным наречием лишь в той степени, чтобы за словом «огород» сказать «грядка», но не более того, и, с печалью вспомнив о том времени, которое в прошлом казалось будущим, и о том будущем, которое превратилось в настоящее, и о подлинном будущем, быстро перешел в уме на куда более близкий ему язык, объяснив себе, что, подобно шахматисту, играющему серыми, не мог потерпеть поражение. Утраченные были фигуры – жена и кошка – вновь появились из-за кулис. Беда заключалась в другом: он забыл свою роль.

### З а н а в е с

*Апрель 1994 – август 2000 .  
Переделкино – Москва – Берлин*